

ВЫДАНЕ 1987 ГОДА

ВЕСТИ И ДЕЛ

НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе.



Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе. В настоящее время наблюдается оживление в области литературы, что связано с появлением новых талантов и интересом к классическому наследию.

Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе. В настоящее время наблюдается оживление в области литературы, что связано с появлением новых талантов и интересом к классическому наследию.

Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе. В настоящее время наблюдается оживление в области литературы, что связано с появлением новых талантов и интересом к классическому наследию.

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДОВОЩАНИЕ»

Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе. В настоящее время наблюдается оживление в области литературы, что связано с появлением новых талантов и интересом к классическому наследию.

Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе. В настоящее время наблюдается оживление в области литературы, что связано с появлением новых талантов и интересом к классическому наследию.

«КАКНЕ У ТЕРА ГОЛО»



Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе. В настоящее время наблюдается оживление в области литературы, что связано с появлением новых талантов и интересом к классическому наследию.

Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе. В настоящее время наблюдается оживление в области литературы, что связано с появлением новых талантов и интересом к классическому наследию.

17	20
67	ЕТЛ
	Р И
	Р Т
103	АЛО
	С
	А
	4
10	
	2 18
21	Я
	Р
	И
24	3
	А

Вопросы культуры и искусства, связанные с творчеством писателей и поэтов, а также с их деятельностью в обществе. В настоящее время наблюдается оживление в области литературы, что связано с появлением новых талантов и интересом к классическому наследию.

**ВЕСТНИК НОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
N 1**

Редакторы-составители:

Михаил Берг
Михаил Шейнкер

Редакционная коллегия:

Виктор Кривулин
Дмитрий Пригов
Александр Сидоров (Алексей Алексеев)
Александр Степанов
Анатолий Власов

Ответственный секретарь редакции:

Глеб Морев

Издание подготовлено Ассоциацией
«Новая литература»

Председатель Совета Ассоциации
Берг Михаил Юрьевич

«Вестник новой литературы» подготовлен Ассоциацией «Новая литература», созданной для того, чтобы включить в литературный процесс независимых русских писателей, проживающих как в нашей стране, так и за рубежом.

«Вестник новой литературы», ставя перед собой задачу сохранения и развития лучших традиций так называемой «неофициальной», «второй» культуры, знакомит отечественного читателя с произведениями авторов, до последнего времени не находивших себе места на страницах официальных изданий и публиковавшихся преимущественно в самиздате и на Западе.

Вестник новой литературы. М., Прометей. 1990. 262 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к первому выпуску	5
Обращение к деятелям культуры	7
1. От редакции	9

ПОЭЗИЯ, ПРОЗА

2. Ф. Эрскин. Рос и я (роман)	11
3. Д. Пригов. Махроть всяя Руси (поэма)	90
4. В. Кривулин. Стихи из Кировского района (стихи)	98
5. Б. Кудряков. Ладья темных странствий (рассказ)	108
6. Е. Попов. Восхождение (три рассказа)	124

ВОСПОМИНАНИЯ. ПУБЛИКАЦИИ

7. Отец Василий. Записки попа.	135
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

8. И. Кавелин. Имя несвободы	176
9. А. Черкасов. Либералы и радикалы	198

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

10. А. Степанов. Куда мы, может быть, идем?	216
11. И. Северин. Новая литература 70—80-х.	222

РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

12. Интервью с К. Ивановым	240
--------------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ

13. В. Иофе. Суриков. Пути России.	252
--	-----

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ

Я начну с того, что «Вестник новой литературы» выходит с задержкой в два года. Читателю, привыкшему к опозданию книг на 20, 30 и более лет, этот срок может показаться не столь значительным, но для издания, предполагающего периодичность и возможность непосредственного отклика на общественные и культурные события, это слишком много.

Идея издания «Вестника новой литературы» родилась еще несколько лет назад. Издания, способного сделать достоянием широкого читателя тот поток неподцензурной русской литературы, который, опираясь на самиздатские и эмигрантские круги, выявил целую плеяду писателей и поэтов, в разной степени известных на Западе и почти не известных широкому советскому читателю. Я имею в виду, конечно, не только авторов первого выпуска, но и тех, кого мы собираемся опубликовать впоследствии. Для того чтобы представлять интересы этих писателей, параллельно с составлением первых выпусков «Вестника» была создана Ассоциация «Новая литература» и были сделаны шаги для получения ею статуса общественной организации, что увеличивало наши издательские возможности.

В конце концов наши труды увенчались успехом. Впервые с 1932 года, когда все литературные сообщества были разогнаны и запрещены, новая литературная и общественная организация получила официальный юридический статус. К этому моменту были составлены и благожелательно приняты известными деятелями культуры макеты первых двух выпусков «Вестника новой литературы».

У руля предприятия стояли люди, чуждые бюрократическим играм, но у нас все получалось. Не само собой, но с неуклонностью дела, обреченного на успех. Легко были найдены дефицитная бумага, финансовые и издательские партнеры. Подозрительно легко. Нам помогали даже люди, которые, по идее, не должны были этого делать. Предложили приемлемые условия договора, мы согласились. Оставалось ждать тираж.

И вот тут-то произошло то, к чему нельзя подготовиться, каким бы запасом скептицизма ни запастись заранее. Все сорвалось в последний момент. Сорвалось один раз, второй, третий. Не все подробности нам известны, но обо всем пришла пора сказать уже сейчас. Очевидно, на наших партнеров оказывалось давление. Результат известен: биссектриса разделила угол наших начинаний пополам — пошла полоса неудач.

А между тем тщательно оркестрованные макеты первых выпусков «Вестника» подвергались коррозии временем. Время шло быстрее, нежели медленная советская издательская машина, помимо открытого для всех рулевого управления обладавшая еще тайными рычагами. Какие-то актуальные материалы устаревали, заменялись новыми, вынимались совсем. И в конце концов мы вообще были вынуждены отказаться от злободневных материалов, отдавая предпочтение статьям общего и концептуального характера. «Вестник новой литературы», создаваемый как журнал, превратился в альманах.

Если говорить о первом номере, то самой «свежей» статье А. Черкасова «Либералы и радикалы» на сегодняшний день исполнилось полтора года, все остальные критические и публицистические работы еще старше. И я должен сказать, что некоторые положения ряда статей если не устарели, то, по

крайней мере, сейчас звучат иначе, чем в то время, когда статьи были написаны. Еще в большей степени это относится к принятому на учредительной конференции обращению «К деятелям культуры» и написанной в то же время заметке «От редакции». В статье И. Северина «Новая литература 70—80-х» говорится, что современная советская периодика обходит стороной авторов эмиграции и «второй культуры». Сейчас эмигрантов публикуют взахлеб, а периферийные периодические издания подбираются к основным авторам «второй культуры».

Редакция, однако, не нашла возможным просить авторов подгонять те или иные положения своих статей под изменившуюся общественную ситуацию. Не только потому, что мы очень ценим участие этих авторов в нашем издании (большинство из них могли опубликовать свои статьи в популярных и именитых журналах, но сохранили верность «Вестнику»). В конце концов именно редакция взяла на себя обязательства перед авторами, решив опубликовать их работы именно в том виде, в каком они были одобрены. Самое главное — концептуальный смысл помещенных в первом выпуске статей не потерял за прошедший год, а напротив, приобрел еще большую актуальность.

В заключение я хотел бы поблагодарить А. Ю. Арьева, А. Г. Битова, А. Ю. Германа, Л. Я. Гинзбург, Я. А. Гордина, Д. А. Гранина, А. Д. Дементьева, М. Б. Мейлаха, Вал. Г. Попова за благожелательное отношение и поддержку «Вестника». Общество поощрения современного искусства «А-Я» и редакцию журнала «Юность» за помощь в становлении Ассоциации «Новая литература». А также всех тех, кто в той или иной мере способствовал выходу «Вестника новой литературы» в свет.

1 июля 1989 г.

Михаил Берг,
председатель совета Ассоциации «Новая ли-
тература» и редактор-составитель «Вестни-
ка новой литературы».

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ

Мы, представители писательской Ассоциации «Новая литература», обращаемся к тем деятелям русской культуры, которые, услышав нас, почувствуют себя нашими единомышленниками.

Наступил момент, когда становится необходимым то, что еще вчера казалось невозможным: деятельное и равноправное для всех участие в социальной и культурной жизни. К этому моменту отечественная культура пришла раздробленной, разделенной на три почти не взаимодействующие пространства: культуру официальную, неофициальную и эмигрантскую.

Неофициальная культура объединяла тех людей, чья позиция определялась идейной и творческой независимостью и социальной бескомпромиссностью. Она выражала широкий спектр различных общественно-политических взглядов и эстетических пристрастий — от консервативных, пессимистских до крайне авангардистских. В рамках неофициальной литературы, начиная с 60-х годов, были созданы многие произведения, оказавшиеся под запретом. Они были подвергнуты жестокой идеологической цензуре, да и не только идеологической. Эстетическая цензура оказалась не менее строгой и особенно чуткой к течению, оформившемуся к середине 70-х и условно обозначаемому нами как «новая литература».

Что же такое «новая литература»? Не давая развернутой типологической характеристики этого явления, обозначим основные его черты. Прежде всего это обращение к новаторским линиям русской литературы, прерванным в 30—40-е годы, а также эмигрантской литературы, вызванное ощущением единства и непрерывности русскоязычной словесности. Не менее важно использование опыта современного западного авангарда (сюрреализм, поэтика «абсурда», новый роман, постмодернистские концепции). А самое главное — становление «новой литературы» неотрывно от создания своего художественного языка, способного выразить перемены в человеке и культуре послевоенного времени.

Произведения «новой литературы» широко циркулировали в рукописях, публиковались в многочисленных самиздатских альманахах и журналах, издавались на Западе, и их авторы в глазах деятелей официальной культуры представляли как фигуры одиозные, а в глазах властей — как подозрительные, если не криминальные. Писатели подвергались репрессиям, эмигрировали, большинство же было вы-

нуждено ограничить свою творческую и общественную активность сферой бытования неофициальной культуры. В таком состоянии, приобретшем даже некоторое внутреннее равновесие, «новая литература» существовала до самого последнего времени.

Но пришла пора радикально изменить это положение.

Перемены, происходящие в нашей стране, при всей их противоречивости, все же обнадеживают. Мы не можем не поддерживать либерализацию, коснувшуюся некоторых сторон нашей общественной жизни, ослабление цензурных запретов, возвращение широкому читателю книг из «золотого фонда» нашей культуры, но и не можем быть удовлетворены достигнутым.

До сих пор не произошло демократизации многих сфер жизни общества, как не коснулась она и многих пластов реальной культуры. В первую очередь это касается «новой литературы», представителям которой в лучшем случае оставлена единственная и во многом ущербная возможность быть лишь подверстанными к существующим организационно-издательским формам и идейно-эстетическим стереотипам официальной культуры. Это не устраивает многих из нас, так как мы видим истинно продуктивный путь развития культуры не в поглощении одного культурного пространства другим, а в их творческом сосуществовании и взаимодействии. Мы убеждены, что изменения культурной и общественной жизни не должны, а главное — не могут происходить независимо от нас, вне нас, без нашего влияния. Нас, русских писателей, волнуют, конечно, не только проблемы публикации наших произведений, но и все те животрепещущие вопросы, которые встают перед нашей страной в период демократизации и либерализации.

Таковы предпосылки возникновения созданной нами писательской Ассоциации «Новая литература».

Ее цели:

1) сохранение и развитие духовного и эстетического опыта, накопленного новой литературой;

2) оформление нового общественного и литературного объединения, способного включить в реальный литературный процесс независимых русских литераторов, проживающих как в России, так и за рубежом;

3) создание печатного органа и издательства, которые смогут стать легальной общественной трибуной для членов Ассоциации.

Ассоциация «Новая литература» была создана на учредительной конференции, проведенной 8 ноября 1988 года в Ленинграде.

На этой конференции была сформирована инициативная группа по проведению Объединительного съезда русских писателей, проживающих в России и в эмиграции, который предполагается созвать в 1990 году в Москве.

Мы надеемся, что наша инициатива будет поддержана всеми, кому не безразлично будущее нашей страны и судьба отечественной культуры.

ОТ РЕДАКЦИИ

Выход в свет «Вестника новой литературы» (ВНЛ) — первый шаг в деятельности только что созданной писательской Ассоциации «Новая литература».

ВНЛ, по нашему замыслу, должен стать изданием, где будут публиковаться наиболее интересные произведения современной литературы, по тем или иным причинам остающиеся неизвестными широкому читателю, и — что не менее важно и соответствует духу времени — будут предприняты попытки осмысления и обсуждения наиболее важных и сложных аспектов общественной и культурной жизни.

Безусловно, цели Ассоциации «Новая литература» и задачи «Вестника» в основном совпадают, но программа ВНЛ, определяемая его редколлегией, состоящей из конкретных людей с их личными вкусами и взглядами, в чем-то шире, а в чем-то уже программы указанной Ассоциации. И хотя информация о деятельности Ассоциации будет регулярно публиковаться в ВНЛ, надо хотя бы в общих чертах прояснить ту позицию, которую занимает редколлегия.

Каким статьям, каким материалам мы собираемся отдавать предпочтение? Чем авторы помещенных в первом номере статей отличаются от авторов, публицистов, критиков других, солидных, известных и популярных журналов? Что, наши авторы более радикальны, непримиримы, более агрессивны? С большим скепсисом, осторожностью, недоверием относятся к объявленной политике «гласности и демократизации»? Или для них действительно нет «запретных тем» и они с полной откровенностью обсуждают все «болевые вопросы» давней и недавней истории и сегодняшнего дня?

Нет, дело не в этом. Дело в языке, в ракурсе взгляда. Наши авторы понимают, что просто видеть нечто происходящее, видеть даже отчетливо — еще не означает возможности описания; причем в большинстве случаев невозможность заключается не в неумении, а в отсутствии языка описания, в отсутствии понятий, способных адекватно определять новые явления. Именно поэтому, ставя перед собой задачу «называть всё своими именами», дать тому, что «существует, но существует неназванным», свое имя, наши авторы хотят не уязвлять, открывая всё новые и новые проявления окружающей нас действительности, а объяснить, понять причины происходящего, создав таким образом возможность для последующего анализа с использованием новых понятий и определений. Конечно, эта задача потому и важна, что трудна. И помещая те или иные статьи, ставящие проблемы, редколлегия далека от уверенности, что всем авторам всех статей уже удалось эти проблемы разрешить: мы находимся в начале пути, в процессе становления языка.

Это первое. А второе состоит в том, что, глядя в окружающий нас мир, выясняя причины и мотивы происходящего и происходившего, наши авторы пытаются понять внутренние, а не внешние

причины социальных, исторических и других явлений, стремятся соотнести их с историческими и метафизическими закономерностями.

Не то чтобы нас не волновали, например, проблемы экологии, «поворота рек», «строительства дамб» или иных экономических экспериментов (и такие материалы возможны на наших страницах), но прежде всего нас волнует, о чем думает человек, который, сидя перед картой, представляет себя то ли Господом Богом, то ли Сталиным водных ресурсов, по-своему перекраивая карту целой страны.

Что произошло с человеком, ставят вопрос наши авторы. Какие процессы изменили его (если, конечно, изменили), превратили русского человека XIX века в то, что называют Homo Sovieticus?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, как нам кажется, прежде всего сопоставить духовную трансформацию личности с нарушением иерархии традиционных ценностей, понять, в какой степени процесс «демократизации» может способствовать восстановлению этой иерархии, и почему «демократизация» идет подчас рука об руку с обеднением, банализацией жизни и даже трагическими национальными столкновениями, свидетелями которых мы стали в последние годы.

Важно понять и то, в какой мере прививки «европейского опыта» соответствуют историческому пути России. Не является ли кажущееся движение вперед движением назад, повторением уже пройденного? Не ведет ли этот путь в «европейский тупик»?

Список интересующих нас вопросов может быть продолжен. Каков современный читатель и современный русский писатель? Таков ли он, как и в прошлом веке, или изменились сами функции и цели литературы, с одной стороны, отражающей жизнь, а с другой — создающей свой собственный, особый мир? Но список этот действительно бесконечен.

Прежде всего, повторим, нас интересуют глубинные причины того, что происходит с человеком, языком и культурой в наши дни. Эта проблематика определила движение независимой мысли, долгое время развивавшейся в сложных условиях замалчивания и остракизма.

В своей деятельности «Вестник новой литературы» ориентируется на представителей независимой культуры, свободной творческой мысли.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ф. Эрскин

РОС И Я

Присуждение этому скромному труду Пулитцеровской премии за прошлый год и одновременно (а скорее всего, спровоцированное наградой) пристальное внимание к нему широкой публики, шума и неуместный ажиотаж вызвали во мне лишь удивление, и не слишком приятное. Поздно, слишком поздно мне верить в искренность и непредвзятость каких-то комитетов, премий или радоваться появлению неожиданного читателя, которого никогда не было и не должно было быть; да и нельзя забывать, где и когда я живу. Издатель из Принстона Вудро Х. Вильсон, передавший мне (конечно, через третьи руки) любезное предложение взять на себя техническую сторону дела и, очевидно, лучше меня разбирающийся в издательской кухне, попытался в своем письме как-то объяснить причины происшедшего, но по существу не сумел выпутаться из придаточных типа «чтобы отдать наконец должное» и «понимая, что у них нет другого пристойного выхода, ибо». Последнее и навело меня на мысль, что почтенный г-н Вильсон смыслит в современной литературе не более, чем в истории гермафродитов или той обстановке, в которой мне приходилось писать мою работу. (В его послании есть изумительные ляпсусы, вроде утверждения, что «большевики угрюмы и носят медвежьи шкуры, мехом наружу, а их женщины белокуры, мускулисты и испускают,— я цитирую дословно,— запах мускуса, когда сердятся».) Тем не менее, именно цепь последовательных событий, начиная с заседания в последний четверг перед Рождеством комитета в Западной Вирджинии, и привела к необходимости второго (можно уже сказать, вильсоновского) издания моей работы, для которого меня и попросили написать данное предисловие, ибо первое, если можно так сказать, контрабандное издание, из-за мизерности тиража, разошлось мгновенно и неизвестно где; я, по крайней мере, ни одного экземпляра не то что не имел, но даже не видел.

Но прежде всего удивляет другое: кому первому пришло в голову рассматривать мой сухой и научный труд по разряду беллетристики, ведь беллетристического в нем еще меньше, чем в поваренной книге (кстати, последние, особенно издаваемые за свой счет словоохотливыми чудаками, бывают, по крайней мере, забавны). Но даже если кому-то из членов лингвистического кружка имени Дж. Вашингтона-

Бернса захотелось таким образом пошутить, то как удалось набрать в лотерейном барабане столько черных шаров, раз моя работа не только не художественна, но даже не оригинальна,— на это моего разума не хватает.

Еще в первом предисловии к «контрабандному» изданию я описывал, как все началось. Не имея, по сути дела, никакого отношения к литературе, обладая амбициями, расположенными в другой области, и совершенно иной специальностью, девятнадцать лет назад я совершенно случайно наткнулся на неопубликованные документы, относящиеся к жизни одного совершенно забытого поэта, жившего — по странному совпадению — в доме, соседнем с местом моего предыдущего обитания (к этому дому-хамелеону на Надеждинской, сменившему только на моей памяти цвет стен четырежды, мы еще вернемся неоднократно). Я заинтересовался. И небрежно засунутая во второй снизу ящик письменного стола слепая машинописная копия, состоящая из трех листков со ржавой скрепкой сверху, неожиданно для меня положила начало неторопливой и долгой работе (от случая к случаю, и только по настроению), в результате чего однажды, в очередной раз перебирая накопленное по просьбе Алисы, но еще не решив окончательно: будет ли ей разрешено проникнуть в светелку моих замыслов (должен сразу оговорить мое подчас неумеренное пристрастие к изысканным оборотам, но что делать — любитель остается любителем), — я понял, что обладаю уникальной коллекцией материалов не только по поводу упомянутого стихотворца, но и вообще обо всей межвоенной эпохе. Какая судьба ожидала все эти выписки из мемуаров, сотни, если не тысячи писем, фотографии дома Введеневых в Харькове и Крыму, дневники людей, не имеющих никакого касательства к делу, и прочее, прочее, прочее? Скорее всего, как ни лелеял я про себя надежду издать когда-нибудь сухую и лаконичную графическую справку с библиографическими комментариями, этой надежде, как ни прискорбно, вряд ли суждено было осуществиться (я представлял себе шелковичную куколку, все эти паутинки, усики, зачатки слюдяных отростков (я не силен в естествознании), которым, очевидно, на роду было написано так и не стать прозрачными крыльями). Но помог случай. Представьте себе ужас моей Алисы, когда наш молодой друг (что только подтверждает, что все идеи ходят не кругами, а скорее по эллипсоидной орбите) в течение трех недель (я помню тот пасмурный полдень, когда он, пряча глаза, заявился с газетным свертком впервые) огорошил нас тремя свеженькими работами о моем поэте. Перечисляю не в порядке получения или убывания достоинств, а скорее уменьшения числа страниц и, значит, что для меня самое важное, обилия использованных документов: фундаментальное исследование Д. Крэнстона «Свобода и творчество без оглядки», выпущенное в парижском издательстве Press Libre (фиолетовая обложка с супером и двумя десятками приличных фотографий); официальная — из серии «Дом муз» — брошюрка И. Графтио «Инторенцо

в Крыму», тощая и жалкая, с уродливой, явно современной фотографией в пол-листа на обложке (название сверху), причем фотография не дома Введеневых, а их соседки по улице; и подпольное, свободное издание (47 стр. через полтора интервала) «Заметок к биографии» некоего Б. Афиногенова (на папиросной бумаге с помятым заглавным листом и обтрепанными краями). Хищно выудив из рук молодого друга добычу, которая внутренне заставила меня содрогаться, я уединился для очередного сеанса мазохистских упражнений; хохоча и страдая от каждой ошибки — их было великое множество, презрительно поджимая губу — Алиса утверждает, что я вылитый какаду при такой гримасе,— видя, как растрачивается впустую драгоценность факта, если рамка для него неуместна и соседство пересекающихся планов чересчур прямолинейно. Надо ли говорить: три месяца я не мог слышать даже стеснительного намека на тот безусловный грабеж, которому я подвергся,— мысль о лаконичной и строгой биографической справке была похерена в моей душе навсегда. В ночь на 11 апреля я, пробравшись в кальсонах в кабинет (который одновременно и моя спальня, гостиная и т. д., но сплю я теперь на веранде), начал все же просматривать опостылевшие мне навсегда листки, в бессильной ярости изорвал уникальное свидетельство о смерти, выданное Киевским отделом народного образования, и только подозрительное шуршание за дверью спасло остальное от гневного аутодафе. Но, как весьма простодушно уверяет Штimmer, «время лечит любые раны». Бродя, истомленный июльской духотой — не спасали даже полосатые, как вагонная обивка, шторы — по пустой и выпотрошенной переездом всех домашних за город квартире, я наткнулся на засунутую в стопку старых газет на полке в клозете наивно-дубоголовую штуку из серии «Жилище музы» и, закрывая за собой дверь, взвизгнувшую фальцетом, и морщась от брызнувшего в глаза света сквозь узкую щелку, я впервые задумался о жестокой, но справедливой мести. Нет, не подача в женевский суд иска на патологически фундаментального свободолоубителя г-на Краснова за недобросовестность и плохую осведомленность, не разгромная рецензия в каком-нибудь толстом журнале на бездарную статью достоправного Графтио и не встреча в темном переулке с Бобом Афиногеновым мерещилась мне теперь. Что получилось, вы знаете. Мое предисловие и так слишком затянулось. Я решил просто и спокойно прокомментировать указанные и перечисленные работы, затопив их океаном своих поправок, оговорок, новыми — вернее, им и никому другому неизвестными — свидетельствами и письмами, короче, дать точную, научно-выдержанную характеристику столь отдаленной от нас эпохи, в которой и пришлось жить обойденному памяти А. Инторенцо. Конечно, я - увлекся. Перечитывая теперь некоторые листы, вижу, как далеко ушел я от своего замысла, и не то что понимаю того шутника из лингвистического комитета в Зап. Вирджинии или могу представить себе добропорядочного читателя, согласившегося с моей версией в толковании исторических происшествий (хотя кто-то же раскупил первое издание, да и письмо

любезного В. Х. Вильсона не похоже на подделку), но, кажется, и так резина экивоков растянута до просвечивающих за ней предметов, и дверь закрывается с оттяжкой. Итак...

1

Дик Крэнстон начинает свое исследование, более сбивающееся на параллельное жизнеописание, точнее, серию параллельных жизнеописаний, в которых параллельность понимается в духе новой геометрии, обязательно пересекающей все прямые в одной точке, с краткой биографической справки. И делает очаровательную ошибку буквально во второй строчке, сообщая, что поэт родился в день поминаения Сергия Радонежского, в то время как на самом деле Александр Инторенцо, конечно, появился на свет в день благоверного великого князя А. Невского, в память чего этот потомок застрявших в Конотопе итальянцев и получил свое имя. Можно не утруждать себя доказательствами, но у нас есть выписка из церковно-приходской книги, которую мы и приводим. Рукопись — это червяк, и любой ляпсус неукоснительно тянет за собой следующий. По мнению Крэнстона, отец Инторенцо, Иван Викторович Инторенцо, экономист по специальности, был странным и мрачным субъектом. Мать, Евгения Ивановна Поволжская, была врачом-гинекологом и обладала дворянским достоинством. Брат Владимир — адвокат, оказался репрессированным еще до войны с французами, однако быстро вернулся и умер в начале 70-х годов в Петербурге. Сестры: Евгения и Евлампия (также, кстати, писавшая стихи), обе умерли от туберкулеза, одна в детстве, другая в конце I мировой войны. Крэнстон путает здесь I мировую войну со второй, что, впрочем, сути не меняет, ибо почти вся его хронология представляется не только сомнительной, но и преднамеренно недостоверной, однако на этом не резон останавливаться. Взамен еще два курьеза: первый — упоминание о том, что поэт окончил с отличием гимназию Л. Д. Лентовской (хотя, если действие происходит уже при большевиках, то это никак не гимназия, а лицей), и второй — стеснительная фраза в примечаниях, что при выпуске он не сдал экзамена по русской литературе. Но все перекрывается двумя шапкозакидательскими цитатами, которые Д. Крэнстон делает лейтмотивом своей работы: цитаты из высказываний, относящихся к уже указанному году и принадлежащие: одна — некоему месье Георгу, то ли соученику, то ли любимому профессору Александра Инторенцо, который в ответ на упрек в противоречивости его мнений сказал: «Разве можно утром и вечером в наше время иметь одинаковые политические убеждения» (см. включенное в школьную антологию стихотворение поэта «И я в моем теплом теле»); другая — короткая рецензия, написанная наискосок на титульном листе рукописей, данных для ознакомления Великому

Мистику Гражданской войны: «Ничто не нравится. Интересен Алексеев».

Конечно, время было роковое, и, призывая слушать музыку революции, наш рецензент для обострения духовного зрения морил голодом, памятуя совет великого эллина, глаза телесные, тем более, что все свои средства, переплавленные в золотые слитки, уже были отправлены им на подкуп каспийских пиратов — их корабли должны были помочь восставшим выбраться из Брундизия, ибо обманутый яйцкиими неграми Пугачев вынужден был отказаться от борьбы за предоставление им равных прав и перейти Альпы, тем самым выплеснув пламя войны за независимость за пределы России. Что ж, итальянская версия интересна, но она не более чем версия. Но мы не можем отказать в визе и другой. По словам *Biographie universelle de Michaud, supplement, tome 75, p. 47*, отец нашего героя родился в Женеве около 1630 года, был пастором в Лионе, потом опять Женева, Дрезден, Лион, где он и прославился своим учением и Богословскими сочинениями.

Бель (Bayl) называет его мужем весьма знаменитым (*viradmodum illustris*). Грейвс припоминает о его жене весьма пикантное обстоятельство: еще будучи невестой, она лишилась левого глаза, прогуливаясь с женихом в санях парю — пристяжная лошадь вышибла ей глаз комом снега. Жених, однако, не отказался от нее, кропотливо держа слово, хотя женой она оказалась еще более строптивой, нежели невестой, — в старости совсем лишилась ног и, не вылезая из зимнего дормеза и кресла, терроризировала домашних. Мальчик рос без надлежащего присмотра. Мать старелась*, отец холодел к ней, она надоела, омерзела ему, и он, пользуясь тем, что она, по сути дела, не выходила из своей комнаты, начал заводить шашни с молодежькиными служанками во флигеле, пристроенном к дому на Съезжинской, для отвода глаз делая ей детей почти регулярно, раз в два года. Однако это не довело его до добра. Боясь ареста после «народного волкана» (французской революции), он стал чуть ли не все деньги носить с собой и, умерев в первую холеру 1831 г., оставил свою семью ни с чем, запрятав неизвестно куда деньги и документы. Не ему ли писал Чехов в доверительном письме: «Друг мой, послушайте моего совета: не женитесь ни на еврейках, ни на психопатках, ни на курсистках». Однако от судьбы не уйдешь. Мальчик воспитывался без отца и матери, первый иногда являлся ему по ночам, вторую он видел дважды в день: целуя ее желтую жилистую руку с синими вспухшими венами утром перед чаем и рикшетом получая поцелуй в лоб перед сном. Ничего удивительного, лучшая приправа любой биографии: одинокое детство. Сонное, заторможенное, неотчетливое. Медленное созревание в тени, под кружевным пологом постели, при опеке крепостных девок.

Мы склонны не согласиться с утверждением Георгия Афиногенова, что именно «медитативные размышления неукоснительно ведут

* Так в рукописи (прим. изд. В. В.).

к мастурбации», ибо совершенно не располагаем эскизами первых тайных утех и данными о раннем сексуальном созревании нашего героя. Скорее, наоборот. Сквозь тишину спрятанного во мраке неизвестности первого периода его жизни не могли не доходить до чуткой мембраны скрытые раскаты будущих гроз и землетрясений, коих он оказался не токмо свидетель, но и живописатель, своеобразный регистратор а ля Фон-Визин. Знаем мы только, что первый и вполне неочевидный опус относится ко времени посещения аристократического пансиона тайного иезуита аббата Николя, это сочинение мы и приводим здесь, доподлинно зная, что оно ускользнуло от внимания не только издателей, но и биографов исследуемого автора. Чреватое последствиями название звучит обнадеживающе:

Архетип младенца

Младенец начинал ходить ночью, когда все засыпали, осатаневая от всей этой дневной дребедени, этой череды малых дел, что кончалась взаимными обидами, когда уже никто не разговаривал друг с другом, женщины дулись, нам было тесно, все дребезжало, валилось из рук, ничто не клеилось, кто-нибудь срывался на крик, казалось, этому не будет конца, но усталость брала свое, и потихоньку все засыпали, где придется, особенно не выбирая, только кто-нибудь открывал дверь от духоты, спертго воздуха, и ничего не было странного в том, что во сне многие говорили, так, какая-нибудь скороговорка, лепеча губами, переворачиваясь на другой бок, все спали как убитые, истаивая во сне, превращаясь в ничто или нечто иное, отвергая себя, отталкиваясь от берега всем телом, а если мучила жажда, то не разлепляя век, ощупью, переступая через тела, спотыкаясь, руки тянулись к воде, звенел стакан или банка: вода пролилась, я недовольно открыл глаза, она уже спала, и я увидел, что младенец стоит на своих тонких ножках, держась руками за край кровати,— что, что меня поразило, я толкнул локтем ту, что была рядом, и увидел, мы увидели, что он осторожно перебирает своими трехнедельными ручками и ножками, а затем легко, неприятно ловко перегнулся, перевалился через борт и встал на пол. Мне показалось, что я брежу, я ненавидел, боялся его, этого младенца, это было отвратительно, та, что лежала рядом, кажется, это была самая молодая, но — вроде бы — не его мать, впилась мне ногтями в плечо, можно было не сомневаться, что останутся кровавые следы, сквозь потную сорочку в меня впились ее ледяные пальцы, но я был благодарен ей, сам закусив губу, мы смотрели, как он осторожно побрел, ловко перебираясь через ноги, руки, будто что-то искал, так ходят моряки, привыкшие к качке, к тому, что палуба ходит ходуном, ставя носки несколько внутрь, подгибая колени,— и омерзительно умело. Мы видели лицо неясно, лысая головенка на короткой шейке, но несколько раз, когда он вздергивал подбородком, мы читали томительно осмысленное выражение на его сморщенной физиономии, обезображенной диатезом, морщинистой, но даже багровые морщины, казалось, разглаживались; я нашел ее руку, потянул, делился

страхом, она всхлипнула и, очевидно, спугнула его: он подозрительно обвел вокруг своим взглядом и, пригнувшись, вразвалку побрел обратно.

Утром все было как обычно. Женщины суетились, стоял дневной бедлам, носились со своими чадами, кормили, гам, визг, смех, я не сразу все вспомнил, так, смутное ночное видение, заштрихованное и оттененное духотой, ночью, последующим сном, каким-то торопливым объятием, я мечтал о теплой воде, о том, чтобы меня помыли женские руки, растерли, помассировали поясницу — она что-то ныла, — обернулся, ища — кого позвать, и встретился взглядом с той, что разделила со мной ночное видение: я узнал ее по мелькнувшему в глазах ужасу и стеснительной улыбке, что появилась и исчезла на лице, я даже не помнил — было ли у нас с ней что-либо или еще нет, и тут же все вспомнил: этого отвратительного младенца, испугавшего — или нет? — меня ночью, но женщина, рыжая, узкобедрая, виновато подправившая прядку, упавшую на глаза, что видела она? — и бросил взгляд в его, младенца, угол. Около него суетились, теперь я вспомнил, кто его мать — вон та, пухлая, черноволосая — нагнулась, что-то шепча, протянула ложечку, он запищал, я отвернулся и, посомневавшись, поманил рыжую. Она мыла меня в ванной, массирила спину, ноги, я смотрел на ее шею, рыжую гриву, тонкие запястья, руки, от которых пахло втираемым травяным настоем, потом показал на бедра; она не поняла, я ударил ее по щеке. Мне не нужна была ее любовь. Она меня не возбуждала. Я был озабочен. Проклятые мандалы.

Я не ожидал, что все повторится. Очевидно, узоры совпали. Заснул я почти мгновенно, слыша сквозь сон какой-то шепот, шушуканье, заплакал чей-то ребенок, мать дала ему грудь, он зачмокал губами, потом стало тихо, я плывал, как всегда, в липких родовых водах, напрягал жабры, собирал легкими воздухом, был юрким и вертким, как тритон, а проснулся от сдавленного крика, полузадушенного ладошкой, — присел: не спали почти все, хотя и лежали не шевелясь, не меняя напряженных поз, с ужасом наблюдая, как младенец пробирается через беспорядок тел, еще более ловко, чем накануне, прокладывая себе дорогу по одеялам, подстилкам, что-то явно ища и оглядываясь, однако не замечая устремленных на него взоров, либо делая только вид, и опять эта отвратительная разумность, разгладившая чело трехнедельного дитяти, который днем не умел даже сидеть, а лишь лежал, пуская пузыри, суча ножками, и истошно орал, требуя мать, чью безмятежно спящую фигуру я заметил справа у окна, а может, он искал ее? Отвратительный маленький обманщик, прикидывающийся ребенком. Что его испугало? Никто не мог пошевелиться, все просто не отрываясь смотрели, онемев от страшного обмана и ощущения опасности спиной, затекшими локтями, шелестением крови — он плелся обратно, не найдя, не добравшись до того, что искал, разочарованно шевеля скрюченными пальчиками, склонив голову на грудь, а затем рывком бултыхнулся в кровать.

Все было так. Я проверил. Он еще не держал головки, не следил за предметом, если предмет проносили у самого его носа, не мог ползать и только бессмысленно орал, когда я попытался его посадить. Поставить на ноги не дала его встревоженная мать, умоляюще отнявшая мои руки, а затем быстро и ловко уняла его крик, убаюкав в объятиях, искоса, опасливо поглядывая на меня. Шлепнул ее по толстому заду, как добрую лошадь, чтобы успокоить. Она была не виновата. Она мне не нравилась. Я лицемерил и презирал ее, было досадно. Что ж — не буду спать. Выжду момент, когда все начнется, когда он станет превращаться из беспомощного и забавного освеженного кролика в маленького наглеца, опасного и непонятного одновременно тем, что вселяет ужас и нагоняет столбняк, подготавливая задуманное им дело, гипнотизируя, лишая сил, выкачивая волю, отнимая радость и отталкивая меня от женщин. Кто следующий, думал я, осторожно осматривая их животы, вон у той, кажется, опухший, что таит ее чрево, это надо кончать. Мандала, я найду ее, перерою все книги, я уже догадался, почти, почти, где-то близко, что тебе надо? Нет, мы поборемся, я еще здесь, я еще не ушел, ты еще не успел. Да, и поманил рыжую пальцем.

Я спал эту ночь с ней, а потом она растирала мне пальцами шею, уши, виски, не давая уснуть и упустить момент, когда все затихнет, перевернется, день сменится ночью, и младенец, перебравшись через загородку, легко ступит на пол, побредет, ища то, что ему надо, боясь, не боясь, зная, смея, желая, играя свою роль. Твоя цель? Что ему надо? Пальцы терли виски. Рыжая пахла собой, я не видел ее. Только ждал. Что ж, осталось недолго. Мандала.

2

Конечно, этот первый и несовершенный опус любопытен прежде всего как этнографический этюд «эпохи военного коммунизма», можно сказать, зарисовка с натуры, как, впрочем, и системой психоаналитических симптомов, проступающих сквозь его незамысловатую подоплеку. Хотя не менее интересно его ретроспективное сравнение с куда более поздним высказыванием поэта, дословно воспроизводимым Афиногеновым: «Настоящему писателю нечего сказать. У него есть манера речи» (это, несомненно, рифмуется с известным утверждением Пушкина: «То, о чем говорит художник, никогда не является главным»)*. Но не менее любопытны черты влияния стиля Щедрина, которые мы можем без труда отыскать в этой трехстраничной картинке с выставки, — Щедрина, любимого, по признанию многих, писателя нашего поэта. Крэнстон уверяет, что они были не только знакомы, но и приходились друг другу дальними

* Ряд можно было продолжить, предложив вниманию читателя не менее известную цитату другого классика: «Мне всегда хотелось написать книгу ни о чем» — этот ряд, действительно, бесконечен. (Прим. авт.)

родственниками по линии Салтыковых, потомков выехавшего в начале XIII века из Пруссии в Новгород Михаила Прушанина или Прушанича. Славная семья. Ни в одной фамилии не было столько бояр, а потом генерал-фельдмаршалов. Один из Салтыковых, Михаил Глебович, бывший во время междуцарствия главным деятелем польской партии, в 1611 отъехал с сыновьями в Литву, потомки его, откинув великорусское окончание своей фамилии на «овь», стали называться Солтыками, и многие из них, став в ряду польских магнатов, сделали затем известными в XVIII веке как ярые ненавистники России.

Мать Михаила Евграфовича, известная «Салтычиха» (и, впоследствии, жена Аракчеева) отличалась неукротимым темпераментом светской львицы и характером отчаянной пифии-прорицательницы. Ее несчастья начались со смертью мужа, престарелого секунд-майора, безвыездно проживавшего в своем имении под Яузой, и неудачным сватовством молодого капитан-исправника, который сначала побаловался с юной вдовой, а затем обманул ее, обвенчавшись с дочкой уездного предводителя. Мы бы назвали ее состояние: сексуальная неуравновешенность. После того, как сорвалось тщательно, хотя и истерично подготовленное ею покушение — она собрала специальную шайку из своих крепостных, которые должны были столкнуть в воду с моста коляску, в коей молодые — жестокий изменщик со своей красивой кралей — следовали в поместье ее батюшки (усатый исправник навел ужас, непредвиденно выйдя из коляски за две сажени до моста, якобы собираясь проверить настил, — и шайка крепостных в панике разбежалась). Тогда молодая вдова — ей было в то время двадцать с небольшим — и начинает свои кровавые преступления. Сухой перечень делает их тривиальными. Все сто двадцать семь пунктов обвинения, подписанного впоследствии ею — по неграмотности она поставила крест, — похожи, как близнецы. Она мучила и убивала только молодых девиц, начиная лишь с тех, кто уже начал менструировать, и кончая успешными родить не более одного ребенка, то есть возраст ее жертв колебался от 11 до 22 лет. Предпочтение она отдавала женам и невестам своих подручных, составлявших в свою очередь ее обширный и разношерстный гарем. Ее возбуждал коктейль спермы с кровью. Описания ее садистских соитий, как, впрочем, и способы пыток, нудны и однообразны, особенно при бросающемся в глаза желании поразить изощренностью и оригинальностью. Каждый раз очередной несчастной жертве ставился в упрек один из двух возможных пунктов обвинения: плохое мытье полов или небрежная стирка белья. Других претензий не предъявлялось. Просчет в выборе мыльного раствора приводил к появлению раскаленных каминных щипцов, разных иезуитских приспособлений и банальных скалок. Иногда мало что уже понимающей жертве давали возможность исправиться. Если была зима, то раздетую донага несчастную загоняли в ледяную воду по шею, а после того, как та начинала захлебываться, давали шанс вымыть полы еще раз, исправив этим предыдущую оплошность. Таким

образом трое из ее подручных потеряли двух жен, один — четырех. Жалобщики выслеживались и наказывались. Коррупцированная судебная власть пила с нашей вдовой чай на веранде. Конец ее карьере положил случайное стечение обстоятельств и начатые Екатериной-освободительницей реверансы прогрессивной партии. Адвокат вдовы пытался придать процессу скандально политический характер, делая акцент не на ее маниакальном темпераменте, а выделяя идейную убежденность. Защита сводила все к тому, что вдова была шокирована обманувшим ее капитан-исправником, с которым она не разделяла его коммунистических настроений. Капитан был выдвиженцем, она — ретроградкой, инцидент свели к противоборству идей. Именно это обстоятельство спасло ее от четвертования; почти двадцать лет следствия закончились пожизненным одиночным заключением. Сначала монастырская яма, затем тюремный каземат, где вдова сидела, прикованная цепью за шею и левую ногу, а потом, после того, как она умудрилась зачать и родить от караульного татарина, каменный мешок, позволивший ей, однако, пережить императрицу, справив здесь свое девьяностолетие.

Всю жизнь Михаил Евграфович не мог избавиться от безотчетного чувства вины, мучимый инверсированным эдиповым комплексом на материнской подкладке. Его женские типы оказывались своенравны, жестоки, лукавы. Он ненавидел женский пол не только метафизически, но и грамматически. Женские окончания были ему отвратительны. В невесты он выбрал красивую и глупенькую девицу с уступчивым характером и хорошим приданым. Она была наивна и легкомысленна, читала исключительно французские романы, была спокойна, уравновешенна, после замужества звала его «Мишель», хотя радостное слово «дура» не выходило из обихода домашнего обращения. Она была очень красивая брюнетка, с серыми глазами, с правильными чертами лица и изящными манерами; сохранив молодость до старости, она всеми силами старалась сберечь и красоту: спала только на спине, чтобы не появились морщины на щеках, мыла волосы дикой рябиной, ела только молодое мясо, склонялась к самому истовому суеверию, гадая на картах, вынимала из колоды всю пиковую масть. Вынужденный эмигрировать после начатой против него Чернышевским кампании: последний был, несомненно, прав, ибо Михаил Евграфович, переправив по почте начальству полученную им в частном письме прокламацию «Великорус № 1 и 2», подвел под монастырь соратника Чернышевского графа Обручева, да и не только его, после чего и подвергся преследованиям, приведшим его в Баден-Баден, где адаптироваться так и не удалось. Я русский, писал наш протагонист, и не могу выносить этой немецкой чистоты, хочешь плюнуть на улице и боишься, так как все кажется, что за тобой бежит немец с тряпочкой и, как только ты плюнешь, сейчас начнет вытирать. Да-с . . . Ого, он потянул спутника за рукав, кивая на скамейку, возле которой они проходили, посмотрите, не правда ли, как этот субъект похож на х . . . в шляпе. К изумлению обоих, субъект радостно заулыбался, в ответ привставая и кланяясь. Сударь, вы не

можете себе представить, как приятно слышать звуки родного языка на чужбине.

Чужбина, жалейка, барыня, ворон. Век вековать — на дубу куковать. Сидит ворон на суку и дудит в свою жалейку. Нам бы, скажем, скорби, печали. И чинарь — *enfant terrible*, озорной, вольный юнец. Собирались, припоминаем, по субботам. Фисгармония стояла между окон. За стеной сморщенный старичок играл на цитре и пел песенку собственного сочинения. Чай Высотского, папиросы «Дюбек». Сударь, угостите папирочкой? Нет, только не здесь, только не вам, садитесь на мой роскошный диван. Руку мою в руку твою, вокруг себя беду я зажгу. Но — пока не поздно — раздвинем декорации и угостим читателя пыльной картиной степи, водокачки за окном, дремучего однообразия, полупустынного полустанка и заезженным шаблоном встречи синего пульмановского вагона, к которому подкатали красную ковровую дорожку, угощая ею начальство. Походная фуражка с изогнутыми — на прусский манер — полями, золотой эфес шашки с георгиевским темляком, одутловатое лицо. На перроне скучающая пишбарышня с розовым бантом, носильщик с чемоданами, почтовый служащий с сургучной печатью в руке. Перед вокзалом — лужа, напоминающая трехгорбого верблюда. Кабак и колониальная лавка, где можно приобрести мраморную бумагу для оклейки книг, слабительный александрийский лист, кайенский перец, сальные свечи, лафит и мозель, аравийский кофе, липучку для мух. Прихрамывающая, морщась от геморроя, ругая его почечуем, не глядя на вытянувшихся в струнку по бокам, мечтающая о перине и горячем чае. Два часа тряской езды и — двор, грунтовые сараи со шпанскими вишнями и бергамотами, в парниках созревают дыни, в теплицах — ананасы. Мечты о любви. Муки ревности. Он, недоступный для понимания подчиненных, привязался к жене одного из своих чиновников и попросту купил ее у мужа, отправив последнего в командировку в дальнюю губернию, из которой тот не вернулся. И вот теперь она? Где? Почему? Роза, моя Роза! Все русские любят Розу. Какой русский не любит Розы. Шепелявя. Не выговаривая «д» и «з». Роза и я. Роза моя. Фразистые ляжки, пухлый Тургенев. Сличая два экземпляра переводов Лао Цзы на немецком и русском, он находит и прелестнейшее развлечение, заметив, что в русском тексте слово «самка» соответствует понятию «вечноженственного» в немецком. Это не отступление, не экивок. Проследовавшие по красной дорожке сапоги принадлежали человеку, имеющему самое непосредственное отношение к нашему герою, точнее его отцу, Ивану Павловичу Ялдычеву. В его тетради мы и нашли это имя: взир зауми.

ОДА

Визирь ярится. Кровь Эллады
И резвоскачет и кипит.
Открылись грекам древни клады,
Трепещет в Стиксе лютый Питт.
И се — летит предезко судно
И мечет громы обоудно.
Сей Бейрон, Феба образец,
Притек — но недруг бестропарный,
Строптивный и неблагодарный
Взвел смерти на него резец.

Певец бессмертный и маститый,
Тебя Эллада днесь зовет
На место тени знаменитой,
Пред коей Цербер днесь ревет.
Как здесь, ты будешь там сенатор,
Как здесь почтенный литератор,
Но новый лавр тебя ждет там,
Где от крови земля намокла:
Перикла лавр, лавр Фемистокла;
Лети туда, снегирь наш сам.

Вам с Бейроном шипела злоба,
Гремела и правдива лесь.
Он — лорд, граф — ты! Поэты оба!
Се, мнится, явно сходство есть —
Никак! Ты с верною супругой
Под бременем судьбы упругой
Живешь в любви — и наконец
Глубок он, но единообразен.
А ты глубок, игрив и разен —
А в шалостях ты впрямь певец.

А я, неведомый пиита,
В восторге новом воспою
Вослед пиита знаменита
Правдиву похвалу свою.
Молися кораблю бегущу,
Да Бейрона он узрит кушу,

* Эти и последующие стихи были найдены в тетрадке черновиков Инторенцо, и хотя они не включены ни в одно из канонических изданий поэта, у нас нет оснований полагать, что они не принадлежат его перу, т. к. соседствуют с текстами, уже давно идентифицированными. (Прим. авт.)

И да блюдут твой мирный сон
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вахх, Харон.

СОВЕТ

Поверь: когда слепней и комаров
Вокруг тебя летает рой журнальный,
Не рассуждай, не трать учтивых слов,
Не возражай на писк и шум нахальный:
Ни логикой, ни вкусом, милый друг,
Никак нельзя смирить их род упрямый.
Сердиться грех — но замахнись и вдруг
Прихлопни их проворной эпиграммой.
И уходи вперед распираторной гаммой,
Туда, сюда, раскачивай ладью.
Не удивляя, огорошишь хама
И всю его разверстую семью.
Семью замками заперта печать,
Уста сургучные заклеены лениво
Глагола проникающая статья
И женщины явление строптиво.
Не повторяй, рефрен им невдомек,
Но вновь явись, как постоянный срок.

ВСТРЕЧА

Здравствуй, Настасья Филипповна!
Здрасьте, ответила я.
Что ж вы сидите под липами?
Где ж мне сидеть, у ручья?
Воду ль мне выпить забвения,
Птицей на ветку ли сесть
Иль вечноженственным мнением
Душам отдать свою весть.

Здравствуй, прекрасная, милая,
Что ж ты явилась опять,
С прежней жестокою силою,
Как нам тебя величать?
Феней ль, Феникс, как хочется,
Роза, Мария иль Рос,
Иль Лорелея-наводчица:
Тут не ответ, а вопрос.
Роза ветров и попутчица,

Призрак или тень я твоя,
Вечнозеленая спутница.
Здрасьте, скажу, вот и я.

3

По определению Зиммера: стихи — это зеркало души. Дик Крэнстон утверждает, что «чуждества и даже тики как-то гармонично входили в облик «нашего второго героя», что я (продолжаем цитату) не сомневаюсь, были необходимы для его творчества». С этим трудно согласиться, как со слишком банальной интерпретацией столь неординарной природы, хотя и понятно стремление исследователя увидеть ассоциативную связь между физиологическими отправлениями писателя и его стилистическими приемами. Крэнстон утверждает, что один из характерных нервных тиков, присущих поэту и несомненно специально им культивируемых, была привычка как-то странно втягивать воздух носом: нх, нх, пока тот не добивался отчетливого похрюкивания. Г-н Краснов уверяет, что, по мнению окружающих, в этом несомненно было что-то деланное и нарочито-позерское. Крэнстон, оспаривая это мнение, замечает, что «несмотря на эти нервные подергивания, он держался всегда абсолютно естественно, и просто не мог быть иным, ибо обладал безошибочным вкусом, одинаково проявляющимся как в мелочах, так и в крупном, от одежды и манеры держаться до сложнейших вопросов мировоззрения или суждений о жизни и искусстве». Его, Ялдычева-младшего, характеризовала высокая степень джентльменства и не только внешней, но и внутренней благовоспитанности, которую он, конечно, почерпнул у своего отца, еще при старом режиме просидевшего рекордное число лет в Алексеевском рavelине, переписываясь с Толстым и подсаживая сюжет последней пьесы Чехову: двое ученых любят одну женщину, она сначала любит одного, потом изменяет ему, и он с горя уезжает на Дальний Север. В 3-м акте стоит пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и в последний момент перед ним пронесется серебристая тень любимой женщины.

Сюжет был автобиографичен. В юности отца поэта существовала романтическая история с одной девицей, которую его друг, также причастный «сенатскому каре», однако вместо каторги сосланный на Кавказ, увез с собой, где так и не получил повышения, ибо его любовница, унтер-офицерская дочь, застрелилась у него в палатке (хотя многие утверждали, что он сам убил ее из ревности после одного драматического выкидыша). Подробности были неизвестны. Если это было самоубийство, то у него имелся рецидив. Однажды эта офицерская дочь, страстно его любившая, уже чуть не лишила себя жизни при очередном припадке его ревнивых чувств. Такие вещи всегда передаются на расстоянии. И бесследно не проходят. Идея двойника, двойной любви овладела умом способного юноши, не

отпустив с тех пор никогда. А так как мы еще длим прелюдию нашего повествования, то, возможно, лучшим представлением Ялдычева-младшего послужит один из поздних его рассказов, вполне характерный для его психоаналитической манеры. Приводим рассказ полностью, считая, что он выполнит предназначенную ему роль контрфорса.

Двойная тень

Утром 19 октября 1983 года граф Сиверс, собираясь в ресторацию на острова, вышел из своего особняка на Английской набережной, даже не подозревая, что больше сюда не вернется. Рассеянный дворецкий с забытой пуховкой в руке придержал дверцу коляски, пока Дмитрий Сергеич усаживался, махнул рукой, кучер что-то крикнул, кони рванулись и понесли. На Троицком мосту их догнал выстрел крепостной пушки, граф высунулся и увидел туман, серую осеннюю воду и покореженную решетку моста: ее выломал оранжевый «ягуар», очевидно, не справившись с управлением,— сейчас его вытаскивали из воды три синеглазых в мокрых кепках, которым помогал молодцеватый квартальный. Дмитрий Сергеич откинулся на подушки, закрыл глаза и стал думать под топот копыт, как бы повел себя на его месте таинственный преступник, обчистивший квартиру и сейф его приятеля, английского посланника, мистера Дегарделли, а затем жестоко убивший его молодую служанку, которая, как догадался граф Сиверс по расстроенному лицу посланника, находилась с ним в интимной связи. Остановил бы тот коляску, чтобы помочь выудить из воды «ягуар», или проехал бы мимо, сделав вид, что не заметил,— конечно, проехал бы! А жаль. Граф Сиверс был молод, силен, увлекался спортом: боксировал и играл в лаун-теннис. В спине заныло от жажды пропущенного усилия, но он опять закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Ретроспективный узор преступления представлялся ему в виде затейливого орнамента, чем-то вроде импрессионистского лепного фриза, где комбинация неровностей составляла повтор, различимый только: 1) если лепнину уменьшить раз в десять и 2) рассматривать кусок орнамента с достаточной перспективой. При близком рассмотрении узор сливался в невнятицу. Одно противоречило другому. Версия мистера Дегарделли, что это дело рук мерзких большевиков, таким образом провоцирующих муниципалитет на необдуманные шаги, не выдерживала критики. Граф Сиверс не сомневался, что версия Дегарделли лишь аккомпанировала его тайной страсти, ибо для него было очевидно, что убитая молоденькая служанка была женой посланника, скрыто обвенчанная с ним во избежание огласки некоторых компрометирующих обстоятельств. По крайней мере, так считала она и намекнула Дмитрию Сергеичу, когда тот ненароком попытался притиснуть ее в дверях, рассеянно пройдясь по клавиатуре ее юных прелестей. На большевиков Дегарделли валил все: и скандал на пушном аукционе,

и похищение внучки председателя Думы, за которую потребовали немалый выкуп, и неудачное покушение на самого графа Сиверса, случившееся три месяца назад. Теперь, увлекаемый мягким рессорным ходом, Дмитрий Сергеич представил себе причудливую картину этих событий несколько иначе, чем в июле, ибо симптомы следующих чередой происшествий угадывались отчетливей, и драгоценный проблеск маячил, возможно, уже за ближайшим виражом. Что ж, пора. У поворота на Каменноостровский граф наклонился вперед, шепнул что-то кучеру, и когда коляска, забирая вправо, наезжая двумя колесами на тротуар и как бы естественно замедляя ход, поравнялась с приоткрытыми воротами, граф перепрыгнул через дверцу, стремительно влетел в подворотню, боковым зрением успевая заметить стального цвета «dutchun», следующий в отдалении за ним, и резко рванувшую вперед коляску, прикрывавшую его отход. Подворотня, парадная, проходной двор, парадная, улица. Его сиреневое «volvo» стояло там, где он поставил его вечером. Рванул дверцу, сел, врубил зажигание, нажал на акселератор. Мотор угрожающе заворчал, его прижало к сиденью, машина набрала скорость, поворачивая и чуть не цепляясь за угол, он увидел в заднем зеркале пустынную мостовую и понесся, быстро переключая передачи, изломанными переулками. Он симулировал активность и страх, пульс бился, голова была ясная, чувствовал он себя превосходно. Мокрый, скользкий проспект пересек ему путь, загудели клаксоны, он проскользнул перед самым носом двух потоков машин, слыша, как скрипят тормоза и ошалело свистит городской: не до того. Оторвался. Часа два теперь у него есть, а больше, возможно, и не потребуется. Осведомитель ждал графа в ресторации на островах, и теперь, когда от его коляски отстали, он может отправиться вслед за ней, не боясь, что дезавуирует своего шпиона раньше времени.

Дмитрий Сергеич был не женат, в нем билась жилка авантюриста и азартного игрока, он был протагонистом аристократической идеи и ненавидел словесное жульничество. В порядке некоего парадокса он взялся не за свое дело, менее всего склонный избличать преступников, а лишь заинтригованный собственной гипотезой будущего. Он родился за год до объявления Санкт-Петербурга вольным городом, и этот промежуток не давал ему покоя не потому, что он считал себя аристократом, а не гражданином, а вследствие неясности собственного происхождения. Его отцу принадлежало газетное дело в Берлине, Цюрихе, две газеты в Омске, типография и журнал в Крыму и лишь одна бульварная газетка в Петербурге. Его мать попала в лапы еврейских террористов, которые лишили графа состояния и задумчивого детства; несмотря на полученный выкуп, мать была продана, по слухам, сначала в гарем персидского шаха, а после, когда через правительство Свободной Сибири был сделан запрос, оказалась перепроданной в какой-то латиноамериканский публичный дом, вслед за чем след ее терялся. Отец графа стал попивать, якшаться с отребьем и левыми элементами, а затем попытался передать все свои средства подпольной группе социал-ре-

волюционеров, действующей в Красной России, и только вмешательство опекунского совета спасло Дмитрия Сергеича от унижительной нищеты. Старый граф был объявлен недееспособным, поселился сначала в Румынии, а затем тайно перебрался в Москву, где опять предпринял меры, чтобы встать на ноги, но, как сообщали газеты, «бывший газетный магнат, очевидно, переоценил свои силы» и теперь, как частное лицо, лишь «изредка появлялся на приемах», используемый в качестве консультанта, не более того.

Честно говоря, Дмитрий Сергеич подозревал его в склонности к мужеложеству. Он любил свою мать и жалел отца. Книжное дело не прельщало его, он жил на проценты, официально считаясь патроном двух крупных издательств, хотя не прочел за свою жизнь ни страницы, выпущенной им самим, ибо ненавидел прошлое, презирал настоящее и мечтал только о будущем. Он считал себя дилетантом-философом, равнодушно относился к своей и чужой смерти; известие, что его мать приняла магометанство и стала женой одного престарелого турецкого писателя, поселило в нем недоверие к любой религии за исключением буддизма, который он рассматривал как постскриптум человеческой истории, нимало не смущаясь его древность. Граф был фаталист, стены его квартиры были увешаны увеличенными цветными изображениями мандал, висел портрет Юлиана-отступника; в юности он увлекался Юнгом и не сомневался в том, что чертеж человеческой судьбы напоминает негативную фотографию, и если подобрать соответствующий проявитель, то очертания проступят, пусть не до конца отчетливо, но, по меньшей мере, эскизно. Транскрипция судьбы — словесная арабеска; фраза может быть ключом, открывающим секретный замок. Он обожал разгадывать криптограммы и ненавидел политику, гордился своим классовым чувством, сетовал на то, что людей на Земле стало слишком много, когда-то любил эпатировать общество изысканными цитатами из Мальтуса и Ю Цина. Он не желал никому зла, только хотел, чтобы ему не мешали. Граф Дмитрий Сергеич Сиверс был сумасбродом, чудачком и филантропом. Скрывая это ото всех, он помогал двум молодым репортерам, решившим вытащить из лап большевиков одного скрывающегося на острове в излучине Оки знаменитого философа, вступив с ним в переписку, и одной девице-горбунье, каждое первое число отправляя ей в голубом конверте любовное послание и небольшой чек на предьявителя.

Его любовные истории были неуклюжи и быстро набили ему оскомину. В детстве он был полувлюблен в свою кузину с толстыми ляжками и очаровательным пушком на щеках, потом в свою тетку, которая причудливо к прерванному коитусу и эксплуатировала оральные еношения, чтобы не допустить кровосмешения. Сначала он любил ее, потом ненавидел, затем стал уважать. Тетка жила почти рядом, через квартал, во дворце великого князя, будучи его любовницей, хотя после провозглашения Петербурга вольным городом титулы потеряли смысл, и почти вся знать перебралась в столицу Вольной Сибири Оренбург. Учась в университете, граф Сиверс

написал работу о Гражданской войне, которую ретроспективно сравнивал с семейным адюльтером, после которого каждая сторона отдала предпочтение своему полу: Сибирь он окрашивал розовым лесбийским цветом, Красную Россию голубым гомосексуальным, и лишь Петербург тонул у него в тумане фатальной неопределенности. Назвав хиреющую монархию старой лесбиянкой-мастурбаторшей, а большевиков — угрюмыми педерастами, он нажил себе врагов больше, чем можно было предположить, и был объявлен персоной нон-грата по обе стороны мира. Сначала это его забавляло, потом бесило. Жить в городе-острове, в условиях непрекращающейся блокады, не имея ни профессии, ни потребности и необходимости зарабатывать себе на хлеб, и знать при этом полгорода в лицо — было утомительно. Беря уроки у чемпиона в легком весе, он освоил стремительные боковые удары, и впоследствии, набрав вес с годами, продолжал поражать соперников бешеными свингами. Он был вынослив, как гончая, хорошо потел, ощущая от этого облегчение, и теперь, мчась на головокружительной скорости по шоссе, которое заглатывалось его машиной, как итальянские спагетти, чувствовал себя в возбуждении, напомиравшем беговую лошадь перед стартом. Он жаждал усилия, напряжения, противоборства, ему хотелось задуть угрюмого врага собственными руками, борясь с ним, как с женщиной, и его унижал холод револьвера под мышкой. Тот человек, которого он подозревал, по слухам, был поразительно похож на него: только выше ростом, крупнее, с шапкой лохматых курчавых волос, огромный верзила с садистскими наклонностями, несомненный женоненавистник, ибо убивал — и достаточно изощренно — только дам, распарывая им живот от паха до горла и запихивая им в рот их собственные кишки. По картотеке жандармерии он значился под именами Сильвестра Петрова, Савы Никонова, месье Лагранжа. В том, что он наемный убийца, не сомневался только граф Дмитрий Сергееч. Остальные считали его заурядным маньяком-дилетантом, однако их можно было понять. Они не знали того, что знал граф Сиверс, однажды в течение получаса рассматривавший фотографические копии документов архива мистера Дегарделли, веером разложенные перед ним услужливым секретарем посланника. Затем ладони собрали фотографии, раздумчиво потасовали их, как колоду карт, после чего вся пачка полетела в камин. Транскрипция фактов, проступавшая через подоплеку следующего обстоятельства, с фатальной очевидностью доказывала, что агентом большевиков был не кто иной, как сам мистер Дегарделли — английский посланник и лучший друг графа Сиверса. Быстрая перестановка в пространстве причудливой гипотезы привела к почти очевидному выводу: у магического треугольника должна быть третья сторона и третий угол. Кто он? Не един ли он в трех лицах? Не софизм ли утверждение, что любая фигура стремится к устойчивости и симметрии, и надо ли обладать чрезмерно испорченным воображением и изощренным умом, чтобы обнаружить превосходство цифры «три» перед «двойкой»? Цифра ненавидела цифру, буква букву, презирая в ней не что иное, как

наружный вид. Когда эта мысль пришла в голову Сиверсу, он сначала обрадовался, затем опечалился. Ему не принадлежало ничто в этом мире, даже собственные мысли. Чтобы убедиться в этом, он еще ночью прошлепал босиком в библиотеку, чтобы найти там том Лукиана. Кажется, диалог «Суд гласных». Да, так и есть. Значит, он не больше, чем тень самого себя и двойник собственного преступления. Выхода не было. Пусть считают, что попал в западню и стал жертвой обстоятельств и собственной самонадеянности.

Сильвестра Петрова так и не найдут, зато у его репутации будет совершенное алиби...

Накрапывал дождь, когда, мягко шурша шинами по деревянному настилу моста, он свернул на усыпанную гравием дорожку и, убедившись, что за ним нет хвоста, покатил по аллее, слыша, как ивовые ветки, издавая нежный звон, царапают его «volvo». Гуляющих почти не было. Еще три, четыре поворота, и машина уперлась в тупик. Он загнал ее поглубже в кусты, досадливо морщась от скрежета дерева по металлу. Затем распахнул дверцу и прислушался. Город шумел где-то там, отделенный от него зеленой зоной. Тишина, хруст веток и шелест листьев, возможно, от ветра, возможно, от осторожных шагов. Треугольник должен быть замкнут. Двойник должен существовать. Граф Сиверс вздохнул и стал снимать пиджак.

Через десять минут раздался неторопливый выстрел. Эхо было сухим и коротким.

4

Мы можем согласиться с пресловутым Графтио, что припадки романтического натурализма (или натуралистического романтизма), характерные для межвоенной литературной ситуации (которым в полной мере отдал должное и Ялдычев-младший, хотя другой рецензент определяет его манеру письма как «неореалистическую» и обвиняет его в слишком слепом и безусловном следовании натуре), действительно говорят о гипнотическом влиянии социальной жизни и о вербальности сексуальной атрибутики. Однако даже Дик Крэнстон замечает, что быть копиистом действительности не всегда банально, особенно если присутствие в миру окрашено блаженной принадлежностью к его роковым минутам. Сам Александр Инторенцо замечал, что «есть особая прелесть в причастности к делу, обреченному на поражение». Конечно, подобная позиция самонадеянна и странна, как странен взгляд из XXVI века в XX. Тот же Инторенцо оставил достаточно емкие и лаконичные описания своего приятеля, с которым он познакомился позже, чем с другими, уже двадцатилетним. Он был старше Ювачева всего на год, однако и его поразила нарочито англоязычная внешность: этот высокий художавый блондин был одет в серый спортивный костюм, короткие брюки и толстые шерстяные чулки до колена, мило рифмующиеся с черным котелком, каких тогда решительно никто не носил. Сам

Александр Инторенцо, не уступая в росте Ювачеву, был во многом его противоположностью, хотя многие считали их близнецами. Модные шикарные костюмы, с которыми прелестно дисгармонировали яркие, безвкусные галстуки, несколько пухловатое лицо, отменное роковой красотой, которую не портили, а оттеняли испещрявшие шею — и лишь немного щеки и подбородок — сухие оспины. Дребезжащий трамвай, в котором он ехал, поеле того, как Ювачев-младший вскочил на площадку в месте, где закруглялись рельсы, на углу Бассейной и Литейного, тащился по ночной улице, инстинктивно убыстряя ход после каждого черного ворона, ожидавшего ездока у беззубого рта пустой подворотни. Россия омывалась восьмью морями, ночной Литейный угостил их видом восьми черных воронок. Жили они по соседству. Введеневы на Съезжинской, Ювачевы на Надеждинской. То, как они сошлись, лучше передают цитаты: Блок, камень, вода, лед, огонь; в немецком Шустер-клубе, чтобы выпить на брудершафт, один заказал двойное «дайкири», другой сухое «мартини». Один — игрок, заядлый преферансист, дамский угодник, впоследствии его называли «самым удивительным поэтом XX века», другой жил в постоянном ожидании бескорыстного чуда и рассматривал свою жизнь и творчество лишь как репетицию этого чуда, моделируя его с помощью своих чудачеств, что создавало сквозняк для молнии — открыта фрамуга — открыта фортка — открыты двери — формула приглашения — создание воздушного коридора — ожидание небесного гостя. Ситуация длилась, тянулась, терпение делало стойку, наостряло уши, ничего не происходило. Значит, надо отрокироваться: поменять шифоньер и оттоманку местами, длинноногую бронзу поставить на пол, а саквояж на подоконник. Чудо было логично, по формуле совпадающая с философским камнем, ожидание его окрашивалось эвристической мукой, он мечтал сойти с ума, ибо это тоже было чудом, он провоцировал пространство, полагаясь на приз — создавая рамку, начерно набрасывал композицию — оставался последний штрих, последний изгиб. Чудом была слава, бессмертие, метаморфоза, смерть. Смерть он любил. В ней томилось обаяние, кувырок через голову, непредсказуемое превращение, бескорыстный обман. Обоим помогали жены. Первой женой Дениса Ивановича была дочь еврейского джазового музыканта, месье Марселя, эмигрировавшего до революции, чтобы стать одной из главных достопримечательностей Парижа. Его дочь была глупа и хороша, как Жанлис. Напоминала чуть поношенную и подправленную античную статую. С этим он не мог согласиться. Оба обожали ходить по квартире голыми, проповедовали нудизм, ненавидели местные термы, где нагота корыстна. Брак был странным и скучным: в основном, они молчали, Денис Иванович музицировал на фисгармонии, она читала, он вставал, доставал из шкапулки уголь и помаду, начинал исправлять ее внешность, изрисовывал спину, грудь и живот — соски делал черными, вокруг лона изображал кровавую рану, живот бороздили волны. Затем садился перед ней на стул и начинал мастурбировать. Это было любимое занятие приятелей — мастурбировать в присутст-

вии любимой женщины. Они не поклонялись Онану, они были шокированы вульгарностью окружающей жизни, которая оскорбляла их эстетическое чутье, они ощущали вызов — и отвечали на него. Человеческая любовь была банальна. Сокоупление отвратительно по своей тривиальности. В нем не ощущалось ничего забавного. Оно было несовершенным и требовало исправления. Вид плачущей женщины возбуждал, но отчасти. Роскошный бутон лона то распушался, то сворачивался, покорные лепестки напоминали ловушку для чуда — на них можно было дуть, как на кошачий нос — нос морщился и фыркал. Денис Иванович замечал, что именно в подобные моменты голову посещают интересные мысли. Он обожал классификации и однажды разделил всех людей на четыре категории: 1) воспитанные интеллигентные люди, 2) невоспитанные интеллигентные люди, 3) воспитанные неинтеллигентные (как говорится, из простых), 4) невоспитанные неинтеллигентные (остальные обыватели). Искусство не занимало у него главенствующего места, на первом месте стояла попытка сделать свою жизнь, как делают стихотворение или музыку. Он исповедовал наивный, почти детский цинизм. Поэтому иногда высказывал такие мысли, которые приходят в голову каждому человеку, но которые человек чаще всего скрывает даже от себя, считая их неприличными, а если и высказывает, то из бессознательного внутреннего фарисейства старается облечь их в псевдопоэтическую форму. По сравнению с тем, что происходило в стране, их эскапады казались учтивыми реверансами общественности. Продолжалась борьба, которую вел с большевиками Сталин, этот чернокожий крещеный мулат с маргинальным и подвижным умом, благодаря лишь собственной сметливости выкупивший на волю себя и свою семью, хотя и не простил старому режиму ни своих унижений, ни унижений всей индейской нации, загнанной большевиками в резервации (его подлинным именем было Са Лин, что означает Красивый Вождь, на своей исторической родине он действительно был сыном индейского князя племени маурили, и вывезенный русскими конкистадорами в качестве игрушечного карла для гарема жены Верховного правителя России, он только по ошибке остался не оскопленным; с возрастом шоколадная кожа стала более смуглой, и его отсылают с глаз долой, разрешают обзавестись семьей и осесть на земле — знал бы Беринг, какой коварный подарок преподнес он родине! — что и позволило юному Са Лину житься духом с русскими аборигенами, и после жестоко подавленного восстания Пугачева в очередной раз возглавить борьбу за независимость, а затем и против жидовской диктатуры Ленина, заставив-таки последнего опять эмигрировать в Индию, где тот вскоре умер во время припадка тропической малярии). В стране все кипело, бурлило, сын шел на отца, брат против брата, цветное большинство, несмотря на естественную отсталость, поняло, что это, верно, последний шанс обрести свободу, и повело нешуточную борьбу, надеясь обрести и права; Сталин успевал повсюду: он был полководцем, теоретиком, первосвященником; отправлял в день по сотне писем своим сторонникам;

подбадривал приговоренного к смертной казни в еще удерживаемом большевиками Петрограде своего соратника и друга детства Нельсона Манделлу; старый прогневивший режим трещал по швам. На освобожденных территориях устраивалась новая жизнь. Наконец Россия смогла вздохнуть свободно, полной грудью. Была запрещена тайная дипломатия. Тайное стало явным. Парламент заседал два раза в неделю. Инициатива высвобождалась из-под гнета. Публичные дома стали любимым местом отдыха русских. Новая власть не поощряла проституцию, но и не хотела укладывать жизнь в прокрустово ложе. Власть, проповедовал Сталин, должна не управлять, а не мешать. Он был любимцем не только индейских племен или яицких негров, но — многих русских, которым импонировало в нем всё: смелость ума, ясность мысли, скромность — Са Лин не захотел селиться во дворце, предпочитал природу, волю и свою родную саклю в киргизских степях. Этот урожденный кочевник был красив, смугл и статен. О его физической силе ходили легенды, честность и прямодушие его превозносились. Собственного сына, обманом выманенного за рубеж, где из него хотели сделать главу оппозиционной партии архаистов, связанных с масонами и большевиками, он проклял, отдал под суд Совета Министров и плача согласился на его смертную казнь через удушение. Новая Россия не имела права на междоусобицы. Орды французов и поляков, как стаи голодных шакалов, только и ждали сигнала, чтобы кинуться через границу добывать раненого, надеясь на легкую поживу. Фракционная борьба прекратилась. Прекрасный оратор и военачальник, Троцкий тренировал своих самураев, любимец партии Бухарин редактировал «Правду». Са Лин старался все делать сам. Он тачал сапоги. Плотничал, являясь работником на престоле.

Неукротимый темперамент давал себя знать. Научившись зубо-врачебному делу, он решил вытащить зуб своему денщику. Тот в испуге сбежал, увидев в руках у царя козью ножку. Стрельцы не догнали его, за что каждый десятый был наказан. Царь был суров, но справедлив. Единственной его слабостью был женский пол. У индейцев маурилы многоженство не считалось пороком и поощрялось. Крестившись, Са Лин получил новое имя и хотел даже дать обет безбрачия и целомудрия, но благоразумно поняв, что такой обет сильнее его, обвенчался с пятнадцатилетней грузинской княжной. Взятая из горного аула молодая девушка не вынесла соблазнов большого города и была казнена, уличенная в прелюбодеянии с кухонным мужиком царя. Он женился еще раз. На молоденькой дочке своего партийного товарища Серго Орджоникидзе: ее нашли с простреленным сердцем и дымящимся пистолетом в руке — суетливая дворня шептала, что Са Лин застрашал ее упреками и угрозами вернуть отцу, если та не перестанет толстеть. Он ненавидел жирных женщин: жир на ляжках, животе, ягодицах, не говоря о груди — приводил его в неистовство. Он заставлял несчастную не слезать с тренажера, делать бесчисленное число упражнений на брюшной пресс, а из ее меню выкинул все углеводы. Третья и четвертая жены родили ему по

мальчику. Пятая и седьмая — девочек. Последующих жен ему растили специально, можно сказать, оранжерейно, строго соблюдая известные параметры и размеры, ибо сам царь был огромного роста, 2 метра 4 сантиметра, хотя и имел маленькую, девичью стопу 35 размера, чего стеснялся и потому надевал на каждую ногу два или три сапога кряду. Его девочки должны были быть блондинками, с нежным пушком на ногах, грудь им накачивали парафином, а стопы, чтобы они ни в коем случае не превышали стопу царя, держали с восьми лет в узких деревянных китайских сабо. Небольшой конфуз вышел, когда он неожиданно обратил внимание на супругу шведского короля Густава V, прибывшую с посольством в Москву, введенный в заблуждение слухами об их разводе и намереваясь отдать ее в жены своему младшему сыну. Только что закончившаяся шведская кампания чуть было не разгорелась снова. На Густава V он держал зуб за то, что тот никак не хотел писать на верительных грамотах свое имя после сталинского и отказывался величать того полным титулом. Мы приведем отрывок из его послания в Стокгольм не только потому, что именно оно избавило пострадавшую страну от новой войны, но и чтобы продемонстрировать стиль письма Са Лина, умевшего, подобно Пушкину, всегда говорить на языке своего корреспондента. «Скипетродержателя Российского царства грозное повеление с великосильною заповедью: Послы твои, Густав, уродственным обычаем нашей степени величество раздражили; хотел я за твое недоумительство гнев свой на землю твою простереть, но гнев отложил на время, и мы послали к тебе повеление, как тебе нашей степени величество умолить. Мы думали, что ты и Шведская земля в своих глупостях сознались уже; а ты точно обезумел, до сих пор от тебя никакого ответа нет, да еще выборгский твой прикащик пишет, будто нашей степени величество сами просили мира у ваших послов! Увидишь нашего порога степени величество прошение этою зимой; не такое оно будет, как той зимой! Или думаешь, гнида, что по-прежнему воровать Шведской земле, как отец твой через перемирие воевал! Что досталось тогда Шведской земле? А что твой брат обманом хотел отдать нам жену твою, так то его вина, не наша. Сказали осенью, что умер ты, а весной сказали, что сбили тебя с государства. Не обессудь. Сказывают, что сидишь ты в Стеколье, а брат твой к тебе приступает: вот уж ваше воровство все наружу. Земли своей и людей тебе не жаль, надеешься на деньги, что богат. Мы много писать не хотим, положили упование на Бога, а ты сам смотри. Да у крымского хана спроси, как ему, сладко ли. Мы теперь поехали в свое царство на Москву и опять будем в своей отчине, в Великом Новгороде, в декабре месяце, а ты тогда посмотришь, как мы и люди наши у тебя мира станем просить». Густав был удовлетворен, однако недовольные остались. Буденному, приемному сыну Малюты Скуратова, изрядно пришлось потрудиться со своими опричными отрядами, чтобы пресечь тягостные для молодого государства фракционные и межпартийные раздоры. Курбский, спевшись с большевиками и эмигрантами, основал в Париже издательство

и газету «Полярную звезду», вытаскивая на свет божий все возможные и невозможные злоупотребления неопытных чиновников молодой республики. Страна строила и строилась. Са Лина всё больше занимали государственные заботы, его служба почти не оставляла времени для личной жизни, только иногда под утро распахивались Спасские ворота, и черный «кадиллак» верховного понтифика вывозил его на прогулку: мелькали улицы, мотор успокоительно урчал, верховный боялся покушения, стал мнителен, пуглив, машина вырывалась на простор, держа курс на дачу в Кунцево, на заднем сидении испуганно терлись коленки в нейлоновых чулках — старость: возвращались уже под вечер, иногда заезжали на птичий рынок, разглядывали торговцев птиц, китаец в дореформенных сапогах предлагал крашенных под иволгу птах, детина в кепке и толстовке поднимал над головой клетку с говорящим попугаем, нукеры верховного отгоняли от зашторенных стекол медленно плывущего «кадиллака» сброд, встречавший его восторгом и почтением; все крутилось, бурлило, мелькали гороховые пальто, котелки, форменные френчи, военные бриджи, цилиндры, фуражки, вышитые носовые платочки — «Третий Рим, Третий Рим», — шептали бескровные губы, а затем, откинувшись в сафьяновый полумрак машины, гортанный голос резко приказывал: «В ставку!». Войне не видно было конца, командующий Южных войск был расстрелян на прошлой неделе, жизнь, однако, продолжалась, жить было сложно, трудно, мучительно, невыносимо. Число самоубийств резко возросло, колхозы не оправдывали себя, в стране царил голод и разруха, Петербург отстоять не удалось, финны вошли не только в него, но и в Новгород. Ежедневная хроника на страницах многих газет читалась как роман ужасов: молодая мать, пойманная в супермаркете на Чистых Прудах при попытке украсть молочный порошок и пеленки, явилась к следователю со своей новорожденной девочкой, завернутой в грязное кухонное полотенце; в одном из рабочих кварталов Пресни супружеская пара безработных оставила своих детей на паперти синагоги, потому что не имела возможности их кормить; в самом центре города, на Комсомольской площади, возле музея Татлина, старушка выбросилась из окна небоскреба, так как ей нечем было платить за квартиру... Член муниципального совета от консервативной партии Светлана Горбачева обратилась к беднякам с рядом советов и рекомендаций, в частности, есть овсяную кашу, которую можно получить в некоторых благотворительных организациях; собирать летом в лесах ягоды и грибы; покупать поношенную одежду у старьевщиков... При этом почтенная дама ссылалась на свой собственный опыт, уверяя, что сама попробовала прошлым летом прожить так две недели, получив койку в ночлежке, и «пришла к выводу, что это вполне возможно». По данным официальной статистики, в стране не имело работы 3.276.861 человек. Однако министр труда лейбористского «теневого» кабинета Имре Накафоне привел цифру в пять миллионов, что превышало число безработных за период депрессии, последовавшей за окончанием Войны за Незави-

симость. «Мы нашли его лежащим ничком, у самой стены, с лицом, уткнувшимся в голые гладкие ладони, в защитного цвета френче и таких же галифе, заправленных в мягкие сапоги без каблуков, он лежал в позе спящего беспомощного гиганта, хотя уже долгие годы нам прожужжали все уши; что он чуть ли не карлик, для увеличения роста носящий высокие каблуки, а появляясь на людях, встает на скамеечку, не видимую благодаря оптическим фокусам его лучшего друга Кио, но мы не верили, мы вообще не знали чему верить, мы вообще не видели его с тех пор, как он продал Черное море туркам, и долго шли гулками коридорами, пролетами, лестницами, пока не наткнулись на что-то, оказавшееся его телом в форме Верховного, только со споротыми погонами и петлицами, и молча дышали, боясь пошевелиться, ибо уже давно болтали, что он мертв, что его подменили, что вместо него в машине с раздвижными шторками ездит двойник или муляж, а пищу он получает через узкое оконце в стене, возле которой он сейчас и лежал в просторной спальне с затененными окнами и включенной радиолой, чей мятный зеленый глаз слабо светился, и доносился треск; когда он умер, было неизвестно». Жизнь, однако, продолжалась, ибо никто толком не знал, что именно случилось и случилось ли на самом деле. Каждый вечер игорные дома и притоны на Большой Мещанской ломились от посетителей, в отдельном кабинете Александр Иванович делал свои ставки в покере и рулетке; зная, что ближе к ночи засядет за любимую пульку. Завсегдатаи знали, что он азартен, всегда спокоен, корректен, смел. Проигрывая, он не менялся в лице, улыбаясь отсчитывал кредитки или выписывал чек, и, откланявшись, шел играть по маленькой в преферанс. Одни считали его морфинистом, другие преуспевающим бизнесменом, никто не предполагал, что он поэт. Ему не приходилось говорить с кем бы то ни было об искусстве, т. е. он считал, что если человек способен на лучшее, ему не следует становиться рифмачом. Он ни с кем не соревновался, только с собой. Мир человеческой мысли беспределен, не все ли равно, кто обогнал, а кто отстал, если бег все равно не имеет цели и конца? Его не очень волновало то, что происходило вокруг, и по зрелому размышлению он склонялся к абсолютной и даже неограниченной власти. Вероятность произвола при наследственной власти была не больше, чем при выборной. А человека, считал он вслед за главой монархической группировки Бобом Музилем, нужно стеснять в его возможностях, планах и чувствах всяческими предрассудками, традициями и ограничениями, как безумца смирительной рубашкой, и лишь тогда то, что тот способен создать, приобретет, быть может, ценность, зрелость и прочность. Сам Инторенцо не был любопытен. Его занимала не вся жизнь, а лишь ее наркотические точки, эрогенные зоны. К ним его влекло неудержимо. Ему ли было не знать, что искусство обособляет субъекта, отделяет его от окружающих. Что оно интравертно и экстравертно одновременно. Все или ничего. Он мечтал научиться жить один, совсем, без собеседников и разочарований. Для этого никто (или почти) не должен был знать о нем самого главного

и трепетного. Все остальное безразлично. Большевики все удерживали Петербург в блокаде, воздушный коридор то действовал, то опять перекрывался в зависимости от международных конъюнктур. Интенценцо, когда это можно было, пробирался туда и обратно, пользуясь то подземным туннелем, то ненадежным воздушным коридором, рискуя однажды оказаться отрезанным от своего мира и привычных связей, оформляя свои впечатления в виде этнографических этюдов, один из которых сейчас и последует.

Автор

Я бросался к ним, пытаюсь всучить хоть листок, а они хохотали мне в лицо, ржали до слез и колик, женщины прыскали в кулак, а один книготорговец на набережной, осерчав, толкнул меня в грудь, и я упал в лужу, осчастливив своим падением ораву слонявшихся мальчишек, а главное, разбил лежавшую в кармане последнюю склянку чернил и испачкал брюки; кажется, довольно; как побитый пес, возвращался я в свою конуру, трепеща и не смея негодовать, браня себя всеми известными мне слюнтяйскими словами, зарекаясь впредь не тешить себя пустыми надеждами и идти туда еще, но каждый раз, завидев книжный лоток, я не мог сдержаться себя и, улучив момент, когда толпа рассеивалась, конфузясь поначалу, предлагал какую-нибудь свою рукопись, свернутую трубочкой, пытаюсь всучить ее незаметно, положить и уйти, вдруг не заметят, но я, очевидно, уже примелькался, и мои уловки оказывались тщетными; только я делал последний шаг — как рассерженное лицо и жест решительно давали мне понять, что и на этот раз ничего не выгорит.

Даваемое мной не считалось товаром, я это понимал. Но что было делать? Выхода я не видел. Ночью я горел, оставшись один, ощущал себя королем, повелителем слов, избранным ими раз и навсегда, и исписывал порой не одну десь бумаги, не сомневаясь ни секунды, паря, и только под утро валился без сил, чтобы после, когда белый свет будил меня и выгонял из дома, брести куда глаза глядят, ощущая себя увешанным с ног до головы бумагами, выбирая маршрут поизвилистей и поотдаленней, чтобы не встретить ни одной книжной лавки, — выхаживал себя, надеясь избавиться от наваждения и не идти на набережную, где лотков было больше всего. У меня не хватало сил, я презирал себя, но ничего не мог поделать. Ноги сами несли куда надо, выводя на проторенную дорожку, я малодушничал, уговаривал, увещевал, уламывал себя до последнего, а потом опять загорался безумной надеждой. Слюнтяй, болван, безвольный слизняк! Но что-то шептало во мне: а вдруг? И я оказывался на набережной. Как это изматывало меня, не могу передать. Я иссыхал, иссушал себя бессмысленным желанием, все зная наперед, а потом не выдерживал и опять предлагал то, что вместе с наступлением дня теряло свою силу и власть даже надо мной, не говоря о других, но даже успокоить себя, унять я не умел. Ха, говорил я себе, посмотри

на этих счастливых, разве у тебя есть с ними что-либо общее: они уверенны, сильны, небрежны, а ты спишь, не раздеваясь, на матрасе, хранящем отпечаток твоего тела. Тебе не дано. Живи в себе, уйди в себя, как улитка в свой дом, и не надейся смутить чье-нибудь сердце своим помятым обликом — они знают тебе цену. Вот так. Да? Кивал — и все начиналось сначала. Это был круговорот, коловращенье, бессмысленное и беспощадное.

Ту девицу я заметил первым, в отчаянье грызя себе ногти, не зная, куда податься, высмеянный в который раз, отвергнутый и униженный, стоял в отдалении ближе к мосту, огибаемый гуляющей публикой с зонтиками и тростями, беспомощно оглядывая лотки и самодовольные физиономии торговцев. Она была новичком. Мне ли было не знать, как они все начинают.

Прикатила тележку, нерешительно огляделась, постояла здесь, потопталась там, таща груженую тележку за собой, а затем облюбовала место в сторонке и стала располагаться. Раздвинула лоток, натянула тент, еще раз огляделась, на нее никто не обращал внимания, и стала распаковывать свой товар. Я следил, внутренне содрогаясь от нетерпения. Вот он, шанс: она тебя не знает, не подозревает — пусть устроится, освоится, захочет открыть лавку, обновить место, размякнет, ожидая впустую, — и тут подкатить к ней таким гоголем, гулякнет, напустит важность, расфуфыриться — и предложить небрежно, хотя бы листок, вот этот, последний, лиха беда начало, вдруг — клюнет? Попытка — не пытка, терять мне было нечего.

Но так только казалось. Я терял присутствие духа с каждой новой глянцево-обложкой, появлявшейся на прилавке, с каждым движением ее ловких рук, привыкших к делу, толковых, умных рук, предьявлявших сноровку и знание того, что надо, и тем лишавших меня моей тощей надежды, заведомо и непременно. Очевидно, она не новичок, а просто перебралась сюда с другого места, менее бойкого и ходового, где, однако, освоилась и приобрела то, что имела. Как ты обманешь ее, если не смог это сделать раньше, с другими, еще более глупыми и простодушными, но поднаторевшими в чтении твоей физиономии, не говоря уже о твоих каракулях, — ведь даже почерк выдает тебя с головой. Неудачник, о чем ты мечтаешь? Хочешь найти наивней себя, так иди, попробуй, предложи, пусть она посмеется над тобой, пока ей еще ничего не сказали соседи, — используй шанс, пока не поздно, пока все зависит только от тебя. Ну, давай. Я корил себя, толкал, набирал воздух грудью — и оставался на месте. Вот она кончила, разложила, приосанилась, огляделась, провела рукой по волосам, подправляя прядку, осмотрела других. Все, теперь можно. Она ждет. Сейчас или никогда. Потом будет хуже. Она еще свеженькая, тепленькая, довольная, как все удачно сошло, ей никто не помешал, она вошла в чужой круг, ей не препятствовали, и теперь, когда все позади, — она хочет начать, зовет удачу, снисходительная к себе и другим. Ну же. Не медли. Ну? Я оглядел ее — и побрел назад. То был первый раз, когда я не унился до предложения

своих жалких бумаг; не напоролся на еще один отказ, не опозорил себя малодушием и ставкой на тщету. Нет так нет, сказал я себе, ликуя с каждым шагом, что уводил меня прочь, наполняя гордостью и умилением перед собой, своей силой и выдержкой. Я излечился!

Но — не тут-то было. Утром я был опять у книжных лотков, будто не было вечера, ночи, довольства собой — и глядел, ожидал, когда придет она вновь. Все повторилось. Она появилась опять, перебросилась словом с одним и другим, усатый лавочник помог ей расставить лоток, она развернула торговлю, натянула тент и, смеясь о чем-то с товарками, принялась за дело. Я стоял, смотрел, ожидая не знамо чего. Иногда — я видел — она скользила взглядом по моей помятой фигуре, как по пустому месту, — я смотрел исподлобья, боясь ее глаз, — и не замечала. К ней подходили, спрашивали, что-то говорили, все кипело, все шло, как по маслу, все у нее получалось — мне не на что было рассчитывать. Только раз я решился и сделал по направлению к ее лотку несколько неуверенных шагов, и тут она вскинула на меня глаза, пронзила опасливо, осторожно, с неприязнью, вот — я все понял. Ей уже доложили обо мне, предупредили, дали совет, как держаться, она знает, я упустил свой шанс подойти на новенького, я проиграл. Застыв, я наполнился ужасом, отчаянием, печалью, не двигаясь с места, почти плача, меня жгло изнутри, — и когда она посмотрела вновь, мы встретились глазами: я прочел в них презрение, недоверие, страх — она меня презирала: уйди. Но я смотрел и смотрел, словно окаменев, не все ли равно, теперь все пропало . . .

И все же на следующее утро я появился здесь опять. Мне нечего было делать. Я молчал и смотрел, меняя позу, опершись спиной на край парапета, наблюдал, думал, следил за ее работой, которая спорилась. Не скажу ни слова, это я решил. Кто ты такая, думал я, почему ты лучше, чем ты берешь? Ну? Не красавица, это видно любому. Да и хорошенькой ее не назовешь. Худая, ловкая, молчаливая, возможно замкнутая, возможно — неглупая, не тюрка, как ты. Я тебя ненавижу. Я тебе отомщу. Как? Я переминался с ноги на ногу и думал, как унижить ее, заставить пожалеть, понять, осознать, что она потеряла, оттолкнув, отвергнув меня, которого она не знала, а лишь поддавалась наговорам и впечатлению от моего непрезентабельного внешнего вида. Может, я гений? Ты это знаешь? Что есть у тебя, глупая женщина, кроме сноровки и женского тела. Вот эти руки, волосы, плечи, еще живот, еще груди, как видел я — небольшие, ноги, лоно, губы. Вот я беру тебя, раздаваю, делаю что хочу, сминая, презирая, заставляю ласкаться, выбивать из меня искры, делая то, что не удавалось ни одной, ибо я был несмел. Я все могу в своем воображении, а ты — ну посмотри на меня, потаскуха, ну, ну, ну — и она подняла глаза. Так, на мгновение, чтобы тут же потупиться, отвернуться и — я видел — пойти красными пятнами. А потом — еще раз — взглянуть уже робко и просяще, умоляя уйти и оставить в покое. Но я все смотрел и смотрел . . .

Кажется, ничего не изменилось. Каждое утро заставляло меня на одном месте, у парапета и столба, в ожидании, что она придет или не придет, сменит место, исчезнет, ищи ветра в поле, стал бы я искать — сомневаюсь, но она появлялась, несколько сутулясь, тащила тележку, раскладывала лоток, все начиналось сначала. Я был охотник, я караулил дичь, я поджидал ее и, завидев, что-то сладко, тревожно во мне замирало, как некое предчувствие, догадка; это была дуэль, я напрягался, впивался взглядом, смотрел, видел, сколько тратит она усилий, чтобы не замечать меня, не глядеть, прикидываясь беззаботной, независимой, свободной, нервничала, изводилась, сникала, начинала раздражаться, все валилось у нее из рук, а потом не выдерживала и проверяла, где я. Раз, другой, третий. Смотря с неприязнью, раздражением, ненавистью, а потом ссутуливалась, глядела робко, просяще, выставляя преграду, защиту, хоронясь и ускользая, не решаясь смотреть больше мгновения. Я был неумолим. Я сам уставал, не было сил излучать одно и то же, внушать, потрошить, шарить взглядом по ее телу, заставляя прелюбодействовать с ним, с непрошеным гостем, которого боялась, трепетала, — лез куда не звали, лишал сил, подчинял, принуждал к покорности, а то и просто глядел тяжело и бездумно, давил, угнетал. Ночью я почти не писал: не хватало сил, валился на просторное ложе и засыпал, чтобы утром строить паутину вновь, ибо она попалась: она ласкала меня, я видел, страстно, неумело, жарко, отдаваясь мне вся, пусть на миг, но принадлежала, а затем замыкалась в себе, восставая, бунтуя; я совращал ее раз за разом, приучал к себе, как собаку, как руки привыкают к предмету, к смертельному оружию, воспользоваться которым можно будет только раз.

Книготорговцы интриговали против меня, я не сомневался. Товарки шептали ей что-то, она улыбалась нерешительно или, наоборот, презрительно, передергивала плечами, успокаивала их, принимала уверенную позу — но стоило ей взглянуться в меня, так, нехотя, почти ненароком, ища взглядом, соединишь на миг, как я подчинял ее, насиловал, ломал.

Чего я ждал, непонятно. Она готова, разогрета, говорил я себе, ты подготовил ее, можешь идти: она возьмет от тебя все — будь смелей, не бойся — и тут же, только я начинал колебаться, как она оживала: я трусил, я катастрофически трусил, боясь, что все сорвется в последний момент, и только пододвигался к ней ближе каждым утром, так и не сказав ей ни слова: зачем, она и так все знала... Надо мной уже давно никто не смеялся, набережная ждала последнего шага...

... Ночь я не спал. Утром решил, опоздав, прокорпев над бумагой всю ночь, не раздеваясь, еще разгоряченный, отчужденный, злой и гордый, я пришел к середине дня и просто пошел к ней навстречу, глядя — не глядя, не торопясь, видел: она дрожала, смотрела не отрываясь на меня, умоляя, прося, соглашаясь, моя рабыня; я протянул ей свернутую в трубочку рукопись, одну, больше не надо, я был Автором, я парил: она задрожала, сникла, протянула

руку, взяла, трепеща всем телом . . . Я знал, что убил ее,— это конец, я не обернулся.

Назад я летел, как на крыльях.

Альбом уездной барышни ВОСПОМИНАНИЕ

Рос, как любил я тебя, но страннейшей любовью,
Не рассудочной, нет, и не купленной кровью.
Но я просто метался по табору улицы темной
В рессорной карете с невестой, сестрою приемной.
И в такие минуты мне воздух не кажется карим,
И мне шепчет она: «Не теперь и не здесь, ну прошу тебя, барин»,
И отмечена ты средь подруг; и скрипели полозья,
И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым.
С чего мне начать? Все трепещет, качается, воздух дрожит от сравнений.

И вишневым твой рот привлекает меня преступленьем.
Я в тебе, как в аду, Рос моя, ты — отчизна и боль, и страданье,
И назначено, знаю, с тобой нам за гробом свиданье;
Ведь любили мы вместе друг друга преступно и долго,
Забыв обо всем, обо всех, о параграфах долга.
И кривила ты губы презрительно, мерзко, отвратно,
Понимая себя и меня совершенно превратно.
Ты Сибирью и степью меня измотала, подруга,
От тебя не сбежать, не достигнуть тебя — квадратура ты круга.
Ожерелье твое, словно год одна тысяча девятьсот пятый.
Слишком поздно, сказала ты, поздно идти на попятный . . .

Как я любил ее в первые дни,
Только что девочка, только с постели.
Нукеры ею едва овладели,
Руки неловкость не превозмогли.

Озолотите ее, осчастливьте,
И не смигнет, но стыдливая скромница
Вам до скончания века запомнится,
Как путешествие первое Фихте.

Пятна ленивые, без суетни,
Медленно переливаясь на теле,
Перебежали подол простыни,
Виснут серебряной канителью.

Как я любил ее в первые дни,
Слуги как кошку ее принесли,
Руки искусаны, слезы и стыд,
Только наутро стыд был забыт.

Рос, моя Рос, ведь мы не одни.
Только фонарщик потушит огни,
Это волнующаяся актриса
С самыми близкими в день бенефиса.
Как я любил ее в первые дни!

ЗНАКИ ПРИПОМИНАНИЯ

Германн: Идя по кромке впадины морской,

Так хочется порою умереть,
накрыться колпаком, то бишь волной
пухового небытия, и впредь
потоком светоносной пыли через
трубу лететь, сверкая чешуей,

Евгений: Как ангел латами, сухой, как вереск,
засушенный в коробочке резной
с небесным сводом цвета промокашки,
с олеографией — обоями на стенках
картонной жизни,

Германн: Мелкие пропашки,
запечатленные в сюжетных сценках:
архангел Михаил с тупым копьем,
в трусах семейных, словно первокозник,
азартно, на копье-шампур живьем
насаживает очередь, как

Евгений: Комик, как иллюзионист . . .

Германн: . . . Но занесло
опять скандальное воображенье,
я просто собирался умереть,
представив за границу с нетерпеньем

Владимир: Вполне земным: возможно, эта твердь
имеет корочку подтаявшего снега
с глубокими следами башмаков
прошедших ранее, тенями с неба,
покоя хлопьями, замутнены
и запотели линзы окуляров
простого зрения, и не видны
расстроенные контуры футляров,
в утробе сохраняющих привычку
протертого до дыр употребления
обычных слов, словесную отмычку —
хрустальный ключ простого заблужденья:

Евгений: Мол, книгу написал и буду счастлив,
как циркулем очерченная точка,
и дырочка проколота с участием
чертежника-любителя, и срочно
наверчены упрямые круги
геометрического адоразделенья —
ступенечки у лестницы, слуги
греховного, по сути, вычисленья...

Германн: Ах, да, ведь я собрался умирать,
масштаб дыхания колючим комом
застрянет в горле — вольно представлять
причину нетерпения — объемом
усталостью расстроенной души
газообразной, в сущности, и данной
почти насильно.

Алеша: Может быть, в тиши
полуночной меня влечет свиданье
с резным Исусом, выкрашенным охрой,
с стеклянными сосульками волос,
с улыбочкой и вогнутой, и мокрой,
с кокетливым букетом белых роз,
зажатым в правой ручке...

Онегин: Может быть,
меня зовут лагуны и ходы
неизъяснимые, в которых плыть,
покачиваясь на волне воды
подледной — удовольствие немое,
качели между тонко-плоским низом
и темным верхом...

Евгений: Щедро-расписное
(смеется) лубочное существование с визой
бессрочной — безымянная насмешка
над тайным ожиданием предела
загоризонтного, нелепа спешка,
нелепы сборы, подготовка тела,
законсервированного мирской
заботой...

Германн: Но мучительно терпеть,
идя по кромке впадины морской,
так хочется порою умереть.

Конечно, этот этнографический этюд не более, чем рассказ, к тому же небогатый красочными деталями, но даже по нему можно судить, как не сладко жилось творческому человеку под большевиками. Искусство убивает, это мы знаем. Оно обладает способностью

аннигилировать, абсорбировать субъекта, затягивая его, подобно трясине. Одиночество жестоко и сладостно одновременно, его градус зависит от чувства уверенности в себе. Писал Инторенцо по ночам, а днем отсыпался, читал, гулял. Редакция, ипподром, игорный клуб, публичный дом. Уличные девушки нравились своей беззащитностью и банальностью, их не надо было занимать разговором, они восполняли то, что недодавали ему жены. Первую жену он обожал, она понимала его, как он сам, но не хотела быть его alter ego, была слишком inferнальна, слишком сама личность, это мешало и раздражало. Вторую он увел из-под мужа, она даже не знала, что он поэт, была гранд-дамой, дебелий, белотелой, роскошной; в постели она изумительно стонала, и каждая его минута была для нее священной, ибо он являлся для нее человеком другого мира: и она не понимала его, боготворя. Жить было скучно, жить было можно. Ждать припадка вдохновения было нелегко, все остальное представлялось постным и быстро приедалось. Когда ждать становилось невозможным, он быстро подносил к ноздрям ватку, смоченную в эфире, и попадал в золотой век. Обморок длился одну-две секунды, однако мнилось, что пролетают годы. Мгновение оказывалось гондолой, что уносила настолько далеко, что он каждый раз удивлялся, ощутив себя опять в том же месте, в том же теле. Легкое кружение головы давало себя знать какое-то время после, но это почти не мешало. Всякий развлекался, как мог. Один ходил в сапогах с гвоздями, заставляя ощущать себя каждое мгновение, и не застегивал пуговиц, возможно, потому что не умел. Другой приходил в тайное общество в старой солдатской шинели со следами споротых петлиц и пришитыми к ней крест-накрест квадратными коричневыми пуговицами. Тайное общество придумали они с Денисом Ивановичем, чтоб не было так скучно и чтобы ощущать опасность. Правила его были следующие: 1) не говорить о присутствующих, 2) сплетничать и злословить без зазрения совести, понимая злословие как искусство и очищение, 3) не отвечать ни на один вопрос прямо. Денис Иванович был мил, но ему не хватало соли и настоящего безумия. Когда он начал раздеваться перед входной дверью бывшей баронессы Врангель, все замерли, но у него под одним костюмом оказался другой. То, что он с серьезным лицом мог выйти в окно внутри разговора, чтобы вернуться по карнизу в другое, было неплохо, но когда он на остановке омнибуса, отвернувшись, стал мочиться на стену, забрызгивая штиблеты, волшебство оказалось уткой: в руках он сжимал резиновую грушу. Ему не хватало настоящего отчаянья, он не был порочен, а лишь разыгрывал ситуацию, инсценируя бешенство. Навешать на себя собак по-настоящему он не умел. Со Сталиным было интереснее. Тот по крайней мере не лицемерил. Он не стеснялся антиномий, смаковал собственные противоречия и спокойно делал то, что хотел. Его переход к монархическому стилю правления казался естественным именно потому, что он не беспокоился о доказательствах и оправданиях. Конституционная монархия с многопартийной системой и двухпалатным парламентом была

верхом безумия в России, попробовавшей большевиков, и именно поэтому привилась легко, будто иначе и быть не могло. Это был действительно старатель на престоле, не гнушающийся черной работы, ибо черная работа самая неблагодарная. Его недаром называли Атилла (человек с Итиля, с Волги, где он собрал первые отряды своего ополчения и где некогда стояла его войлочная юрта). Расправиться в столь короткий срок с синдикатом тайных торговцев наркотиками и еврейскими мафиози мог только тот, кого не мучила рефлексия и сомнения по поводу каждой упущенной возможности. Он выбил из их рук главное оружие; контроль над публичными домами и домами терпимости (что не одно и то же) и лишил доходов от проституток-одиночек. Решившись регламентировать проституцию, Сталин знал, что делает, и не пошел по стопам аболиционистского движения, видевшего в проституции зло главным образом потому, что она способствовала росту венерических заболеваний и отдавала невиданные дивиденды хозяевам рынка нежных богинь. Смелым было уже то, что он решительно отсек коммерческую проституцию от проституции религиозной, продиктованной многими культурами живших под большевиками племен, и гостеприимную проституцию, диктуемую и санкционируемую моралью гостеприимства. Заставить это великое маховое колесо вертеться на себя было остроумно. Ему принадлежал внесенный в парламент билль о правах проституток, который поначалу был забаллотирован известными своей нерешительностью и половинчатостью кадетами, но вследствие поддержки нижней палаты конгресса был-таки утвержден. Он настоял на том, чтобы проститутки были подчинены ведению начальника полиции (*lieutenant de police*), и его ордонансы легли в основу не только регламентации, но и казенирования проституток, то есть прикрепления их к определенным кварталам (*marvais lieax*), с обложением налогами в пользу муниципалитетов. Созданная «комиссия целомудрия» (*bureau de police*) подчинялась полицейской префектуре и решала лишь узкую задачу разыскания незарегистрированных проституток (*clandestines filles insomnises*) через особых агентов, а главное, санитарный осмотр их с помощью врачей приемного покоя (*dispensaire de salubrite*). Для более удобной регистрации все последовательницы Астарты различались по трем категориям: проституток-одиночек (*filles en cartes*) и женщин, живущих в публичных домах (*fillesen maison*) или в домах терпимости (*maisons de toleranse*). Содержателям публичных домов было вменено в обязанность блюсти врачебный надзор над своими подопечными, а префектуре было предоставлено право во всякое время контролировать санитарное состояние публичных домов и закрывать их в случае неудовлетворительного статус-кво. Для поступающих в публичный дом впервые требовалось совершеннолетие, возраст одиночных проституток не фиксировался, но запрещалось зазывать мужчин символическими жестами, приставать в общественных местах и обязывалось предъявлять санитарный билет посетителям при первом требовании и желании и одновременно разрешалось самим в свою очередь

осматривать ухаживающих за ними мужчин. Этот «акт о предупреждении заразных заболеваний» (*contagious diseases prevention Act*) был принят парламентом без особых возражений, хотя и с поправками, сильно взволновавшими общество, усмотревшее в нем ограничения личной свободы, однако тех, кто еще сомневался, заставили смириться очевидные успехи сталинского конкордата. Резко уменьшилось число заражений сифилисом среди гимназистов и гимназисток и число изнасилований несовершеннолетних (вместо 23 на каждые сто преступлений всего лишь 17). Но главным было выбить оружие из похотливых лап мафии; организованная преступность не могла больше опираться на своих «белых рабынь»; почти все сутенеры оказались выловленными, гангстеры были вынуждены уйти в подполье. Некоторые, правда, ссылались на требования националистов о полном запрещении проституции, но чем кончались подобные попытки, было уже известно: возник бы многочисленный класс женской домашней прислуги, приходящих массажисток и педикюрш, прикрывавших услужением свою настоящую профессию. Лицензионное преследование проституток во всем мире не искоренило ее даже по соседству с собором св. Петра, а загнало ее в семьи и создало чудовищные условия, при которых родители и братья занимались сводничеством, содействуя проституированию своих дочерей и сестер.

Всеобщее возмущение вызвала поправка к сталинскому законопроекту о цеховой принадлежности проституток и их праве на собственный профсоюз. Расклеенные по всей стране акты законопроекта срывались с рекламных щитов и тумб для объявлений, несмотря на то, что ворошиловские стрелки и дворцовые нукеры царской охраны стерегли шелестящие на ветру листки от надругательств бесчинствующей черни. Провинции волновались, казалось, еще немного и зашатается трон, но подоспела французская кампания, а объявление об очередном увеличении дохода на душу населения на 3 % (что связывалось с разгромом синдикатов тайных и явных мафиози) поумерило пыл недовольных; и страсти постепенно улеглись. Сделанный через Думу запрос правительству, кто является держателем корректур нового законопроекта (иначе говоря, кто его редактировал или даже был соавтором Са Лина), обернулся неожиданным ответом, изумившим общественное мнение: Иван Перфильевич Елагин, которого все считали репрессированным после его публичной пощечины Суворову за солоное словцо, владлец одного из петербургских островов, сохранившего в своем названии память о бывшем хозяине, не побоявшийся сказать сталинскому любимцу: «Вы горячи, и я горяч: нам вместе не ужиться»; и сурово муштровавший собственную жену, которую отчаянно любил и ревновал, не забывая при этом о строгости: в качестве наказания за болтливость на балу (одновременно желая приучить к военной жизни) посадил ее на пушку и заставил канонира сделать холостой выстрел. Собираясь куда-нибудь в дорогу, он поднимался всем домом: впереди процессии ехал непременно служащий поляк, играя на валторне, за ним следовал сам барин с неотлучным шутком и секретарем. Потом тянулись

кареты, полные мадамами, гувернерами и непотребными девицами, потом ехала длинная решетчатая фура с дураками, арапами и карлами. Вслед за ней точно такая же фура с борзыми собаками. Потом следовал огромный язык с роговой музыкой, буфет на 16 лошадей, наконец, повозки с калмыцкими кибитками и разной мебелью. При этом Иван Перфильевич был строг, целомудрен и учтив, не считая никого себе равней. Даже со Сталиным он держался хоть и почтительно, но с достоинством. Хотя Елагин не был склонен к мистицизму, как положено всякому добропорядочному масону, и даже относился к нему со скептической усмешкой, а ложу посещал из-за инверсированного снобизма, — тем не менее, именно он был главой российского масонства, его Великим Провинциальным Мастером, удостоившимся чести принять в члены братства самого верховного понтифика, посещавшего по молодости тайную ложу вольных каменщиков, хотя впоследствии Сталин и переменял взгляды, называя «мартышками» мартинистов (как по имени Мартина Лютера Кинга ошибочно в русском быту именовали вообще всех масонов). Личность редактора закона о проституции удовлетворила почти всех. Сталин был мудр и корректен, с этим трудно было не согласиться. Его принцип, основанный на убеждении, что он знает только то, что ничего не знает, отлично сопрягался с лукавым и остроумным мнением пушкинского приятеля Вигеля, что в России любой неправильный закон исправляется неисполнением его и, значит, об этом не резон беспокоиться. Вигель долго приятельствовал с Пушкиным, пока тот не скомпрометировал его удалой частушкой со словами: «Тебе я, Вигель, очень рад, прошу лишь, пощади мой зад», содержащей прозрачный намек на склонность этого мудрого мужа к мужеложеству, хотя последний стих и бросает обратно-ретроспективную тень и на самого поэта. Никто, однако, не облагодетельствовал так Россию, как Сталин. Русское судопроизводство было вдохновлено введением им суда присяжных. Крестьяне благословляли его за отмену крепостного права. Ему рукоплескал Париж за джентльменские условия Тильзитского мира, а поляки, финны и монголы за конституцию и признание права каждой нации на самоопределение. Он ввел 8-часовой рабочий день для служащих государственного департамента и рабочих и вернул народного певца, возвратил Пушкина из ссылки, обласкав его и согласившись стать его цензором. Плебсу импонировало его осторожное отношение к евреям, 3 % норма для еврейчиков, поступающих в учебное заведение, черта оседлости, запрещение евреям селиться в столицах и другие вполне простительные для государственного мужа шалости, которые с лихвой оправдывались тем, что именно жида рекрутировали основное число большевистских сторонников и членов банд мафиози. Вообще, надменный со своими вельможами, Сталин был снисходителен к низшим. Рассказывали, что, проснувшись однажды ночью и мучимый жаждой, он позвонил. Никто не шел. Кряхтя, Сталин соскочил с лежанки, отворил дверь и увидел своего ординарца спящим в креслах. Сталин сбросил с себя туфли и босиком, на

цыпочках, чтобы не потревожить молодого офицера, прошел в переднюю, где залпом выпил два стакана лимонада со льдом, а потом так же бесшумно вернулся обратно. Конечно, иногда африканский темперамент давал себя знать, бабы изводили его, сладкие пытки были мучительны, но, как правильно заметил Пушкин: слово Отелло, этот умудренный жизнью арап был не столько ревнив, сколько доверчив: душа тяготела к красоте как таковой — и не мог себя пересилить. Са Лин не терпел уродливого и банального, что доставляло немало неудобств его охране. Куда бы он ни приезжал, везде местность должна была быть взвихрена осмысленным движением, он не переносил английские сады и предпочитал регулярные парки. За день до его приезда к ближайшей станции подгоняли поезд, груженный вековыми саженцами: липами, соснами, пихтами, эвкалиптами, дубами в три обхвата. На скорую руку разбивали парк, устанавливались декорации, окрестное население переодевалось в подходящие сезону и погоде костюмы, дорожки посыпались сырой охрой песка, в прудах и озерах плавали лебеди и водные велосипеды. Если верховный задерживался в полюбившемся месте, ночью засохшие и увядшие деревья и растения заменялись свежими и цветущими, по автострадам сновали локомотивы, жизнь была ключом, салуны и ночные заведения ломались от посетителей. «Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным,— сказал он, открывая очередной сезон занятий Государственной думы.— А ведь этого легко достигнуть: примите за правило ваших действий, ваших устоев благо народа и справедливость, рифмующиеся друг с другом,— свобода, душа всех вещей! Без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, а не мне или кому-нибудь, мне нужны граждане, а не рабы». Плеск ладоней. Овации галерки. Шум отодвигаемых кресел. Людской водоворот. Водопад струящихся ступеней. Обыкновенный театральный разъезд. Пролетки, двуколки, коляски, кареты, автомобили старых марок, подновленная рухлядь, годная разве что для выставки либо лавки древностей. На экране зимний тракт, визжа полозьями, летит лихая тройка, запряженная санями, волочится медвежья полость, смущая след, звезды летят из-под копыт: в кибитке молодой повеса жмет ручку северной Авроре — красавице с собольими бровями и в длинной шубке, из-под которой вызволена дрожащая пленница, на безымянном пальчике колечко, начинается осторожная игра, красotka хмурится и заливается румянцем, герой настырен, тороплив и смел, мех оторачивает наготу, он шепчет запоздалые уверения, ее дыхание прерывисто, губки капризно и страстно лепечут, умоляя, прося, предостерегая, но руки героя хозяйничают уже всюду, стянута жаркая шубка, безжалостно смято кисейное бальное платьице, почему-то черного цвета, возможно, дама в трауре, она скорбит о постигшей ее утрате, ее очаровательные глаза полны слез и раскаянья, но безжалостные руки обольстительного насильника продолжают свое дело, вскрывая подноготную, демонстрируя перед нашим взором прелестные очертания ее ножки в ажурных чулках,

которые сентиментальными резинками прикреплены к облегающему стан поясу, юная грудь роскошно вздымается, ручки безуспешно пытаются протестовать, но все тщетно, с ласковым стоном отстегнуты резинки, шурша сползает кожа тонких чулок, обнажается спелый созревший плод ослепительно белых бедер, на стеснительную ножку ложится волосатая ладонь опекуна и ползет вверх,— что, по мысли создателей ролика, должно, очевидно, заставить замереть дыхание у зрителя, потому как в следующий миг беглянка в мини-бикини легко перескакивает через борт мчащихся сквозь атласно-черную ночь саней и, воздев руки, застывает в грациозной позе Весны. Ролик крутится дальше, на экране показ купальных моделей сезона, каждая девушка появляется на просцениуме после какой-либо романтической истории: попытка изнасилования в кабриолете, шаловливые игры купальщиков на палубе океанского лайнера, двое в прогулочной шляпке посреди озерной глади — она в соломенной шляпке, с туго заплетенной русой косой, обвивающей мраморную шею, в простом дачном платье с открытым вырезом и широким поясом, что облегает талию, подчеркивая ее целомудрие и неприступность; начинается разговор взглядов, вероятно, это влюбленные, взоры красноречивее слов и рук, которые осторожно встречаются, вздрагивают, расходятся, встречаются вновь, сперва нерешительно, хотя и страстно, пока, преодолевая стыд и неловкость, не переплетаются в весьма поэтическом объятии ладоней; начинается любовная игра, пальчик скользит по запястью, очерчивая контур ладони, возвращается, набираясь опыта и нескромности, идет пленительная борьба с завязками, застежками, крючками, пуговками, весьма стесняющими наших голубков, пока линии, таящие сокровенную прелесть, не проявляются отчетливо, представляя собой абрис стройной рыжеволосой профурсетки. Смена декораций: он и она в лесу, очевидно, что-то ищут, возможно, укромное место, пробираясь сквозь заросли кустов и трав, романтическая пара: он — черноволосый, она — стеснительная блондинка, с трудом сдерживая напряжение, между ними какая-то электрическая нервная связь, внезапно что-то происходит, он исчезает, просто заходит за спину дерева и пропадает с нашего горизонта, она продолжает искать, теперь отрешенно, самозабвенно, почти горестно, открывается чудная просторная поляна, окаймленная тропическими деревьями с пропадающими в вышине кронами, вот кто-то мелькает в чересполосице света и тени, появляется меж стройных стволов, с нежными бликами на коже: он — не он, он — не он, нет, это еще одна девица в изящном бикини с полиэтиленовым пакетом в руках. Девушки мило улыбаются, встречаясь взорами, если они незнакомы, то испытывают доверие друг к другу, с первого взгляда, навсегда, их руки встречаются, вместе разворачивают пакет, достают что-то стройное, очаровательное, белое: ба, это искусственные пенисы. Начинается их демонстрация. Все вполне благопристойно. Серьезно. Без всяких сальностей. Теперь понятней ход с исчезновением черноволосого молодца. Нам предлагается представить положение немолодой вдовы, потерявшей

своего интимного друга, который отправился в кругосветное путешествие, в опасную экспедицию, погиб на дуэли или просто изменил ей с другой, предпочтя новую и удивительную. Она оскорблена, ошеломлена, потеряна, в нерешительности, даже не представляет, что делать. Его нет и не будет. Ее возраст не таков, чтобы можно было рассчитывать на появление нежного и сильного мужчины, опоры в жизни и партнера по ложу. Она брезглива, и мужская проституция вызывает в ней бурный, но искренний протест. Что же делать, она еще не вполне остыла и просто не знает, как утолить свои страждущие чувства. На помощь приходит девушка с полиэтиленовым пакетом. Конечно, мастурбация не лучший выход, однако гигиена, чистоплотность, скрытость от ищущих взглядов окружающих гарантируются. Демонстрируются пенисы с лампочками на конце и без оных, с электрообогревом, работающие от электросети и от батареек, отечественные и импортные, различной формы, буквально воспроизводящие все извивы и даже пульсацию длинной вены органа любви. Приятные на ощупь, в зависимости от желания имитирующие природу, вплоть до пигментации и подлинных тактильных ощущений, и подчеркнута условные, почти механические. Напоминающие телескопическую антенну. Пусть это не счастье, а только иллюзия, но даже если воображение требует большего, в комплекте к паллиативам страсти предусмотрен набор специальных фильмов, создающих соответствующий фон, способствующих интимному общению, аккомпанирующих или наоборот отвлекающих. Каталог с названиями прилагается. Двое на острове. Пожар на корабле. Непредвиденная случайность. Катастрофа на воздушном шаре. Без мужа. Путешествие за счастьем. Жизнь Пржевальского. Наедине с паваной. Детство писателя. Метаморфоза. Незнакомка. Узники страсти. Гарем шаха Хорезма. Отдых в пути. Экспедиция на Восток. Сюжеты фильмов непритязательны. Без лишних изысков. Формальная сложность только тормозит как авторское воображение, так и воображение зрителя. Однако и тривиальные порнографические сюжеты нам явно не подходят. Контраст стилистически более уместен. Поэтому сюжет из жизни знаменитого русского путешественника, вероятно, окажется вполне отвечающим требованиям лояльности. Это тем более интересно, что отец нашего героя, будучи потомком запорожца Кирилла Паровальского, перешедшего во второй половине XVI столетия на службу к полякам и принявшего там фамилию Пржевальского, не только заслужил милость польского короля Стефана Батория, не раз нагонявшего страх на *Ivan the Terrible* (или Ивана Ужасного), но и остроумно пересекался с другой линией нашего повествования, обозначенной фамильным гербом Солтыков. Однако, в отличие от последних, перейдя на службу к полякам, Кирилл Пржевальский остался православным, и лишь его потомки принимают католичество, пройдя школу иезуитов. Однако уже отец нашего героя не только служил в русских войсках, но и участвовал в усмирении польского мятежа, выйдя в отставку штабс-капитаном, чтобы поселиться у своего отца

в Смоленской губернии. Здесь он женится на девушке из состоятельной дворянской семьи и вскоре переезжает в усадьбу Отрадное, принадлежащую его матери и ставшую для нашего героя не только декорацией вольного детства, но и убежищем для истерзанной души, когда осточертели скитания.

Признаемся, что обстановка, в которой он рос, не вполне благоприятствовала духовному развитию. Отец его был человеком большим и стоящим вдалеке от умственных движений своей эпохи, в основном, в силу постоянного нездоровья; воспитание всецело легло на мать, которая также не могла серьезно заниматься братьями, имея на руках неблагополучное и дырявое хозяйство, а нянька Макаровна, до самозабвения любившая паньчей, сослужила им неловкую службу, слишком рано познакомив с девичьей. Итак, представим себе жизнь на приволье: спартанское воспитание, полная свобода, чащобы, дикий лес, податливые поселянки, гербарии, коллекции бабочек и жуков, нежная, возможно, чересчур нежная дружба с братом. Однако, несмотря на кажущуюся свободу, потачки им не давали. Как упоминает мемуарист, розги играли видную роль в воспитании будущего путешественника, и много их выпало на его долю за различные проказы и шалости. Именно в детстве с полной отчетливостью проявляются очертания характера, впоследствии только окрепшего, но созревшего среди полей и лесов в родной усадьбе. С одной стороны, путешественник всегда был слишком «сам по себе», впитав это свойство от своих несколько надменных родителей вместе с некоторой грубоватостью натуры и страстью к оригинальным понятиям, неприятно поражающим впоследствии людей, сталкивавшихся с ним близко. Дело в том, что родительская библиотека состояла из книг, случайно занесенных в усадьбу корабейниками. И одно, заинтересовавшее его еще в нежном возрасте сочинение под заголовком «Воин без страха» по сути дела определило его жизнь, произведя неизгладимое впечатление на романтического юношу. Еще одна странность, о которой мы не имеем права умолчать, ибо она проявилась так же рано и впоследствии преследовала его всю жизнь: это откровенное недоверие, неприязнь, даже какая-то садистическая ненависть ко всем встречавшимся ему в жизни женщинам, за исключением матушки и няньки Макаровны. Его служба в Рязанском пехотном полку полна достаточно неприличных историй и дуэлей, на которые его вызывали оскорбленные товарищи, взбешенные его насмешливыми замечаниями по адресу их невест и избранниц. Тот же длинный хвост недоразумений тянулся за ним и сквозь все его дальние экспедиции. Оговоримся, что первое впечатление от него всегда было благоприятное: хотя его подчеркнутая независимость бросалась в глаза, однако многим импонировали его прямодушие, несколько суховатая честность и безграничная уверенность в себе. Однако вскоре (и очень быстро) проявились другие черты его натуры, которые он к тому же не так и скрывал, — а именно: страсть господствовать над окружающими всегда и во всем. Именно это щекотливое свойство заставляло его приближать к себе

людей более слабых, чем он, и избегать общества равных, где часто встречались люди, не поддававшиеся его настойчивому влиянию. Этим обстоятельством некоторые биографы и объясняют его почти патологическое стремление к одиночеству и ненависть к большим компаниям.

Его писательская карьера начинается неожиданно. Он мечтал о великих открытиях, подвиги Ливингстона и Беккера кружили ему голову, но недостаток средств не давал возможности осуществить мечту идти по следам Беккера на истоки Белого Нила. Однако тянуть лямку пехотного офицера тоже нету сил, и тут ему в голову приходит мысль написать эротический бестселлер, выпустить его под псевдонимом и таким образом разбогатеть. Идея приходит в голову ночью, в палатке с туго натянутым тентом, становится душно, он выходит в сосущую темень, соленые кристаллики звезд горят на фоне черного неба, ночная пустыня засеяна шорохами, запахами, тающими огоньками, хмельную хвойную свежесть дарит мимоходом сорванная веточка, упруго закусенная зубами. Будущий автор понимает, что его основной козырь — полное равнодушие к женщине и топографии ее тела: ее ласковые руки и очаровательные отверстия для него не более чем полумеханические приспособления для дойки равнодушного и угрюмого фаллоса. Именно поэтому он полагает, что сумеет симулировать воспаление страсти у своих героев и заставить читателей корчиться в муках неразделенной похоти. Сюжет его первого (да и последующих романов) несложен. Озабоченный, погруженный в тяжкие раздумья путешественник по воле случая оказывается в незнакомой ему экзотической обстановке, где его безуспешно пытаются совратить очаровательные несовершеннолетние создания. По неизвестным читателям причинам путешественника оказывается достаточно трудно расшевелить, и заторможенная заскорузлая чувственность не реагирует на лесбиянок, буквально выворачивающихся перед ним на ковре, или на игры ленивых купальщиц у борта зеленого мозаичного бассейна с голубой водой, которые с восхитительным отсутствием смущения и коварства снимают верхнюю часть своих купальных костюмов якобы для того, чтобы избежать светлой полоски на загаре, а на самом деле — чтобы заставить работать на себя закон всемирного тяготения, когда они с кажущейся невинностью приподнимаются на локтях, демонстрируя окружающим свои юные груди. Бесконечное разнообразие соитий, от оральных до анальных, плохо замаскированные коитусы в общественных местах и явное пристрастие к натюрморту из девического рта и мужского члена — и все это, пропущенное сквозь призму нарочито дремучего безразличия, с прогрессивно нарастающим числом комбинаций и участников. Однако несмотря на кажущуюся невообразимость большинства сцен, текст по сути дела состоит из переплетения цитат, от Петрония до Льва Толстого, цитат, иногда тщательно закамуфлированных, иногда нарочито перевранных или перепорученных, как, например, во время одной сцены изнасилования китайскими разбойниками случайной попутчицы нашего путешественника, которая

вместе со слезами восторга произносит почти дословно мало измененный монолог Настасьи Филипповны из «Идиота» Достоевского, который так же незаметно переходит в описание ссоры Облонских в «Анне Карениной». Хорошенькие героини с равнодушно раздвинутыми ногами, мускулистыми животами и томными жестами похода обмениваются высокопарными репликами из Апулея и Чехова. Пейзажи фантастичны и экзотичны и все же достоверны. Описания природы, флоры и фауны, блестящи, но не затянуты. Эротические пассажи настолько умелы, что читатели мучались от неразделенных и стремительных оргазмов. Большинство эпизодов действительно имели аналогии в его жизни, а то магическое впечатление, которое он всегда производил на женщин, описывают почти все мемуаристы. Одна наружность Паровальского сразу привлекала к нему внимание. Он был высок ростом, хорошо сложен, прядь белых волос спадала на висок, что при густой черной шевелюре и смуглом лице придавало ему особую оригинальность с демоническим оттенком. Однако из его интрижек никогда ничего не выходило. Обычно он разочаровывался уже на пути. Становился груб, резок, в горле что-то хлопотало, ноздри раздувались и на губах появлялась пена, у него начинали подрагивать колени и пальцы, и та, которая только что собиралась ему отдаться, в испуге ретировалась. Единственный случай, когда ему удалось донести до конца свою страсть, не расплескав по пути, было кратковременное приключение в маленьком местечке Гори с молоденькой женой хромого грузинского сапожника, у которого он заказал кое-что из снаряжения для своей экспедиции на Восток. Кованый сапог и охотничий стэк обратили в бегство запротестовавшего было мужа, после чего жена, извиваясь в деланном протесте, изысканно удовлетворяла его разносторонние желания. Излишняя поспешность и нервность при общении с этими злокозненными особами не мешали ему быть роскошно медлительным в описании сладких пыток, заставлявших читателей плавиться на огне собственных тайных чувств. Его первый роман был опубликован в бульварном лондонском издательстве «Скрэббл мэгазин» под псевдонимом. Все последующие тоже. Успех был неслыханный. Однако Пржевальский и не думал открывать свое имя. Пронирливые репортеры, частные детективы и дотошные литературоведы сбились с ног, пытаясь проникнуть в тайну его псевдонимов, охотясь за каждым подозрительным, в ком виделся или маячил таинственный автор популярных книг. Не раз в газетах появлялись сенсационные сообщения о «загадке века». Страницы солидных буржуазных изданий пестрели броскими заголовками: «Любимец публики играет в кошки-мышки со своими читателями», «Писатель, книги которого издаются миллионными тиражами, остается неизвестным», «Жизнь автора «Остановки в пустыне» (его самый популярный роман) скрыта во мгле». Ловкие газетчики пытались сделать сенсацию, публикуя наугад то одну, то другую фотографию загадочного писателя. Ошибка на ошибке. На поиски устремились журналисты и сыщики. Однако Паровальский был мастером мистификации и, играя в прятки, ловко

вводил в заблуждение. Ему удавалось сохранить тайну благодаря множеству хитроумных предосторожностей; он ловко надувал любопытных с помощью разработанной им сложной системы общения с внешним миром, в частности с издателями; пользовался несколькими почтовыми ящиками, из которых корреспонденцию на его имя получали другие; нередко в анонсах на его книги указывались различные, каждый раз фальшивые адреса; гонорары приходили почтовыми переводами, однако из ящика вынимал их не он, а какой-либо особый уполномоченный в Европе, который пересылал этот гонорар следующему уполномоченному в другой стране, по цепочке, чтобы сбить ищеек со следа. Денежные переводы от лондонского издателя поступали на текущий счет хозяйки гостиницы в Пекине, где Пржевальский часто останавливался на пути в Центральную Азию. Театров он не терпел, беллетристов недолюбливал. Охота заменяла ему все удовольствия, но, кроме нее и хорошего стола, он любил азартные игры и часто выигрывал: эти суммы вместе с деньгами, полученными за книги, были основным фондом при его поездках в Сибирь и на Восток, а также уходили на дорогостоящее издание географических монографий с цветными иллюстрациями, которые он вынужден был выпускать за свой счет. Большевики, смущенные его происхождением, не смея мешать, подвергали молчаливому остракизму его исследования, не препятствуя, но и не облекая благословенным фоном. По сути дела, дальние путешествия Паровальского были вызовом режиму; мало того, что он сам стремился все свое время проводить за рубежами страны, но еще делал приличные отчисления различным антимонархическим группировкам — некоторые даже считали, что он причастен к подделке временных свидетельств Восточного займа и сибирских векселей. В Петербурге он бывал только инкогнито. Недаром ни одна из его книг не начиналась с фотографии автора. Вечером он передевался, к черному ходу подавался лимузин. Застегивая пуговицы зеленого пальто с поднятым воротником, он выходил, не глядя по сторонам, быстро садился, авто трогалось. Накрапывал дождик. Перламутрово-серая сетка забирала окно пейзажа, который таял, исчезал; иногда в просветах появлялись суставы водосточных труб, случайные прохожие, чей-то подозрительный зонтик, из-под которого выглядывает вытянутое лошадиное лицо; стремительная гамма капель на лакированном карнизе. Пара зевак. Филер в гороховом пальто на углу. Кивающий полицейский. Дама в шляпе, накрытая дождем. Контуры луж. И авто, проезжающее по середине мокрой мостовой, рядом с пустынным подъездом гостиницы.

ЛУБОК

Был Александр по счету первый,
у Александра сдали нервы.
И вот — конфуз и паралич,
иначе: Феодор Кузьмич.
У сей метаморфозы запах,
как будто бы Восток и Запад
гниющий (то бишь пахнет серой,
но хорошо еще не спермой)
местами поменялись: рок
вошел холерой в Таганрог.
Трясет овация галерку,
как сумасшедший табакерку.
Коляска мчит по мостовой
бульжной, и городской
усатый, вытянувшись в струнку,
в волнении глотает слюнку.
И снова белый взрыв оваций
встречает смену декораций.

Поляки, я не вижу смысла,
О чем шумите вы, народные витии,
Иль потечет обратно Висла,
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Иль снега будет больше,
Иль росс уж от побед отвык, и не пристало Польше
На габсбургов костыль надеяться. Права молва,
И ворон у орла не выключает глаза.
Победа! Сердцу сладкий час.
Греми, восторгов общий глас!
Восстав из гроба своего,
Суворов видит плеч Варшавы,
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы.
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И вместе с ней летящего на Прагу
Младого внука своего.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
 Когда не в шутку занемог,
 Москва, спаленная пожаром,
 И лучше выдумать не мог.
 Такой пример — другим наука,
 Но я рукою грею руку.
 Не то, что б душу грел себе,
 Не то, что б думал о тебе,
 Добросердечный мой читатель.
 А просто сопрягал узор
 Из слов небрежных, разговор
 За скобки вынес, чтоб издатель
 Иль просто недоброжелатель
 Был предоставлен сам себе
 И без препон в своей судьбе
 Себе бы сам он стал приятель.
 Чтоб дуновенья бурь земных
 И нас нечаянно касались
 И мы во странствиях своих
 Душою чаще омрачались.

ЕВРОПА

По-пушкински рифмованная с «жопой»,
 Встает из мглы туманная Европа,
 Архивная, в классической пыли,
 Как коленкоровый коричневый Сюлли-
 Прюдом таинственна. Ее магнит,
 Как женщина нагая, нас манит,
 Как скважина замочная и как
 Загоризонтный рукописный мрак...
 Но в грифельной дали ее картинки
 Переводные, соблазнительные снимки
 Из проявителя сознания встают
 (Как дерево вместо баобаба).
 Перевернув страничку, скажешь тут:
 «Я думал — женщина, а это баба».

Письмо из прошлого

Проснувшись в понедельник, 21 января, с тяжелой головой, Петр Сигизмундович Клейнмихель по привычке протянул руку, чтобы звонком дать знать, что он проснулся, что через полчаса машина повезет его завтракать в известный для шофера дом на Большой

Морской, где его ждали, и тут же, с гнетущим чувством повернув голову, увидел на подносе рядом с постелью конверт с австрийским штемпелем, и остановил руку на полпути. Двенадцать или тринадцать неряшливых строк письма, на которое он наткнулся вчера ночью, извещали его о кончине жены, баронессы Клейнмихель, последовавшей полторы недели тому назад в больнице для бедных на окраине австрийской столицы. Неизвестный Петру Сигизмундовичу клерк по фамилии Крус или Фрус извещал его, что несчастная женщина, очевидно по ошибке, приняла чрезмерную дозу веронала и скончалась на рассвете, так и не придя в себя после операции. Петр Сигизмундович уронил руку на простыню и, как и вчера ночью, когда мятый листок впервые преподнес ему приз в виде короткого известия о наступившей свободе, ощутил тошноту, слабость в ногах, головокружение, которые с физиологической детошностью маскировали эйфорию и невозможность сразу привыкнуть к тому, что баронессы Клейнмихель, которая была на двадцать семь лет моложе мужа, больше нет.

Зима была в самом разгаре. Синие сугробы очерчивали тротуары, и на поворотах его белый «опель» заносило, после чего Петр Сигизмундович, сидевший на заднем сидении, похлопывал замшевой перчаткой по плечу шофера, предупреждая того об осторожности. Шофер крутил ручку приемника, настраиваясь на нужную волну, и искоса поглядывал на него, но барон ничего не сказал, а только откинулся на сидение и закрыл глаза. Петр Сигизмундович был стар и терпелив. Его ждали в департаменте внутренних дел, но он предупредил, что будет только к вечеру, и теперь спешил на дачу в Териоки, собираясь вернуться в город засветло. Безопасность государя лежала лично на нем, но и на Санглена можно положиться, особенно сейчас, когда последние заговорщики выужены, кажется, без остатка, а если и не все, то вряд ли успеют очухаться после вчерашних арестов. Кроме того, никто не отменял его права на личную жизнь. Ситуация была безотлагательна. Ему нужно было проверить одну идею, шифр к которой тайлся в закрытом на ключ нижнем ящике письменного стола его дачного кабинета. Машина вырвалась на простор, настолько плотно сидя в продавленной снежной колее, что иногда, осаживаясь на амортизаторах, сухо царапала заскорузлый наст брюхом. Петр Сигизмундович не был сладострастен и, расправляясь с врагами, никогда не испытывал облегчения, в глубине души уверенный, что зло не искоренить злом, и неизбежность есть следствие всегда рачительного рока. Его положение было слишком устойчиво, чтобы ему нельзя было посвятить подчиненных в некоторые из своих соображений, тем более, что он не думал походить на кого-либо, кроме себя. Жить оставалось слишком мало, не ему быть мстительным. Его гипотеза будущего была чересчур ясной, чтобы ставить на неосуществимое. Он не выносил только одного — обмана. Он не лицемерил сам, не лукавил, и сомнительные обстоятельства казались ему весьма тесным коридором, пройти которым ему не представлялось возможным. Открывать забрало

перед любой неожиданностью, чтобы встретить ее с открытым лицом, было его девизом. Со своей будущей женой барон Клейнмихель познакомился в Москве на ярмарке невест, куда та была привезена матерью. Его не смутило облако слухов, сопровождавшее ее вплоть до стремительной женитьбы (будто с ее репутацией не все в порядке), ибо имя ее связывалось с двумя любовными историями, приключившимися с ней в деревне, и с одной дуэлью со смертельным исходом, косвенной виновницей которой она считалась. Она была влюблена в одного сказочно разбогатевшего после смерти дядюшки заезжего молодца, мизантропа и донжуана, от скуки поселившегося недалеко от их имения и заприятельствовавшего с местным поэтом, которого впоследствии он и убил на дуэли, ради шутки решив поухаживать за младшей сестрой будущей баронессы Клейнмихель, чем вызвал бешеную романтическую ревность недавнего друга. Клейнмихель был уже в чине статского, молодой государь к нему благоволил, он увидел ее у колонны, меж двух теток, в малиновой шляпке, тотчас влюбился, сделал предложение, на которое получил в скором времени милостивое, хотя и раздумчивое согласие, под аккомпанемент хрестоматийных вздохов; он был восходящей звездой и фаворитом, женитьба заставила замолчать сплетников, барон, на седьмом небе от счастья, несколько месяцев путал день с ночью, не выходя из спальни, и только через полгода узнал, что коварно обманут. Оказывается, молодец, выйдя в отставку перед тем, как заточить себя в деревне, хотя ему следовал новый чин и службу он оставил неожиданно для многих, после истории с дуэлью, отправился в кругосветное путешествие, разочаровался и здесь, вернулся и, увидев баронессу Клейнмихель в новом ракурсе, тут лишь понял, чего он лишился. Его соперничество с бароном было тайной только для последнего. Вновь они встретились в поезде, в котором молодая баронесса Клейнмихель возвращалась, навестив сестру, к мужу. У них начался роман. Соблазнитель, в отличие от барона, проникнутый тщеславием, обладал, сверх того, еще особенной гордостью, которая побуждала его признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие превосходства, быть может мнимого, но, однако, как известно, гипнотически привлекающего женщин. Несколько месяцев они прожили втроем. А затем баронесса, бросив малютку-сына, сбежала с совратителем сначала в Италию, где тот, оказавшись художником-дилетантом, делал наброски величественных развалин Колизея, а затем, пристрастившись к морфину, якобы помогавшему ей от жесточайшей мигрени (как последствия неудачного гайного аборта), была брошена им и, по слухам, пошла по рукам, опустившись впоследствии чуть ли не до приюта бродячих моряков. Клейнмихель держал уже в руках все ниточки, ведущие к раскрытию неудавшегося покушения заговорщиков на государя в Киеве, когда пришла весть о том, что его неверная жена бросилась в нью-йоркской подземке под колеса поезда: весть, оказавшаяся блефом; и смог-таки упечь этих новоявленных республиканцев за решетку.

— Не надо так негодовать,— говорил он своей тайной пассии, княгине Ольге, младшей сестре бывшей баронессы Клейнмихель,— ибо никаких падших женщин не существует, потому как падение подразумевает движение во времени, а его тоже нет. Бог дал, Бог взял. Не кажется ли вам, моя милочка, что наша жизнь безобразна уже потому, что слишком длинна, а возможно, даже бесконечна. Все-таки она не стихотворение и не здание. Ее невозможно построить, потому как отведенное под нее пространство не имеет строгих пределов, посему и законы, якобы ее определяющие, весьма условны, ибо неокончательны. Разве может рука доверять перилам, если они неожиданно кончаются, либо, наоборот, пунктиром пропадают в рассеянной бесконечности? Поэтому жизнь негармонична, некрасива и скучна, так как ожидание неизвестного весьма стеснительно. Вот почему, не найдя ничего более остроумного, жизнь аннигилирует самое себя, переходя в дряхлость, усталость, старость, неинтересную смерть. Теперь представьте обратное, что в жизни есть определенный, точный, всем одинаковый срок: 33 или 37, возможно, 47 лет, окончательная цифра большого значения не имеет. Каждый умирает в строго назначенный день, не существует болезней, убийств и самоубийств, ибо они бессмысленны, т. к. невозможны. Жизнь тогда строга, целомудренна, всему есть свое место, каждый занимается своим делом. Не хмурьтесь, милочка, а представьте. Точно очерченные границы, панацея от всех бед и треволнений, бытие насыщено, напряженно, аскетично и, прежде всего, гармонично. (Гармония — мать всех вещей. Люфт сведен к минимуму. Весьма стеснительная для многих свобода, которой нет употребления, ибо ничто так не обессиливает жизнь, как ощущение мнимой или явной свободы, которую никуда не приткнуть, т. к. она точно не определена, неизвестна, не выверена, не направлена, скучна, абстрактна, абсурдна.) А тут, какая чудесная могла бы быть жизнь! Каждый мог бы реализовать себя, превратить свою жизнь в кристалл! Как не воскликнуть: долой демократию, да здравствует монархия!

Лишь милой Ольге показывал Петр Сигизмундович стихи, которые писал в немногие минуты интимной пустоты. Задумываясь над поэзией, он как-то составил условную классификацию поэтов по кругу. Одни поэты под углом 1—40 градусов пытаются исправлять мир, другие под углом 41—89 градусов — воспроизводят его, третьи под углом 90—179 градусов украшают, и только четвертые под углом 180—360 градусов преображают, искажая его. Себя он относил к последним. Ему нравилось разглядывать карикатуры на себя в бульварных газетах, где его рисовали бездумным, узколобым служакой, душителем свободы и общественных интересов. «Я,— говорил он в тесном кругу,— посягнул на понятия, на исходные обобщения, чего до меня никто не делал. Этим я провел как бы поэтическую критику разума. Более основательную, чем та, отвлеченная, сделанная Кантом. Я усомнился, что, например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием «здание». Может быть, «плечо» надо связывать с «четыре». Я делал это на практике, в поэзии,

и так доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей, или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то, значит, разум не понимает мира». «Я,— говорил он в другой раз,— понял, чем отличаюсь от прошлых писателей, да и вообще людей. Те говорили: жизнь — мгновение в сравнении с вечностью. Я говорю: она вообще мгновение, даже в сравнении с мгновением». «При этом,— повторял он,— я не могу ссылаться на вдохновение, как другие, т. к. вдохновение не предохраняет от ошибок, как это думают обычно. Вернее, оно предохраняет только от частных ошибок, а общая ошибка произведения при нем как раз не видна, поэтому оно и дает возможность писать. Я всегда уже день спустя вижу, что написал не то и не так, как хотел. Да и можно ли вообще написать так, как хочешь?»

«Вот вы,— говорил он Ольге,— уверяете, что та или иная поэзия, скажем, в частности, моя,— красива. Это опрометчиво. Только во времена упадка искусства его оценивают словами: красиво или некрасиво, во время расцвета его расценивают иначе: истинно или ложно». «Предположим, я говорю, идет солдат Аз Буки Веди вдоль берега шумного моря и понимает, что ему надоело жить. Совершенно. Абсолютно. До шевеления пальцев ног. Он хочет удивиться, изумиться, — и не может. Хочет узнать что-нибудь новое, неизвестное, — и не в состоянии. У солдата Аз Буки Веди нет привычек, тех милых-милых простых привычек, что заводят пружину дня, требуют участия, внимания, заботы; дурных привычек тоже нет. То есть они есть, и те, и другие, но они несущественны. Я хочу удивиться: нет, не в силах. Будь проклята эта жизнь, что ему делать? Солдат Аз Буки Веди знает, что любое Аз Буки Веди занято утверждением себя посредством других. Как, как? А так. Есть Аз Буки Веди иллюзорное, то есть такое, каким Аз Буки Веди видит себя. Но он видит свое Аз Буки Веди в разные моменты по-разному. Кроме того, есть Аз Буки Веди, которое видят другие. И есть еще Аз Буки Веди, так сказать, идеальное, каким Аз Буки Веди хотелось бы быть. И вот что получается. Что Аз Буки Веди пытается совместить свое иллюзорное Аз Буки Веди с Аз Буки Веди идеальным, о котором он мечтал, и соединить посредством превращения своего Аз Буки Веди для посторонних, то есть тех, что видят его Аз Буки Веди со стороны, со своим невнятным мечтанием, этим Протеем, хотя не то чтобы совсем Протеем, мы этим просто хотим подчеркнуть неокончателность этой мечты, этой идеи-с, то есть Аз Буки Веди идеального. Но почему, скажите, через посредника, почему не попросту, сразу, без околочностей? А потому только, что самого себя Аз Буки Веди видит неотчетливо, неясно, расплывчато, что Аз Буки Веди для себя очень иллюзорное; и вот воплощает, вернее, отражает, свое Аз Буки Веди в других и вглядывается, посматривает: похоже-непохоже, совпадает-не совпадает; и вот уже по своим Аз Буки Веди в посторонних составляет свое Аз Буки Веди для себя; и вот так идет жизнь со

всеми волнениями, непритертостями, разными подправками, исправлениями, прочими неокончателюностями. И если есть, есть похоть, то Аз Буки Веди счастливо ликует и славит полноту жизни. А нет, так, бывает, до того тошно, что и жизнь не нужна, нет! Что такое смерть, если нет жизни — пустота, шелуха, одна оболочка. Вот такие получаютсАз Буки Веди».

Последнее покушение, которое удалось раскрыть Петру Сигизмундовичу, касалось взрыва под покоеми государя, в комнате, где находилось помещение караула от лейб-гвардии Финляндского полка. Временем для выполнения преступления злоумышленники выбрали час обычного высочайшего стола, который в этот день должен был происходить в присутствии посетившего Петербург князя Болгарского и его отца принца Гессенского. По случайному стечению обстоятельств обед был отложен на полчаса. Взрыв произошел в 20 минут 7-го часа, в южном флигеле дворца, главный фасад которого выходит на малый плац-парад против Адмиралтейства. Там находится так называемый Салтыковский проезд, ведущий в покои Его Императорского Величества. Комнаты направо от этого проезда принадлежали к бывшим покоям великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской, а налево находились помещения графини Блудовой. После взрыва своды и стены в подвальном этаже рухнули, двери все вырваны, деревянная обшивка и тамбуры входа уничтожены; в первом этаже, где помещались ничего не подозревающие нижние чины караула, рухнул пол, во втором этаже вылетел паркет. Как донесли барону Клейнмихелю, из бывших в подвальной комнате нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка 10 человек было убито, 44 ранено, в том числе 8 — тяжело. Положение раненых, насколько мог понять Петр Сигизмундович из донесения, было поистине ужасным: у кого вырвано плечо с рукою, у кого снесена половина головы, у кого вывалились внутренности, обагрывая кровью острые осколки сводов. Несчастные были подброшены вверх среди тучи пыли и обломков; ударяясь о своды кордегардии и уязвляемые отовсюду, очевидно, считая, что началось светопреставление, падали на камни. Все это было делом минуты, но минуты поистине ужасной. По мысли экспертов, взрыв был произведен динамитом, количество которого полагали до двух пудов; динамит, по мнению специалистов, вероятно находился перед взрывом в печи или на печи в жилом помещении нижнего этажа. Перед Петром Сигизмундовичем стояло много вопросов. Кто был преступник и куда он скрылся? Каким образом последовало зажигание мины, посредством ли фитиля, или же посредством так называемого часового механизма Томаса? Пока ответов Петр Сигизмундович не знал. Его репутация была поставлена под сомнение. О его затянувшейся интрижке с княжной Ольгой говорили почти открыто. Лорис-Меликов косился, а главный защитник великий князь Константин более привечал Клейнмихеля-поэта, нежели Клейнмихеля-следователя. Его положение напоминало ромб, вынужденный разделиться на два треугольника. Незадача.

Снег шел все гуще. Беременные дворники с трудом расчищали стекло. Петр Сигизмундович молча, про себя, ругал шофера за то, что тот не озаботился надеть на шины цепи, ибо машину все более заносило, бросало из стороны в сторону, колеса прокручивались; в одном месте их остановил занос. Больше часа пришлось дожидаться, пока прибудет полицейский транспорт и освободит всю застигнутую в пути колонну автомобилей. Клейнмихель нервничал, скрывая это от шофера, пытался шутить, мысленно сравнивая два почерка, два листка бумаги, совершая перестановку в пространстве, сулившую ему избавление. Эскиз ситуации был неточен. Заочное сравнение было не в его пользу, однако пульсирующее в мозгу воспоминание в секунды просветления приводило фатальный беспорядок его мыслей к драгоценной комбинации, симулирующей совпадение интеллектуальной причуды с согревающей душу версией. Наконец дорогу освободили. Снег валил хлопьями, но по тому, как светлело небо на западе, можно было предполагать, что снегопад на исходе. Светились фары встречных машин, повеселевший шофер предложил ему горячий кофе из термоса, но Петр Сигизмундович не хотел туманить голодное сознание, ощущая себя ищейкой, идущей по следу. Те-ри-оки.

Машина быстро пошла по узкой аллее. Поворот, еще поворот, снег действительно поредел, рождественской порошей ложась на землю, приехали. Клейнмихель не стал дожидаться, пока откроют ворота и загонят машину в гараж, хотя и видел спешащих навстречу горничную и дворецкого с подозрительно изрядным румянцем. Не до того. Скорым шагом промелькнул он узкой расчищенной дорожкой с вялыми следами только что прошедших людей. Дом обдал его теплым запахом старого дерева. Лестница с балюстрадой скрипом аккомпанировала его шагам. На ходу выбрал из связки нужный ключ, распахнул дверь кабинета, кряхтя нагнулся, отпер замок, вывалил содержимое на стол. Руки дрожа перевернули бумаги, на секунду Клейнмихель обмер: нету, выкрали, кто-то разбирал без него архив, не может быть, кто? Нашел! Трясущиеся пальцы выудили нужный листок, разглядели, потянулись в карман за очками. Строчки прыгали перед глазами, ему казалось, что какие-то демоны стоят у него за спиной, отбрасывая косую тень на его жизнь. Близнецы. Так он и думал. Никогда не сомневался, поделом: почерки совпали. Теперь Клейнмихель знал, кто написал ему фальшивое письмо о смерти жены, кем был его злой гений, похитивший чужое счастье себе на горе. Кто, наконец, устроил это страшное преступление, обернувшееся несчастьем многих. Един в трех лицах, он и не сомневался. Монада.

Графтио называет Инторенцо демонической личностью, понимая, вслед за Гете, демоническим то, что не решается с помощью разума и рассудка. За исключением начального периода своей поэтической

деятельности, Инторенцо не приходило в голову причислять свои опусы к тому, что — правда, весьма неудачно и расплывчато — принято считать искусством. Как ни странно, куда более точно, хотя и имея в виду нечто совершенно противоположное, определил деятельность Инторенцо Дик Крэнстон, отнеся ее к такому дезавуированному стереотипу, как «искусство для немногих». Эта формула может показаться справедливой лишь при условии понимания ее не в буквальном, а в фигуральном смысле. Для немногих, скажем мы вслед за Крэнстоном, если учитывать возможность сведения этих «немногих» к одному, да еще и бесконечно удаленному. Да, искусство, повторим за Читательской энциклопедией, если только не видеть разницы между искусством музицирования и искусством завивки волос. Дело в том, что для правильного усвоения метода Инторенцо необходимо отчетливо представить себе субъекта, которому его творчество предназначено. В письме к своей первой жене, мешая откровенные мысли с ироническими замечаниями, Инторенцо назвал этого субъекта или, вернее, субъектов — свидетелями, которым все известно. В найденной уже после смерти «коричневой тетради» он поясняет, что имел в виду неких посланцев, положение которых в пространстве можно сравнить разве что с положением ангелов в божественной иерархии. Иначе говоря, Инторенцо полагал себя предназначенным передавать закодированные особым образом сообщения неким фиксирующим и запоминаящим эту информацию небесным посланцам. Момент передачи сообщения состоял либо в первом же чтении составленного текста, либо даже во внутреннем ощущении его завершенности. Именно этим можно объяснить почти патологическое безразличие Инторенцо к уже написанным текстам, совершенную его незаинтересованность в их публикации, как и то обстоятельство, что он никогда не возвращался к ранее написанному для переделки, шлифовки или доработки. По мнению Инторенцо, он, конечно, не был единственным, на кого была возложена функция оповещения посланцев: очевидно, по всей земле были рассеяны такие корреспонденты, которые передавали — каждый на своем языке — особые сигналы, необходимые, скажем, для правильной идентификации состояния данного макрокосма в небесной канцелярии. Вероятно, число таких корреспондентов колебалось в пределах 10—15, то есть по несколько на каждую часть света. Хотя не исключено, что их было и больше — скажем, по одному или по двое на каждую страну, куда они были внедрены в качестве регистраторов состояния тех «эрогенных зон», за которые они ощущали себя ответственными. Как термометры, такие корреспонденты были погружены каждый в свою точку тела, и единственное, чем они занимались, было свидетельствование. Конечно, к пониманию своей миссии корреспонденты приходили не сразу, каждый в свой срок, каждый со своей темой и со своей транскрипцией. И хотя такая миссия накладывала, конечно, отпечаток на стиль жизни и манеры, но отпечаток не вполне отчетливый, расшифровать который без ошибок и потерь, очевидно, представля-

лось невозможным, вследствие сложной комбинации мистических и человеческих черт в натуре выбранного субъекта.

Все вышесказанное в полной мере относилось и к Инторенцо. По свидетельству многих, он был совершенно нетщеславен и безбытен. За исключением коротких периодов брачной и семейной жизни, не имел дома, квартиры, более или менее отчетливой привязанности к какому-либо месту, предпочитая гостиницы с их безразличным и индифферентным фоном. Однако самым важным в натуре Инторенцо нам видится его достаточно претенциозная неудовлетворенность тем, что его жизнь, его тело, его душа ограничены каким-то конкретным пространством. То же самое было характерно и для всех других корреспондентов, занимавшихся свидетельствованием. Их всех объединяла пропозиция к Создателю, которому они корреспондировали свои претензии, общаясь с ним через посредников, в одностороннем порядке, и, выбранные им самим (что замыкало связь), каждый имея свой зуммер, сообщали Ему о неудовлетворительном состоянии Его созданий. Что еще заботило корреспондентов, так это желание воссоединиться, образовав своеобразный конгресс. Конгрессмены должны были каким-то образом узнать друг друга, выделить, отметить и в знак доверия открыть свою тайну. От ошибки никто не был застрахован. Нет никаких оснований утверждать, что каким-либо двум конгрессменам действительно удалось встретиться, а если и удалось, то они смогли друг друга разгадать, хотя, если судить по Инторенцо, им всем в равной степени была свойственна неудобная и во многом неприятная для окружающих искренность, без всякой оглядки на приличия и условности. Именно поэтому творчество Инторенцо свободно от какого бы то ни было психологизма, в нем нет даже отдаленного налета стремлений, свойственных многим писателям, оставить в своих творениях хотя бы фрагмент себя, своей жизни, чтобы читатели поминали, воскрешали, пусть и проходя, частицы их облика, т. к. Читатель, к которому обращался Инторенцо, и так знал все, за исключением того, что тот ему сообщал. Конечно, конгресс в настоящем смысле слова был неосуществим. Однако каждый из конгрессменов не мог отделаться от стремления создать вокруг себя некую референтную группу, пусть не облеченную особыми полномочиями, но в той или иной степени помогающую им справляться со своими функциями. Конечно, несомненная уникальность положения конгрессменов в жизненном пространстве не могла не приводить к некоторым конфликтам с другими членами общества, не вполне осознающими, что конгрессменский статус не обладал должной приспособляемостью и притираемостью к общепринятым стереотипам, и, следовательно, единственное, чем могут помочь окружающие конгрессменам, — так это не мешать.

Как сообщает один из наиболее близко общавшихся с Инторенцо знакомых, Адам Адамович Чарторыжский, первый раз демоническое проглянуло сквозь его приятеля в последнем классе гимназии, когда они, трое товарищей, возвращались с похорон их соученицы Лизы Бухариной; шел, очевидно, обыкновенный разговор о смерти, кото-

рая явилась им всем впервые в столь неприбранном виде, и вот именно тогда, остановившись у фонарного столба, но не попадая в окрестность его желтого моргающего света, странно улыбнувшись, Александр Инторенцо сказал, что он вполне может представить себе такого персонажа, которому их переживания, отрешенность, какая-то спазматическая тяга друг к другу по поводу этих фальшивых похорон могла показаться бы банальной, потому что, как сказал уже писатель Кэрл, рано или поздно это должно произойти, ибо у человеческого рода пока что все равно стопроцентная смертность. Эта улыбка, этот намек, этот проблеск небрежно замаскированной мысли, которая почти не пыталась отрицать совпадение неведомого персонажа с Александром Инторенцо. Именно тогда Адам Чарторыжский ощутил в своем товарище то, что впоследствии позволило ему назвать его демоном. Они составили нечто вроде общества, общества с нефиксированными полномочиями, так как соглашались с Инторенцо, что единственные две категории, которые их интересовали ввиду их непознаваемости, это смерть и чудо. Остальное являлось либо производным от них, либо несущественным. Ни Оболенский, впоследствии женившийся на первой супруге Инторенцо, отношения с которой всегда определяла связь любовь-ненависть, ни Чарторыжский, увлекающийся математикой, философией музыки, написавший внушительную работу о Шёнберге и Вагнере, стихов никогда не писали. Писал только Инторенцо. Но и его стихи не воспринимались в обществе как литературный акт, хотя его и интересовали на первых порах вопросы литературной формы, все то, что тревожит начинающих литераторов, хотя задним числом, поверяя года обратной ретроспективой, нельзя было не увидеть, что все усилия молодого поэта были по существу направлены не на то, чтобы войти в литературу, а на то, чтобы выйти из нее. И дело здесь не в брезгливости. Суть в медленном, но неотвратимом постижении своей миссии, избежать которой никому еще не удалось.

Общество крепло. Встречались они почти каждый день. Произшедшая революция мало что изменила в их образе жизни или мыслях, совпав с естественным возрастным переломом, этого, по образному определению Мезьера, «потерянного поколения русских аристократов». Имение Введенеевых под Оршей стореало вместе с богатой библиотекой. Чудом спасшийся управляющий вместе с рассказами о проделках бесчинствующей дворни положил на письменный стол молодого господина уникальный экземпляр «Манфреда» с дарственной авторской надписью. Чарторыжский потом видел этот экземпляр с обгоревшим корешком дважды: при переезде на Надеждинскую и разбирая вещи Инторенцо после его первого исчезновения. Общество существовало несмотря ни на что. Всех интересовали вопросы коммуникации и непонимания. Непонимание препятствовало коммуникации, но именно оно было единственно позитивным, ибо таило в себе плод нового языка. Вывод был очевиден: непонимаемое должно выражаться через непонимаемое, чтобы быть понято или, точнее, непонято окончательно. Паллиатив

понимания не устраивал никого из трех. Три, очевидно, было достаточным числом. Попытки расширить общество ни к чему не приводили. Общество становилось неустойчивым, у треножника появлялась четвертая нога, но она была либо длиннее (и мешала), либо короче (и была не нужна). Одно время, правда, казалось, что есть человек, способный помочь им в разработке нового языка коммуникации, т. к. он принес несколько свежих идей. Одна из них была формулой-триадой: роза — ромашка — роза. Иначе говоря: роза лучше ромашки, но самая лучшая ромашка снова лучше розы. Или: неэмоциональное искусство выше эмоционального, но самое высшее искусство — снова эмоционально, хотя это уже и эмоции иного порядка. Именно к этому периоду относится небезызвестный разговор по душам между Оболенским и Чарторыйским, во время которого первый посетовал на то, что, по его мнению, Инторенцо тесно внутри их общества и тот, очевидно, замышляет предательство. Адам Адамович отмолчался, так как к тому времени уже угадал в Инторенцо демона, но боялся, что не сумеет толком объяснить это Оболенскому. К тому же он подозревал Оболенского в увлечении женой Инторенцо, которая, кажется, отвечала ему взаимностью. Чарторыйский понимал, что тяга Инторенцо к себе подобному естественна. Очевидно, не только конгрессмены искали друг друга, но и верховная власть проявляла беспокойство по поводу их существования, ощущая, что своими рапортами те искажали создаваемую их воображением картину существующего общества. Хотя диктатор был уже канонизирован, гомеопатическая и контагеозная магия существовали на правах государственной религии. Право общения с внешним пространством было монополизировано коллегией специально выбираемых жрецов, чьи действия не только регулировали погоду и обеспечивали виды на урожай, но и старались обеспечить режим наибольшего благоприятствования в отношении социума с небесной канцелярией. Костры инквизиции разгорались все ярче и горели все чаще. Верховная власть не могла позволить себе отдать приоритет общения с внешним миром в частные руки, не обладая возможностью контролировать эти контакты. Использование симпатической магии всевозможными предсказателями, колдунами, ведьмами вызывало всеобщее раздражение; восковые фигурки диктатора, истыканные иголками, находили в самых невообразимых местах. Нельзя сказать, что все мероприятия верховной власти воспринимались с равным энтузиазмом. Очередная полоса репрессий развернулась после злодейского умерщвления в Угличе приемного сына предыдущего правителя Дмитрия Крупского. Никто не верил официальному сообщению о несчастном случае, слишком очевидна была борьба за престол: несмотря на малолетство, Дмитрий Крупский был любимцем партии, и его фамильный герб и девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться», невзирая на очевидную двусмысленность, был присвоен воронежским отделом ворошиловских стрелков. Введение после этого злодейского убийства в политбюро на правах кандидата Молотова было расценено многими как расплата за содеянное.

Страну захлестнула волна репрессий. Пушкин, которому не решились припать пресловутую 58-ю, был сослан в Крым за невинное утверждение, что Европа заселена тремя племенами: германское — благоразумное, романское — бешеное, славянское — бестолковое. Чехов был сослан на Сахалин за фразу о современных ему литературных кругах, которые он сравнил с ватерклозетом, вход в который, по счастью, разрешен далеко не всем. Оппозиция выступила с провокационными заявлениями. По всей стране ширились протесты. Горький, в ответ на дисквалификацию Чехова, сложив с себя полномочия, вышел из состава Академии бессмертных. С большим трудом, с помощью друзей, по подложному паспорту, Чехову удалось выбраться за границу, где, однако, в результате нервного перенапряжения, он быстро скончался в местечке Баден-Вейлер в Германии, умоляя жену налить ему перед смертью бокал шампанского. Его последняя фраза, обращенная к доктору: «Ich sterbe...» только доказывала верность утверждения Достоевского о восприимчивости русского гения, который в Париже — француз, в Лондоне — чистокровный англичанин, а в Германии — немец. Несмотря на завещание и протесты общественности, его тело было выдано русским чиновникам и привезено обратно в Москву в обитом цинковым железом грузовом вагоне с надписью «Рыба». Похороны писателя, несмотря на вызванную конную милицию, привели к шумным манифестациям, непредвиденно для многих переросшим в баррикадные уличные бои. Либеральная интеллигенция и студенчество неожиданно были поддержаны рабочими и еврейскими экстремистами, которые снабдили восставших бомбами и оружием. Еврейские мафиози, опустошив свои тайные склады, из рук в руки передавали новенькие, пахнущие машинным маслом автоматические карабины с клеймом «Made in USA» и «Made in Corsica». Несмотря на неравенство сил, радикалистам в течение недели удавалось удерживать от атак милиции и десантников центр города и развалины бывшего бетонного завода в районе Ржевки-Пороховых. Снайперы засели на галерее и крыше Гостиного двора и внутри башни Дома книги. Баррикада на углу Садовой и Апраксина переулка была почти полностью разрушена минометным огнем, однако пройти сквозь развалины, порох и дым штурмовые отряды еще не могли: со стороны Апраксина стреляли, неожиданно летели гранаты, раздавались автоматные очереди.

Когда рассеялось облако слухов, стало ясно, что вспышка, названная в газетах беспорядками, не была случайной, и оппозиция, потерпевшая на первых порах поражение, отнюдь не считает себя проигравшей, а только сменила тактику, решив на время уйти в подполье. О боях в столицах Инторенцо узнал спустя несколько дней, ибо еще раньше первой волны репрессий был сослан в Курск то ли за тост в честь монархии в день тезоименитства государя, то ли за инкриминируемые ему тексты, содержащие, по уверению следствия, заговор с целью навести порчу на диктатора. Еще раньше, на вторую ночь после ареста, в камере дома предварительного заключения у него начались слуховые галлюцинации. Он знал, что этого не может

быть, но ему казалось, что с ним разговаривает ангел или один из небесных посланцев, к которым он обращался в своих текстах. Теперь все было наоборот: не он говорил, а его то ли слышали, то ли нет, а ему говорили, но он был не в состоянии отвечать, по крайней мере, голос, звучащий у него в ушах, никак не реагировал на его реплики. Сначала начало свербить перепонки, он покрутил там мизинцем, сперва вроде прошло, затем опять ухо закололо, раздался звон — стихло — заложило, запульсировало — закололо с новой силой — он застонал сквозь зубы — зажал ладонями уши — а когда отпустил, услышал голос: «...ы хочешь жить — убей свое тело раньше смерти». «Что?» — испуганно отвечивал Введенев. «Ты все равно умрешь дважды, как и все, не бойся первой смерти, бойся второй». — «Кто это, кто это, кто говорит?» — «Христос воскрес последняя надежда». — «Какая вторая смерть?» — «Ты не должен бояться, тебя все равно повесят, либо повесишь сам». — «Как?» — «Времени тоже нет, нет глаголов, действия, есть любовь, направленная в обратную сторону». Уже проваливаясь в какое-то полубомрачное состояние, он вспомнил, как занимался любовью как раз в той самой башне Дома книги, поднявшись туда по узкой лесенке, даже не в башне, а в огромном фонаре в виде светящегося земного шара, перепоюсанного чугунной оковкой. Он знал в себе это свойство: замирать, цепенеть, облекаясь ненарочитым безразличием; только узрев очередную жертву — движения становились ленивыми, замедленными, он, казалось, слеп, ничего вокруг не замечая, небрежно цедя слова, словно отторгая от себя ту, которую он по непонятному закону гипнотизировал своим невниманием, превращаясь в охотника, поджидающего добычу в засаде: боясь шелохнуться, выдать себя шевелением, шуршанием, подпуская поближе, чтобы в последний момент сделать прыжок и нанести решительный удар. Она была светловолосая, голубоглазая, стеснительная, робкая, очаровательная, хрупкая, нежная; всего несколько дней, как она появилась в редакции и казалась девушкой, краснея от шуток и бурно аплодируя острогам. Инторенцо не сказал ей ни единого слова, даже не здоровался, погруженный в себя, делал вид, что не замечает. Все давно все поняли, она набухала, как грудь, ласкаемая рукой, но он никогда не ласкал женщин, ненавидя их, боясь, презируя, стараясь не дотрагиваться и лишь изысканно унижая. Женщина изнемогала, пытаясь своими ласками вызвать ответные, умоляя сжалиться, он был непреклонен, неумолим, ничего не прося, только беря, ничего не давая взамен, избегая совокупления и оставляя себя в воздухе, в руках, на коже груди, в волосах, на лице. За это женщины обожали его еще больше, надеясь на следующий раз, когда все будет иначе, и его лед будет сломан. Но все происходило так же, если происходило, они сходили с ума, извивались в конвульсиях, бились в припадках, и оплеванные — они любили это больше всего, — изнывали, хотя первое общение, пожалуй, было самое волнующее. Это была горькая радость — медленно возвращаться в душно светящемся фонаре, изнемо-

гая от пота и просьб — «Ну возьми, ну возьми меня, ну прошу», — внизу мелькали трамваи, мост с решетками, набережная, спазмы толпы, регулировщик в шлеме, — а он, хладнокровно сдерживая содрогания, вспоминал, вернее, представлял себе мальчика, просыпающегося в тишине огромной пустой квартиры, в углу отцовского кабинета, закутывающегося вокруг него водоворотом вещей и запахов: старого дерева полок и дубового письменного стола, у которого вместо ножек огромные колеса, наподобие колес от телеги, пыльного ковра, чья середина украшена двумя кинжалами, вернее, кинжалом и пустыми ножнами на тонких ремешках, и невообразимого числа географических карт, развешенных вдоль всех стен. Карты были самые разнокалиберные: от гигантских, из приложения к атласу Лёрюша, до крошечных, из карманного справочника Боброва, купленного по случаю в магазине издательства «Знание» на Загородном. Кабинет отца был единственным местом в доме, где ремонт не проводился с незапамятных времен, и каждый раз, защищаясь от атак Софьи Дмитриевны, отец ссылался именно на карты, в некоторых местах отсыревшие, в пятнах проступающей плесени, пожелтевшие или, напротив, высохшие, в неясных и подозрительных разводах, — отец как-то беспомощно разводил руками, оглядывая, обводя географическое море, которое, конечно же, не выдержало бы насильственного переселения. И ремонт обходил стороной. Отец был белобрыс, сед, тучен, порывист; когда садился, угрожающе потрескивали брюки и щелкало в суставах; нещадно потея, он менял сорочки по несколько раз на день; на подоконнике стояли флаконы с жидкостью от пота, здесь же валялись кипы старых газет, журналы, атласы, различные издания общества Д'Аламбера — любителей географии (свои сообщения они присылали в узких синих конвертах, выпаривать над чайником марки он никому не позволял), и если хорошо расшевелить этот ворох, можно было выудить какое-нибудь чудо вроде ножика с перламутровой рукояткой или засохшего рождественского мандарина, сморщенного и потемневшего, как грецкий орех. Софья Дмитриевна слыла англоманкой, не протестовала против распространяемых о ней слухов, была сдержанна, не терпела уменьшительных суффиксов и семейных сцен; и уже потом, вспоминая отца, он не мог взять в толк, каким было их первое путешествие в Биарриц, где они прожили почти в полном одиночестве в полупустом отеле два месяца; и, ругая себя за такие мысли, внутренне конфузясь и напрягаясь, не мог представить их не только в постели, но даже целующимися. Отец был рохля, добряк, балагур, с набором дежурных шуточек на все случаи жизни, и его дебелое, женское тело распространяло какой-то сладковатый душный запах. Стесняясь этого, он ненавидел запах отца. Его чуть ли не тошнило, когда тот подкидывал его на своих руках, а затем прижимал к мягкой, шелковистой бороде, — «Ах, оставь, оставь, пожалуйста, — морщась, говорила Софья Дмитриевна, не терпевшая этих телячьих нежностей, — ты уронишь ребенка. Да и потом это дурно, пойми», — защищала его она, видя, как тот барахтается в отцовских объятиях. Запах

и карты — вот что олицетворял для него отец. В качестве наказания его отправляли спать в отцовский кабинет, где все было чужое, кроме этих карт с разноцветными ниточками и стрелками, указывающими на различные экспедиции, маршруты, путешествия, а по самой большой, у окна, задвинутой в самый угол, скорее угадывалась, нежели зияла дыра в виде сердца или липового листа, как раз в районе Среднерусской низменности. Даже если он лежал в полной темноте, и бледно-лимонный свет сеялся и плыл в узком просвете штор, окрашивая паркетины пола в грязно-зеленый цвет, он всегда видел, чувствовал эту тщательно расправленную заклеенную дыру в карте, которая, словно воронка, засасывала в себя все вокруг, будто, вопреки всему другому, источала не свет, а тьму. Всю жизнь он потом корил себя за то, что ненавидел отца, такого огромного, добродушного, по уверению матери, безалаберного, и ненавидел только за источаемый им запах. Стыдно, всего лишь. Отец, пропавший в первых туманных абзацах революции, остался в его памяти неясным, расплывчатым пятном, вроде того, какое оставляет упавший на тонкую бумагу бутерброд с маслом. Все альбомы с фотографиями исчезли при очередном переезде с квартиры на квартиру; непонятно зачем он сохранил сложенную многократно ту самую карту с дырой, бережно заклеенной полосками кальки, что поблескивала, матово отсвечивала или казалась прозрачной в зависимости от того, откуда падал свет. С отцом он столкнулся впоследствии всего однажды, листая выуженный с нижней полки этажерки справочник Суворина, посвященный концу одного столетия и началу другого. Этот раздел справочника начинался с нарочито условного диалога между Разумом и Чувством, которые горячо обсуждали, когда и как правильно следует праздновать рождение нового века и конец прошедшего: 31 декабря 1899 или 1 января 1901. Но его внимание привлекла гравюра, изображавшая символическую передачу эстафеты: старый век в виде белобрысого человека в сюртуке и жилете с выпущенной на живот часовой цепочкой, с интеллигентской бунинской бородкой, скрывавшей слабую линию подбородка, с типично русским, добродушно-ироническим прищуром смотрел на свою спутницу: худую англизированную особу в шляпке с вуалью. На другой половине гравюры остроумно одетый юноша с развевающимися волосами, склонившись, показывает что-то в раскрытом на добротном попире фолианте коротко стриженному очаровательному созданию в простеньком кисейном платьице, что с грациозным участием слушает своего возбужденного кавалера. Пожилая пара с благородным и деликатным умилением наблюдает за беседеющей юностью, их время еще не прошло, но пора — новый век уже на пороге. Юноша в студенческой тужурке и высоких штиблетах перелистывает страницы книги знаний, с жаром поясняя что-то своей восхитительной слушательнице то ли в рисунке, то ли в тексте, набранном строгим готическим шрифтом. «Не правда ли, умилительная пара, мой друг?» — кажется, вопрошает он. «Отнюдь, — отвечает она, — все в их облике кажется мне исполненным скрытого значения». — «Но не

говорит ли текст о том, что не все надежды, увь, сбываются, и иллюзии томят еще долго, они сжимают грудь, сжигают душу, наполняя ее пламенем и безрассудством. Когито эрго сум, хотел бы возразить я им».—«Но, милый, не страсть ли разрешает антиномии разума, слишком прямолинейного в своих устремлениях к добру и благу, но, к сожалению, не способного освободить душу от бессмысленных стремлений и желаний и дух от ощущения тщеты, омрачающей любые чистые помыслы».—«Конечно, ты мне можешь возразить, не забыл ли ты о небе, как образе бесконечного? Не запутался ли ты в противоречиях, неразрешимых только здесь? Не хочешь ли ты сказать, частное — мерило целого? Но, поверь, я не так безрассуден, как ты думаешь. Я знал, что ты скажешь, и учел это заранее. Но ответь, что же делать, если вопрос остается без ответа, если жгучие сомнения снедают душу, а грудь сжимают предчувствия, и грудь томится, если ты позволишь мне такое сравнение, будто сжатая слишком тесным и тугим лифчиком. Что превыше — чувство или разум, спрашиваешь ты, душа или плоть? Не слишком ли ты абстрактна, моя дорогая, не грешишь ли ты надуманностью допущений в ущерб правде жизни, моя милая?»—«Я — грешу? — удивляется она.— Вчера ты говорил, что я своенравна, что моя задумчивость тебя тревожит, что я не так, как ты, целеустремленна и кокетничаю сверх меры с попутчиками из эсдеков? А сейчас подвергаешь сомнениям категории, внушенные мне самой жизнью, впитанные с первых дней юности, хотя сам допускаешь вольности, неуместные и безобразные. Когито эрго ссу, говорю я тебе».—«Вот как, отлично, между нами все кончено, проваливай к своей мамочке на Васильевский. Не забудь забрать своего Шиллера и посуду, мне твоего ничего не надо».—«Негодяй, не трогай мою маму! Я плевать хотела на твои мелкобуржуазные убеждения и слюни. Распускай их в другом месте!»—«Сучий потрох».—«Подпольщик, монархист, перестройщик, человек с узким кругозором и охранительными инстинктами. Таким, как ты, не место. . .»—«Комсомолка с поехавшей крышей!»—«Нет, ты невыносим, неумение спорить выдает тебя с головой. Ты потому и горячишься, что израсходовал доводы и сомневаешься в своей правоте».—«Конечно, если, как ты, ставить эмоции во главу угла, то любые возражения покажутся нелепыми. Давай вернемся к этой теме как-нибудь потом, когда ты остынешь и перестанешь переходить на личности. Признаюсь, я тоже несколько погорячился. Миль пардон».—«Как хочешь; тебе всегда виднее». Он сжимает руку, захлопывает книгу, свертывает пюпитр, складывает его, устраивая под мышкой, затем церемонно кланяется и, поднеся два пальца к козырьку студенческой фуражки, быстро уходит по еле намеченной в траве тропинке. Его спутница, шурша платьем и мелко ставя ноги в узких ботинках со шнуровкой, задумчиво идет по сырому и красноватому после дождя песку дорожки. Пожилая пара со вздохом садится на скамейку: он, играя носком сапога и тростью, дама молча поправляет вуаль на шляпке, останавливает взгляд на левом рукаве, делает подлинней кружевной манжетик, натягивая его

на запястье. Затем несколько вопросительно смотрит на господина во фразной тройке. Он грустно улыбается, встает и подает ей руку в перчатке. Все уходит. Место пустеет.

Рос

О, как я любил ее, как любил, даже не зная, что это такое, боясь этой любви, как беса, не признаваясь ни ей, ни себе, таясь, скрывая, обожая в ней чистый небесный облик, ее перси, ложесна, ланиты, бритые подмышечные впадины, лодыжки цапли, запястья, округлую талию, шею, похожую на преступление, ключицы, словечки, дрожь, вызываемую у меня ее бархатистой промежностью, нежный голос с нотками коварной хрипотцы и юмор висельника, эти складки на животе и то, что любить не смел, не мог, не имел права! О, никто не понимал меня так, как она, именно потому, что не хотела понимать совсем, абсолютно, совершенно, или понимала, но не подавала виду, и я сам не мог познать ее, проникая, углубляясь, заставляя извиваться и стонать, и говорить все, что я захочу, но это было не то, не то, совсем не то, я хотел душу, а она давала другое, нежная любящая стерва, умная и знающая все, как черт, но стоило ей дотронуться до меня, коснуться, задеть, растревожить, любимая моя, и меня била дрожь, будто проходил электрический ток. В том-то и дело, что это было обыкновенное существо женского рода, не лучше, не хуже других, даже не красивее, и уж точно не добрее многих, но то, что у других называется связь, было какой-то дьявольской мукой, хотя бы потому, что моя Рос, Ро-ос! Ро-ос! О, моя Рос была такой, каких не бывает. Да, конечно, вы мне можете возразить, послушайте, но ведь это вы совратили, соблазнили, растлили ее. На что я отвечаю, и с полным, полным основанием, это Рос соблазнила, совратила, растлила меня, как может женщина растлить мужчину, сестра соблазнить брата, жена свергнуть в грех мужа! Я не любил ее с детства, ее детства, наблюдая, как все эти нянюшки, мамушки, кормилицы пеленали ее, купали, носились, баловали, сами порой удивляясь, какой безжалостной, капризной, заносчивой вырастает она, и они умилялись, ужасались, горевали, радовались, готовя себе, ей и мне погибель, не зная этого, зная, подозревая, негодуя, сомневаясь, прозревая, продолжая начатое. Сопливая девчонка, я презирал ее, негодуя, успокаиваясь, забывая, опять разгораясь и не скрывая неприязни, и она боялась меня, единственного, боялась, возможно уже замысливая то, что произошло, а быть может, и просто действуя по закону природы. Красавица, умница, детка, наша прелесть, пели ей вокруг — ничего подобного. Даже особенно симпатичной она не была, не стала, хотя ее характер и представлял комбинацию слабости, покорности, взбалмошности, самонадеянности, лукавства, эгоизма, полета, вдохновения, нерешительности и стержности, когда она не видела никого, кроме себя. Мы жили в двух разных флигелях одного огромного, обветшалого дома, почти не встречаясь, не видясь;

иногда, снисходя, я читал ей строгую, презрительную, уничижительную мораль, делал какое-нибудь злое замечание, видя ее насквозь и не испытывая к ней никакой приязни, а когда она впала в период обычных девичьих увлечений, и вообще махнул на нее рукой. Хоть умри, мне было все равно. При мне она каменела, застывала, становилась скованной или, напротив, вела себя вызывающе, развязно, не зная меры, приличий, стыдливости, пытаюсь вывести меня из терпения, разозлить; но стоило мне повысить голос, прикрикнуть, шлепнуть ей как следует, как она затихала, замирала, успокоенная и разочарованная. Только иногда, находясь в хорошем расположении духа, я позволял себе с ней расслабиться, пошутить, поболтать о том, что мне было интересно, и она тут же распускалась, разоблачалась, раскрывая все свои секреты, не смущаясь подробностей, интимных и точных; я давал советы, но все было без толку, с другими она была такой же, как всегда, ничуть не думая меняться. Мне и в голову не приходило, что она может быть в меня влюблена, с какой стати, этого не хватало, хотя пару раз мне и казалось, что она забывается: с легкостью появляясь при мне полуодетой, в чем-нибудь белом, полуспущенном носке, гармошкой собравшемся на лодыжке; а раз, когда мы с ней заболтались перед сном, стала переодеваться лишь полузакрытая от меня створками китайской ширмы. Даже когда однажды мы столкнулись с ней в пустом коридоре нижнего этажа, и она почему-то не посторонилась и якобы шутливо потянулась ко мне руками и губами, я не придавал этому значения, хотя что-то вздрогнуло и опустилось во мне, будто я поперхнулся, но я сделал вид, что не заметил, и прошел мимо, только потом сообразив, что она поджидала меня специально, подстроив эту встречу, зная о том, как я презираю женщин, насколько я с ними жесток, беззастенчив, и, очевидно, рассчитывая на мою мимоходом потраченную на нее ласку. Чепуха, я был занят другим, мне было не до того, и хотя я видел, что она соблазняет меня, относил это на счет ее вздорности, агрессивности, слабости, неуверенности, дурашливости, не знающей границы и меры. Потом, когда это повторилось, я прочел ей выговор, отчитал как следует, приструнил, сказав, чтобы она выкинула дурь из головы, пусть займется кем-нибудь иным — и она тут же согласилась, отступила, будто ничего и не было. Я не жалел, не любил ее, даже когда она болела, и мне передавали, что она просила меня зайти, вроде бы что-то важное, просьба, поручение, я посылал кого-нибудь узнать, что ей нужно, не утруждая себя заботой, ибо никогда не мог избавиться от раздражения, чаще всего вызываемого у меня ее обликом — ничуть, совершенно, ничего похожего, совсем-то она не расцвела, как уверяли вокруг, не стала хорошенькой, меня такие бесили, я их не видел, не замечал; а когда все-таки зашел с чашкой отвара, который она отказывалась пить наотрез, хотя ее мучил кашель, и она, пожалуй впервые, повела со мной так, как со всеми, почти не замечая, не слушаясь, отвечая высокомерно, что меня раздражало и пугало, почему, даже сам не знаю, вдруг я испытал к ней гадливость, почти ненавюдя за то, что она себе позволяла. Мне

страшно захотелось ее уколоть, оскорбить, сделать больно, выкрутить руки, хлестнуть по лицу, именно ударить, швырнуть в угол, вывалить ее в какой-нибудь грязи, отвратительная, некрасивая, никого не признающая, а ну, встать, заорал я, встань, ты как со мной разговариваешь, а, и сорвал с нее одеяло, которым она накрывалась с головой, она была отнюдь не соблазнительна в мятой пижаме, с разметанными по подушке нематыми волосами, с опухшими веками, лучше дай сигарету, равнодушно протянула она, встань, или я сейчас уйду! Кажется, даже слегка застонав, она приподнялась, села, потянулась, хлопая ресницами, устало, равнодушно, будто я для нее пустое место, такой, как и все, над кем она издевалась. Я ей что-то говорил, опять отчитывал, с ужасом ощущая, что теряю уверенность в своих словах, что она меня не боится, слова не имеют веса, почти не замечает. Ты будешь слушать, сжимая зубы, прошептал зло я, тряся ее за плечи, а затем рванул на ней пижаму, оголяя ее до пояса, а потом с каким-то озлоблением сжал ее груди, делая больно, очень больно, а затем впился в левый сосок губами. Она даже не вздрогнула: я на минуту отстранился, оглядывая ее чуть видное в полутьме сонное лицо; у меня неинтересная грудь, спокойно сказала она, пытаюсь запахнуть пижамой. Я заткнул ей рот поцелуем, лаская ее тело, забираясь вверх и вниз, хотя в любую минуту сюда могли войти ее няня, бонна, кто-нибудь из домашних; и потому я, оставя ее на секунду, сделал несколько шагов, отворил дверь, надеясь услышать шаги, если они раздадутся, и иметь хоть пару секунд на то, чтобы скрыть, что здесь происходит. Я не хотел ласкать ее, она мне не нравилась, но я не мог больше терпеть, не мог; не здесь, не сейчас, не надо, слабо защищалась она; но я и не хотел ее брать, я хотел, чтобы она взяла, я должен был выплеснуть свой гнев, все, что меня переполняло, я заставлял ее ласкать меня руками; ну, быстрее, быстрее, она была какая-то вялая, вареная, равнодушная, будто не добивалась этого, как счастья, почти год, ну; и помог сам, не имея сил сдерживаться, убери руки, и оросил ее грудь и пижаму, после чего растер брызги по лицу и шее, — ложись в постель. Я успокоился сразу, утолив себя, будто опадающее молоко, если убрать газ, и коли были угрызения совести, то мне было чем унять их, я не взял ее, а так, сделал то, чего она добивалась, пусть проявив слабость, но весьма простительную, учитывая мое негодование, ярость, гнев на ее поведение, дура, дура, будешь знать, как доводить до белого каления. Она была мне неинтересна. Я не собирался повторять что-либо подобное, не видя в этом нужды, она так неумело ласкала меня, проявляя неопытность, незрелость, странную при том, что ее кавалеры заставляли паниковать домашних, ну ее к ляду, пусть выкручивается сама. Все продолжалось как и было, как будто ничего не произошло, она не предъявляла претензий и не заявляла о правах (чего я опасался), ведя себя так, будто ничего не случилось, не думая вставать в позу оскорбленной или, наоборот, намекать на мои якобы обязательства по отношению к ней, ничего подобного, даже напротив; она стала спокойней, уравновешенней, хотя я и не доверял

этому спокойствию и при встречах искал следы тайной ее уверенности, будто мы теперь сообщники, но не находил, как ни приглядывался, этого не было, и я был не то чтобы обескуражен или недоволен, но, вероятно, что-то меня задело, ибо я не мог взять в толк, что происходит? Я был уверен, что она изнашивает, сохнет по мне, что все ее женское естество раскрыто для меня, что стоит мне только пошевелить пальцем, и она кинется мне на шею; но она почему-то больше не делала попыток раззадорить меня, соблазнить, вызвав рецидив моей страсти, весьма неотчетливой и неброской; и вела себя так, будто вместе со мной утолила жажду и сама. У меня был гарем женщин: разных крепостных девах, знакомых, подружек, приятельниц, бывших любовниц, от которых меня воротило; но я не изменял своим привычкам, мне доставляло радость общаться с ними изысканно, будто я и не догадываюсь об их стремлениях и желаниях, будто не знаю, что им нужно, за долгие годы привыкнув их унижать, приземлять, одергивать, всем им вместе цена ломаный грош; я жил, как и прежде, хотя поневоле пару раз и возвращался в мыслях к той сцене, произошедшей между мной и ею, все-таки совесть была нечиста, но не мучаясь, не изводя себя, а просто было, было; ничего не поделаешь. Она болела, поправлялась, я бывал то чаще, то реже на ее половине, не замечая в себе никаких перемен, правда, легче откликался на ее предложения поболтать, терпимей относясь к ее причудам, да и сама она казалась уравновешенней, чем прежде, будто начала потихоньку избавляться от своей ужасной природы; ну и хорошо. Я и раньше, как старший, позволял себе шутливо шлепнуть ее ладонью по мягкому месту, ущипнуть, призывая к порядку, хотя до этого не касался ее груди, а здесь, опять же мимоходом, подчеркивая несерьезность, скорее в воспитательных целях, нежели в иных, без всякой эротики, тискал ее небольшие грудки с крошечными плоскими сосками, и она при этом не замирала, не каменела в упоении или столбняке страсти, а принимала это, как само собой разумеющееся, неторопливо отводя мои руки, будто бы не желая, чтобы нас увидели; не протестуя, но и не бросаясь мне на шею, как я ожидал. Это было удивительно! Я был убежден, что она томится, что ее нервозность, капризность, вздорность происходят от неудовлетворенности, от пустого ожидания; все ее бывшие выверты я теперь интерпретировал в русле увлечения мной, ее безнадежной любовью: ибо я и не думал отвечать ей взаимностью, это было бы смешно, глупо, ужасно, невозможно, немыслимо, я бы нарушил что-то важное в себе, какую-то цельность, строгость, весь смысл своего существования, если он был, а он был, я его ощущал, отчетливо, определенно, как позвоночник; и чего ради мне все ломать, если она мне даже не нравилась, была не в моем вкусе, отнюдь, совершенно, абсолютно; так, вертлявая девчонка с томными и деланными манерами, да и зачем мне брать этот грех на душу, ломать, портить себе жизнь, себе да и ей, даже если эта блажь и засела ей в юную пустую головку; мне нечего было предложить взамен, да мне ничего от нее и не надо было, кроме как иногда

промелькивающего воспоминания о том, как я тискал ее полусонное тело в мягкой пижаме, затем запустил руку в ответно увлажнившееся меженожье и наскоро, почти ненароком оросил собой ее грудь. Даже если в моем мозгу, почти поневоле, и вставали какие-то соблазнительные картины, то и в них я не делал с ней ничего, боясь кровосмешения, как ада, и только позволял ей ласкать себя, одновременно осыпая ее при этом презрительными упреками и замечаниями, как старшей с младшей, ничего толком не умеющей да и неспособной. Обнаженной она была не то чтоб некрасивой, но непривлекательной, это уж точно; я любил тихих, покорных, с мальчишеским тельцем, здесь было все не так, ничего общего, если мне и хотелось ее, то совсем по-другому, без всяких ласк, а грубо, лучше сзади, чтоб не видеть лица и лишая при этом даже отдаленного намека на разделенное удовлетворение; тем более, что она, наша Рос, опять стала выкобениваться, изводя домашних и прислугу, вела себя вызывающе, чему я не находил объяснений, хотя она и была порой откровенна со мной, как и раньше, но при этом — и здесь было новое — я чувствовал, что она что-то не договаривает, скрывает, какие-то тонкости, важные для нее, с характерными девическими преувеличениями, вряд ли что-нибудь существенное. Я уехал всего на неделю по своим делам, во время которых я забыл обо всем на свете, и уж точно о Рос, да и что мне было о ней помнить, уехал, а когда вернулся, то первой встретившей меня новостью было известие о ее расстроившейся помолвке с одним хлыщом, которого я видел раз, да и то мельком; но наш батюшка одобрял это сватовство, позволявшее, в случае удачи, несколько подправить его пошатнувшиеся дела, но все распалось, причем либо по обоюдной инициативе, либо из-за нежелания именно с его стороны, что было странно, ибо все шептали, что он влюблен в нее без памяти; они жениховали около полугода, хотя я и не завидовал этому оболтусу, повесил бы себе камень на шею, бедолага, приобрел бы еще то сокровище; но бросить ее так, почти не из-за чего, без видимой причины, правда, что я мог знать о его личных причинах и резонах: богатый малый, может быть, он был и не так глуп, как я полагал. При встрече мы обменялись с ней шуточками, ничего заслуживающего внимания, хотя я и заметил, что она не находит себе места от обиды, выказанного ей пренебрежения, с трудом сдерживая себя, чтобы не сорваться, по крайней мере при мне, ибо домашних она опять терроризировала, как и полагается юной стерве, потерпевшей любовное фиаско, — что, не удалось стать костромской помещицей, пошутил я, намекая на вотчину неудавшегося жениха, — меняю Кострому на Москву не глядя, стреляя глазками, нашла она, сдерживаясь изо всех сил, чтоб не разреветсяя. И с того дня все началось сначала. Не то чтобы она не давала мне проходу, но я опять попытался отдалиться от нее, занятый улаживанием дел по опеке над нашим престарелым отцом, совсем недееспособным и, очевидно, решившим раздеть нас до нитки, пустить по миру своими нелепыми авантюрами; черт с ним, опекунский совет уже вынес предварительное решение в мою, то есть нашу пользу, да

и он сам не очень возражал, понимая, что всем, да и ему, так будет только спокойнее; и мне, конечно, было не до придурей Рос, Бог с ней, побесится и перестанет, мне бы ее проблемы, пусть найдет кого-нибудь другого, кто залечит ее сердечные язвы; я и внимания не обращал на то, как она увивается вокруг меня, дуреха, доходя до того, чтобы являться со своей бонной на мою половину и отрывать меня от занятий, приставая с вопросами, несмотря на мои увещания; я ее гнал от себя, как паршивую овцу; зимой я всегда чувствовал себя скверно, саднило в горле, я кашлял, раскуривая чубук, почти весь день не вылезая из халата и кресел, а она вертелась постоянно под ногами, как собачонка, мешала, приставала, я повышал голос, и бонна уводила ее прочь. Даже не знаю, как это получилось тогда, уж точно — почти случайно, я сидел за столом и что-то быстро писал, посасывая трубку, а она по своей дурной привычке рылась в моей библиотеке, будто бы ища себе книжку, путая и мешая тома, уложенные мной с великим тщанием, и, думается, что специально, нарочно, назло мне, завалила, якобы неосторожным движением, книги на пол; посыпались атласы, энциклопедии, том с юнговскими мандалами; вон отсюда, заорал я, увидев завал; она рассмеялась, я рассвирепел; Рос и не помышляла об извинениях, пререкаясь, выводя меня из себя, разыгрывая то дурашливое смирение, то высокомерную невозмутимость и чуть ли не обиду, не думая признавать себя виноватой, что бесило меня больше всего; я не мог позволить уйти вот так, с гордо вздернутым подбородком; негодяйка, чем больше я выходил из себя, тем равнодушной становилась ее физиономия, и я вместе с растущим раздражением на нее и себя испытывал непонятное возбуждение: становясь отвратительной, она становилась женщиной, и как женщину я ее не мог простить, как и не мог позволить разговаривать со мной, как со всеми; а она еще стояла рядом со столиком с расставленными на нем шахматами и, бесполезно щелкая зажигалкой, кокетливо улыбалась; в голове у меня помутилось; иди сюда, прошипел неожиданно я, только что собиравшийся с треском выставить ее за дверь: иди, ну; не успевая погасить улыбку, сделала два шага, задевая столик с посыпавшимися фигурами и нарушая позицию: иди; и распахнул шлафрок, глядя ей прямо в расширенные глаза, расстегивая дальше; ну, кому говорю. Я видел, как у нее тряслись, подрагивали пальцы; я не знал более неуверенной, неспытной женщины, у меня таких не было, ее нужно было учить всему, как дитя. Только первый раз она еще шептала что-то: не здесь, потом, лучше потом; а я издевался над ней, спокойно, уверенно, умиротворенно, вот почему от нас ушла Кострома, теперь понятно, от таких ласк сбежит любой, ты раба, поняла, раба, проститутка, и все, тебя нет, ну, вот твое счастье.

Сколько это продолжалось: год, пять, десять; нет, всего три с половиной месяца счастья, которое я скрывал от нее и себя, заставив ее понять, что у нее не может быть иной радости, кроме моей, моя радость — это ее, и никаких ответных ласк, только позволяя ласкать себя самой, когда мне этого хотелось, а мне

хотелось этого нечасто. О, как ласкала меня она, вылизывая языком от подмышек до пяток, как кобылица жеребенка, я был тучен, дороден с детства, зная, как этим чертовкам нравятся худые, мускулистые любовники, нежные и энергичные, а я наслаждался своим животом, который они любили, своей тучностью и рыхлостью, которую они обожали, ибо я унижал их, зная, что им нужно на самом деле; и Рос была такой же, только лучше, лучше всех, лучше себя самой; она мыла меня, подмывала, брила лицо и тело, превращаясь в ничто, в придаток меня, в ту благодатную почву, в которой я существовал, умирал и воскресал вновь. Боже мой, как любил я ее, еще не зная об этом сам, уверенный, что лишь презираю, что учу жизни, заставляя любить мужчину, как женщину, находя в нем все свое счастье; а сам любил ее, обожал ее, возможно, уже чуя, как с каждым лобзанием теряю ее; она уходит, отдаляется, уплывает туда, откуда нет возврата, сохраняя при этом покорность, смирение, послушание, сноровку, заботу и любовь. Даже не знаю, какова она была с другими, говорили, что увяла, обмякла, поостепенилась, забыла о своих штучках, стала ласкова, спокойна, хотя и взрывалась порой дико, крича, рыдая, била нянек по щекам, запустила в бонну туфлей, правда, чего раньше не было никогда, и подарила ей потом свой любимый французский лифчик в знак примирения, чтобы затем повторить все сначала. О, лилия между терниями, я ласкал ее, думая, что делаю это от скуки, в знак легкой благодарности, признательности, хотя благодарности не заслуживает ни одна женщина; тщеславясь своим умением, знанием женского тела и его законов; небрежно, свысока, одаривая ее тем, о чем она и не помышляла, серна моя, а когда она изнемогала, ловил ее стоны губами, левую руку держа под головой, а правой обнимая ее. Я ль не любил ее, она ль не любила меня; о любви мы не говорили. Мы ошибались, каждый на свой счет: я, полагая, что сделал ее счастливой, чем унимал, хотя бы отчасти, угрызения совести и незаживающую рану раскаянья; она — о ней я не знал ничего. Она говорила то, что говорил я, повторяла все, что я ей скажу, а когда она взрывалась — я полагал это естественным для юной женщины с молочно-белыми щеками, которая пила меня до пяти раз в день. Что происходило с ней, я не ведал, не видел, не понимал, был слеп, глух, туп, не замечая, что теряю ее, не зная, когда это началось, как получилось, не зная, что дав ей то, чего ей не хватало, уже потерял ее, ошибаясь на свой счет и полагая, что привязал к себе навсегда. О, эти битвы в постели, ожидавшие эта, эти красноречивые борения, исход которых был предрешен: она ученица, превосходящая учителя, — я выпестовал, помог ей раскрыться и стать той, кем она была, мне и себе на горе, не подозревая, не помышляя, заблуждаясь: ведя за руку свое поражение, чтобы однажды, внезапно, почти случайно, неожиданно для себя понять, что я обожаю, а она презирает меня! Как, почему, нет, не может, никак, невозможно; я, значивший для нее все, — стал похотливым козлом. О, как миловидна, прекрасна, привлекательна стала она, начав меня избегать, как желал теперь ее я: сука, говорил я, что тебе нужно?

В . . . тебя? Нет, этого не будет, не дождешься. Сучка, стерва, не мог я сказать ей о своей любви, как прекрасны ноги ее, руки, живот, лоно, благоухающее мятой, и подмышки, пахнущие яблоком. Как заметался я, как затрепетал, пытаюсь найти ей замену, паллиатив, кидаюсь на ту и на эту, на пятаю, десятую; уехал в Выру, к своим крепостным девкам, румяным, ядреным, к своим невенчанным и мимолетным любовям, только впустую растрачивая с ними пыл души и опустошая мошонку, не умея при этом погасить неутоленный огонь страсти. Сколько познал я разных и одинаковых, расторопных и ленивых, дорогих и докучных, чтобы понять, что мне не надо от них ничего, решительно, совершенно; ни от них, ни от нее, моей Рос, не тело которой я жаждал, а душу. Как загонял я дьявола в ад, а он восставал опять, мой дьявол, будто ему этот ад нипочем, а нужен другой, но тот, тот ад — его больше не будет. Все прекрасное редко, говорил я себе, а редкое прекрасно. Но, возразите мне вы, куда же делась возвращенная сестра ваша, невеста, или она бросила вас, который разбудил ее, растормошил себе и ей на горе, сбежав, исчезнув с вашего горизонта, или попросту дала вам отставку. О, возлюбленная сестра моя, грех мой, печаль моя, что мне ответить себе, где ты, где я, жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Где, кто ласкает теперь тебя, ту, у которой грудь так мала, что и сосков на них нет, а бедра округлы и плавны, будто волны; кто входит в нее так, как не мог позволить себе я, а ведь еще тогда, когда я взял ее полусонной, больной, в мятой пижаме, с запахом пота от шеи и подмышек, оросив ей грудь собой: люблю тебя, сказала Рос. Люблю.

РОС

Рос, моя Рос, сероглазая дочь,
Зря я, наверно, старался,
Воду ли в ступе пытался толочь.
Боб на бобах оказался.
Где ты, сестра моя, жизнь, в глубине
Словно медузы струенье,
И как туман, в океанской стране
Странное изнеможенье.

Что тебе, женщина, слава и дым,
Пар водяной от столетий;
Коли твое окончание Крым
И пустыки междометий.

Рос, моя Рос, своенравная лень,
Где ты, откуда, куда ты?
И почему повторения тень
Мстит постоянным возвратом?

Кто ты, страна или женщина, я,
Я исповедовал веру
В эхо рифмованного бытия.
Где же твои кавалеры?

Версты, столбы телеграфные, пыль.
Я нахожусь на развилке.
Галки, грачи, только нотная быть,
Страсти нестрашные пылки.

Нет меня, есть, вот я снова возник
И ухожу потихоньку.
Женщины той очарованный лик
Шепчет мне что-то вдогонку.

Она так много значила, потом
Ни слуху не было, ни духу.
Казбек, Тамань, побег, ночлежный дом
И повторение по слуху.

Куда мне деться в этом январе?
Морозно как-то слишком, даже очень.
И смотришь, смотришь из дверей
На комнату из многоточий.

Морозно, где б достать чернил,
Достать чернил и все закапать.
Больницы, парки, трубы, тень перил.
Заводы, церкви, клубы и заплакать.

О чем? Не все ли нам равно?
О феврале, о марте, об апреле.
Тебя не видно так давно,
Что нет поддержки в теле.

И в вере. Ведь не грех и повторить:
Все повторяется, за исключением моря.
Платон и Шиллер, сыр, сарынь и прыть
И капельки немого горя.

О, rus — сказал Гораций как-то.
О Русь, так Пушкин поддержал.

О Рос, ему ты вторишь с тактом
Де-факто и империал.
Империя за все в ответе.
Пора, пора...
Вчера мой ездовой привез приказ:
Французы снова двинулись на нас,
И каждый день приносит новости,
которым смысл один:
Все с места тронулось, и новый господин
Наводит новые порядки.
Age you ready? Я хорунжия спросил.
Скребницей тер он рыжего коня и
подправлял подпруги...
Он что-то мне ответить захотел,
но не успел...

7

Хотя Гюнтер фон Грасс и предлагает расширенное, метафизическое толкование приведенного выше опуса Инторенцо, уверяя, что у автора были все основания сказать, что «моя возлюбленная есть сокращенное подобие (Abbreviatur) Вселенной, а Вселенная есть распространенное подобие (Elongitudo) моей возлюбленной». Дик Крэнстон, также согласный с несомненно автобиографическими мотивами, снующими в этом рассказе, которые, определенно, только усиливаются характерными приметамы быта Красной России с ее чрезмерной сексуальной свободой, крепостными гаремами, вообще нефиксированным положением женщины, весьма, однако, свойственным государству Третьего Рима эпохи упадка; все же, уверяет Крэнстон, он не взял бы на себя смелость утверждать, что «красноречивое повествование имеет сугубо биографическую подоплеку, совсем не оставляющую вакансии для вымысла», и, несмотря на исповедальность тона, представляет из себя скорее опосредованную реальность, нежели сухую биографическую справку. По мнению многих биографов Инторенцо, той, кто фигурировала в рассказе под весьма незамысловатым именем Рос, пожалуй, могла быть только первая жена Инторенцо, отношения которой с автором всегда носили характер криминальной, по выражению Графтио — инфернальной близости, заставлявшей обоих — сначала любовников, потом супругов — переживать чувство неясной вины, очень близкой по ощущениям к вине кровосмешения. Крэнстон назвал это «ужасом, страхом половой близости, придающим интимным отношениям оттенок табуированного порока». По мнению Афиногенова, это чувство, возможно, было вызвано свойственным любому конгрессмену отвращением к деторождению, как к акту недостойному, ввиду наложенных на них посланцами миссий, и, как следствие, проистекающая отсюда выхолощенность половых отношений, которые, однако, по закону Виденбау-

ма, приобретали таким образом черты сходства со своей противоположностью, а значит, становились тем запретным плодом, который *vis major* Афиногенов обвиняет весь орден конгрессменов в ненависти к человеческому роду, и здесь он, несомненно, перебарщивает, ибо еще Крэнстон упоминал, что «ни о какой ненависти говорить не приходится, т. к. употребление этого «сильного выражения» есть не просто деформация смысла, но и его инверсия, потому как именно принципиальное недовольство, неприятие человеческого вида как такового вносило в деятельность как Инторенцо, так и других конгрессменов, позитивный смысл». Неблагополучно, говорил конгрессмен прикрепленному к нему посланцу, пытаясь в закодированном виде представить образ этого неблагоприятия. Конечно, этот образ не приобретал бы отчетливых очертаний без обуревавшего душу конгрессмена пафоса перемен. Без этого пафоса, без надежды на перерождение человеческого вида как такового, перерождения, изменившего бы, по образному выражению Фрезера, «проекцию человеческой личности на земле и на небе», невозможно было представить, откуда любой конгрессмен, которому была открыта возможность для беспощадно пронзительного лицемерия жизни, черпал бы силы для своего пусть краткого, и даже строго очерченного, периода земного существования в человеческом облике. Конгрессменский статус препятствовал возможности для конгрессмена банальной естественной смерти от старости, дряхлости или болезни; конгрессмен должен был либо исчезнуть, либо погибнуть какой-нибудь странной, мученической смертью, что, по мнению многих, способствовало своеобразной передаче, бесперебойной эстафете в продолжении этой миссии новым конгрессменом. Конгрессмен ощущал себя обреченным, только заметив, что его силы корреспондента идут на убыль, что он, по сути дела поневоле, начинает обладать способностью к адаптации и прикрепляется душой к тем или иным «прелестным мелочам» и земным привычкам (Паркинсон называет это «чреватой для конгрессмена способностью получать удовольствие от жизни») и, значит, постепенно теряет способность справляться с возложенными на него функциями свидетеля: чаще всего это и было первым беспокойным сигналом, оповещающим, что душе уже пора готовиться к путешествию, в результате которого она перейдет к неведомому преемнику. Миссия свидетеля обязывала быть, что называется, незамутненной оптической системой, которая свидетельствовала о несовершенстве небесного создания, и богочеловеческие функции были несовместимы с увлечением жизнью, что обязательно приводило к появлению фальшивых нот и сбоев при расшифровке.

Очевидно, вышеуказанные обстоятельства и препятствовали развитию канонических отношений Инторенцо с женщинами, тем более, что ему приходилось скрывать и подавлять свою любовь к первой жене, оставшуюся по сути дела единственной и нереализованной, т. к., по уверению Оболенского, он «не мог позволить себе довести хотя бы один половой акт до его логического конца». Можно только

предположить, несмотря на неловкость этих предположений, но биограф и не может позволить себе благородную роскошь бессмысленной бестактности, что пришлось пережить молодой женщине, которая по неопытности и незрелости влюбилась в молодого человека, оказавшегося демоном и, вместо устройства их совместной жизни, занимавшегося свидетельствованием. Для нее он был поэт, поэт пусть и гениальный, играющий на сверхчувственной клавиатуре и медленно и подспудно приходящий к пониманию своей миссии. Он не сразу узнал, что обречен стать свидетелем, она не сразу прониклась своей inferнальностью. Очевидно, иначе и быть не могло. По закону чувственного взаимопритяжения Вайннгена, другая женщина не пришла бы ему по вкусу: эта была умна, начитанна, покорна, худа — вернее, сухошава, обворожительна, казалась милой, хотя могла быть злой, как черт, если только попадала в соответствующие обстоятельства. Она наставила ему рога с его же приятелем, втайне уверенная, что он этого ждет с нетерпением, ибо, несмотря на само собой разумеющуюся неверность с его стороны, ощущал определенные обязательства по отношению к ней, и это изрядно угнетало его при условии, что любил он ее с каждым годом все больше. Афиногенов приводит интересную параллель между самой Тамарой Григорьевной и Рос, то есть ее перевоплощением в образе. Рос — брюнетка с золотистым отливом на концах пышной гривы, Тамара Григорьевна — темно-русая блондинка с гладкими, обычно коротко подстриженными волосами. У Рос достаточно пышные формы, женственные бедра и маленькая грудь с плоскими сосками. У Тамары Григорьевны — подвижное мальчишеское тельце, роскошная грудь (с родиной под правой) и клювообразные соски из-за мастопатии и постоянного наличия молока в железах, что не раз обыгрывалось Инторенцо, сравнивающим ее и себя с римлянкой, кормящей своего отца в темнице. Несомненно, что оппозиция брат — сестра была редуцированной оппозицией демон — женщина с легким привкусом эдипова комплекса. Мнения и сведения по поводу второй жены Инторенцо расплывчаты и неточны, и хотя между строк мелькает странное словосочетание «хорошенькая дурнушка», но даже ее фамилия в разных источниках приводится по-разному: в одних — мадам Аванте, в других — г-жа Ювантер. Брак был стремительным, мимолетным и закончился с первым исчезновением Инторенцо, ввиду его ссылки и бегства, настолько поспешного, что он даже не удосужился забрать с собой сундук своих рукописей, впоследствии сожженных ею из-за опасения репрессий, возможно даже более реальных, нежели она, мадам Ювантер, предполагала. Волнения и преследования начались сразу после праздника Великого Жертвоприношения, который устраивался, как известно, раз в двенадцать лет, когда планета Юпитер возвращалась в созвездие Рака, и заканчивался во время восьмого лунного астеризма в месяце макарам. Планета Юпитер была официально признана звездой диктатора Са Лина и считалась определяющей его судьбу, и именно поэтому, раз в двенадцать лет, что соответствовало периоду обращения Юпитера

вокруг Солнца, на партийном съезде принималось решение обязать Са Лина, в соответствии с традицией, лишиться себя жизни публично. В прошлом, по истечении двенадцатилетнего срока, диктатор лишь инсценировал самоубийство, подготавливая для этого случая специально подобранного двойника, которому ровно на день передавались все прерогативы власти, а затем последний, взобравшись на помост, возведенный на Лобном месте, посреди Красной площади, при огромном стечении народа, остро заточенным ножом отрезал себе нос, уши, губы, другие мягкие места, принужденный умереть от потери крови. Однако в этот раз, в результате явно обострившейся борьбы за власть, все было иначе. Антимонархические настроения ширились. Фронт приближался. Французы расходящейся звездой просачивались в Россию, появляясь там, где вчера их не ждали; на рысях взяли Клязьму, подзадержались под Смоленском, обогнули его, поглотили и потекли дальше. По всей стране бесчинствовали отряды штурмовиков СС (аббревиатура — Смерть Сталину!), составленные из компатриотов, бывших партийцев и функционеров, жестоко расправлявшихся с различными уполномоченными, возвращавшимися поздно и загулявшими бизнесменами, приобретающими концессию у правительства; темный переулочек был чреват бандитской пулей, ножом или петлей для всех сочувствующих оккупантам коллаборационистов. Трупы неделями не убирались с улиц; электричество и отопление работали с перебоями, бездомные в холодные ночи замерзали прямо на улицах, в подъездах и станциях подземки; экономическая блокада, вступившая в силу вслед за окончанием Войны за Независимость, привела к небывалому распространению моровой язвы; но страна не сдавалась. Подействовал ли взрыв народного негодования, сплотивший восдино вчерашних противников, на Инторенцо? Как жил он все эти годы, кто знает? Именно в этот период он пишет теперь широко известное стихотворение «Мне жизнь смертельно надоела», по сути дела без обиняков давая понять посланцу, что считает свою миссию исчерпанной. Графтио описывает трогательное свидание, состоявшееся как раз в это же время у Инторенцо со своей первой и единственной любовью, хотя им обоим пришлось пересечь для этого чуть ли не полстраны. Шел мокрый снег с дождем, лепя моментальные скульптуры, что-то вроде мгновенных дагерротипов, рассыпающихся в следующую секунду, словно калейдоскопическая картинка, — оголенные суставы сучковатых деревьев, верстовые столбы с козырьками снега, домик станционного смотрителя, у окна которого они сидели рядом с плохо вытертым столом с мокрыми, пересекающимися следами, оставленными подстаканниками; разговаривая под споры фельдъегерей и курьеров, которым смотритель не спешил подписывать подорожные. Они виделись последний раз в этой жизни, сами этого не ведая, но ощущая тягостную неловкость от не получающегося разговора, далекие и близкие, чуждые и родные одновременно, не умея найти нужный тон и сказать то, что нужно и можно было сказать именно сейчас или никогда, ибо их время уже кончалось. Он, Инторенцо, так

много думал об этой встрече, представляя себе все совсем иначе, а теперь, не находя слов, мучился от неприличного желания посмотреть на часы и, пользуясь случаем, рассеянно слушая, рассматривал потускневшие картинки, украшавшие стены почтового домика. Картинки изображали историю блудного сына: на первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. На другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; лицо его изображает глубокую печаль и раскаянье. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой стояли соответствующие надписи, трудно различимые с расстояния. Вялый разговор продолжался. Не находя больше тем, они заговорили о здоровье графини, об общих знакомых, о последних новостях войны, и когда прошло, по его мнению, еще полчаса, он, ощущая, что терпеть больше не в состоянии, поднялся со словами прощания на устах. Княжна выдерживала разговор очень хорошо; но в самую последнюю минуту, в то время, как он поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела, а мысль, что она, в отличие от многих, обделена радостями жизни, так заняла ее, что она в припадке рассеянности, устремив вперед взгляд своих лучистых глаз, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся. Он посмотрел на нее своими агатовыми глазами и, желая сделать вид, что не замечает ее рассеянности, сказал несколько слов *m-lle Bourienne* и опять взглянул на княжну. Та сидела также неподвижно, и нежное лицо ее выражало страдание. Ему вдруг стало жаль ее и смутно представилось, что, быть может, он причина той печали, что проявлялась на негативе ее лица. Ему захотелось помочь ей, сказать что-нибудь приятное; но что, он никак не мог придумать.

— Прощайте, княжна,— сказал он. Она опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула.

— Ах, виновата,— сказала она, как бы проснувшись.— Вы уже едете, граф; ну, прощайте! А подушку графине?

— Постойте, я сейчас принесу ее,— сказала *m-lle Bourienne* и вышла из комнаты.

Оба молчали, изредка взглядывая друг на друга.

— Да, княжна,— сказал наконец Александр, грустно улыбаясь,— недавно кажется, а сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами в первый раз виделись в Лещиновке. Мы все тогда были несчастны,— а я бы дорого дал, чтобы воротить то время . . . да не воротить.

Княжна пристально глядела ему в глаза своим лучистым взглядом, пока он говорил. Она старалась понять тайный смысл его слов, но не могла.

— Да, да,— сказала она,— но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете сейчас . . .

— Я не понимаю ваших похвал,— перебил он ее поспешно,— напротив, я беспрестанно себя упрекаю; но это совсем неинтересный и невеселый разговор.

И опять его взгляд принял прежнее сухое и холодное выражение. Но княжна уже разглядела в нем того же человека, которого она знала и так любила, и говорила теперь только с этим человеком.

— Я думала, вы позволите мне сказать вам это,— проговорила она, торопясь и волнуясь.— Мы так сблизились с вами . . . и с вашим семейством, и я думала, что вы не почтете неуместным мое участие; но я ошиблась,— сказала она. Голос ее вдруг вздрогнул.— Я не знаю почему,— продолжала она, оправившись,— вы прежде были другой и . . .

— Есть тысячи причин, почему,— (он сделал особое ударение на слове почему).— Благодарю вас, княжна,— пробормотал он тихо.— Иногда тяжело.

«Так вот отчего! Вот отчего!— вдруг возликовала она про себя, внезапно прозрев.— Нет, не один открытый взгляд, не одну красивую внешность полюбила я в нем; я угадала благородную, твердую, самоотверженную душу! Но он теперь беден, а я богата! Да, только это, да, если б только этого не было . . . » И вспоминая прежнюю его нежность, и теперь глядя на его доброе и грустное лицо, она вдруг поняла причину его холодности.

— Почему же, граф, почему?— вдруг почти вскрикнула она, невольно подвигаясь к нему.— Почему, скажите мне? Вы должны сказать.— Он молчал.— Я не знаю, граф, вашего почему,— продолжала она тем временем, задыхаясь,— но мне тяжело, мне . . . Я признаюсь вам в этом. Вы за что-то хотите лишить меня прежней дружбы. И мне это больно.— Слезы стояли у нее в глазах и слышались в голосе.— У меня так мало было счастья в жизни, что мне тяжела всякая потеря . . . Извините меня, прощайте.— Она вдруг заплакала и поспешила к дверям.

— Рос! Ради Бога! Подождите!— вскричал он, стараясь ее остановить,— вы неприкасаемы для меня и знаете почему, здесь ничего не поделать!

. . . Метель не утихла, ветер дул только сильнее, когда он, спустя полчаса, сажился, несмотря на уговоры ямщика подождать конца бури, в кибитку. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями; ветер завыл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; «Пошел!»— закричал он ямщику, тот недовольно покачал головой: «Эх, барин»,— и натянув на голову треух, что есть силы хлестнул лошадей. Те понесли сквозь буран, который был весьма под стать его настроению, представляясь подходящей рамой для его чувств. Мысли разбегались, сосредоточиться на чем-нибудь одном никак не удавалось. То он думал о том, что так и не написал того

регрессивного романа, о котором некогда много думал и в котором время должно было течь в обратную сторону, начинаясь со смерти героя и кончаясь его рождением. То у него возникало желание написать поэму на какой-нибудь известный сюжет, чьи повороты и развитие можно было бы сравнить, скажем, с мотивом, случайно услышанным на улице человеком без слуха, который, однако, знает, что этот мотив есть часть большой и сложной симфонии или оратории, ему совершенно неизвестной. Увлеченный и захваченный этим мотивом, человек создает на его основе, вернее, на основе своей фальшивой интерпретации этого мотива, свою симфонию или ораторию, в которой хочет предугадать то первоначальное произведение, которого он так никогда и не услышит. Перевернутый сюжет и вариации вокруг него должны были, по его мысли, служить громоотводом, двойником настоящего сюжета; и в этой идее для него имелся солоноватый автобиографический привкус. А потом неожиданно вспомнил, как, вызванный однажды в гимназию, должен был держать ответ перед инспектором и еще одним задумчивым молодым человеком, сидевшим у окна с хрустящей газетой, каким образом его пасынку могло прийти в голову сравнить портрет первого человека в государстве с петухом.

— Не кажется ли вам, батенька, что это слишком уж смахивает на злоумышление?— спросил его инспектор.

— Отнюдь, отнюдь, сударь,— быстро нашелся Инторенцо, прекрасно знавший, чем грозит такой поворот.— Улица — настоящий разносчик слухов!

— Но петух, как вашему сыну...—«Пасынку, пасынку, ваше превосходительство»,— возразил Инторенцо,— хорошо, пасынку, как вашему пасынку могло прийти в голову такое, такое... Петух, просто не поворачивается язык...

Дверь за спиной Инторенцо со скрипом отворилась; раздался шепот, шаги, шуршание бумаг, он услышал несколько раз повторенное свое имя; и вдруг его пронзил громкий, сухой, как кашель, голос:

— Я знаю этого человека,— мерным, холодным тоном, очевидно рассчитанным на то, чтобы испугать его, сказал генерал, в котором Инторенцо с ужасом узнал Мюрата. Холод, пробежавший прежде по спине Инторенцо, тисками охватил его голову.

— *Mon général, vous ne pouvez pas me connaître, je ne vous ai jamais vu...*

— *C'est un espion russe**,— перебил его Мюрат, обращаясь к молодому человеку в очках, сидевшему у окна с газетой. С неожиданным раскатом в голосе Александр быстро заговорил:

* — Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас...

— Это русский шпион.

— *Non, Monseigneur*, — сказал он, неожиданно вспомнив, что Мюрат был герцог. — *Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaitre. Et je n'ai pas quitté Moscou.**

— *Votre nom?* — повторил Мюрат.

— *Intorencо.*

— *Qu'est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas?*

— *Monseigneur!**** — вскричал Инторенцо не обиженным, но умоляющим голосом.

Мюрат поднял глаза и пристально посмотрел на Инторенцо. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Инторенцо. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту минуту, возможно, смутно переживали тысячу разных вещей и поняли что-то важное друг о друге. Формальности заняли некоторое время, но через два часа Инторенцо отпустили.

Однако именно то, что он, несмотря на компрометирующие обстоятельства, был отпущен оккупационными войсками, сослужило ему плохую службу и вызвало естественные подозрения у чиновников известного департамента, когда город в третий; но не последний раз перешел из рук в руки. Очевидно, был издан тайный приказ об аресте и репатриации всех подозрительных лиц, а на Инторенцо еще лежало несмываемое пятно принадлежности к Конгрессу. Примерно одновременно, хотя и в разных местах, были произведены превентивные аресты. Инторенцо, по мнению Афиногенова, первоначально должен был быть эвакуирован вместе со своей семьей, но из-за толкучки на перроне пробиться к двери вагона никак не удалось; и Инторенцо решил попробовать сделать это через несколько дней. Однако после этого никакой эвакуации не было, а то, что он остался, только добавило масла в огонь подозрений. Город тонул в клубах дыма; армия все сжигала на своем пути; за несколько дней до сдачи города, по словам вдовы, за Инторенцо пришло несколько военных и, не застав дома, приказали обязательно быть утром. Утром он и был уведен. Графтио приводит две версии смерти или исчезновения Инторенцо, опирающиеся на двух свидетелей, один из которых вскоре после войны застрелился, а другой на все расспросы отвечал уклончиво, и только через год, встретившись с вдовой Инторенцо в булочной, где он укрывался от дождя и отряхивал зеленую фетровую шляпу, с поляй которой все равно капало, сказал пряча глаза, что Инторенцо умер на этапе от дизентерии. Его рассказ, чрезвычайно путаный и невнятный, содержал несколько противоречивых версий. Вопреки словам мадам Инторенцо, присутствовавшей

* — Нет, ваше высочество... Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. И я не выезжал из Москвы.

** — Ваше имя?

— Инторенцо.

— Кто мне докажет, что вы не лжете?

— Ваше высочество!

при том, как мужа увозили, он уверял, что их этап сначала долго гнали до какого-то маленького городка, и только там посадили в вагоны. Во время перехода их изредка останавливали, приказывали сесть на землю и, скороговоркой прочитав приговор, вынесенный кому-то в пути, наскоро приводили приговор в исполнение. Дальше их везли через Воронеж до Казани, где многие (в том числе и рассказчик) были отпущены. Но Инторенцо до Казани не доехал, в пути заболев дизентерией и невероятно ослабев от голода, усугубленного тем, что весь свой хлеб он выменивал на табак. Тут начинались противоречия. По одной версии Инторенцо полуживого или уже мертвого выбросили из вагона на полном ходу поезда; по другой, после того, как часть арестованных отпустили, его повезли почему-то дальше, и о его кончине рассказчик узнал только в пересыльной тюрьме. А по совсем глухим слухам, идущим, кажется, от другого, застрелившегося по возвращении очевидца, — ослабевший и постепенно сходящий с ума Инторенцо был пристрелен конвоем, то ли за то, что без разрешения побежал с чайником за кипятком, то ли надоев окружающим безостановочным чтением Петрарки на итальянском, ибо в последние дни в нем, очевидно, заговорили гены, и он, теряя память и переставая понимать речь окружающих, стал говорить на языке своих предков. В соответствии со своей ужасающей осведомленностью, Дик Крэнстон уверял, что как раз в это время в осажденном Петербурге погиб и другой конгрессмен, Ялдычев-младший, по слухам, то ли умерший в камере от истощения, то ли рифмуясь с товарищем, был аркебузирован приспешниками Мюрата; хотя сам Крэнстон уверяет, что Ялдычев был попросту «съеден своими сокамерниками». Именно последнее предположение кажется нам наиболее достоверным, при условии, конечно, уверенности в конгрессменском сане потерпевшего, ибо конгрессменский статус (хотя и не в явной форме) предписывал передачу эстафеты в отправлении своей миссии преемнику, в частности, в простейшей форме каннибализма. Предполагая что среди сокамерников Ялдычев обнаружил своего возможного преемника, легко представить, с какой радостью согласился он на передачу своих функций, подтверждая это своей плотью. Лучшего способа мистического исчезновения и трансформации трудно себе предста-вить.

Возвращаясь к Инторенцо, нельзя не упомянуть и о достаточно экстравагантном мнении д-ра Миллера из Джорджтаунского университета, настаивавшего на неубедительности и бездоказательности всех вышеприведенных версий смерти Инторенцо, а также высказанное им собственное утверждение, что Инторенцо мог быть только повешен, либо, что не менее вероятно, повесился сам. Д-р Миллер достаточно остроумно ссылается на разбросанные по различным сочинениям Инторенцо его предсказания о том, что смерть ему явится в виде затянувшейся буквы «о» (то есть через петлю). И не отвергая полностью декораций всех предыдущих версий, предлагает представить себе забытый где-нибудь на запасных путях грузовой

вагон из-под мела, известки или угля, а может быть, и стоящий позади захолустной станции старый амбар или сарай для сена, с жердями, протянутыми под потолком, и сырым запахом проселочного приволья; где, скажем, после непредвиденной остановки в пути или ночлега и состоялся акт магической передачи своих функций пневматическому преемнику. Прав Графтио, утверждающий, что смерть конгрессмена, в отличие от смерти обыкновенного человеческого существа, всегда наступает от разрыва внутреннего существования, связанного с невозможностью дальше отправлять указанные функции. И быстрыми штрихами воссоздает перед нашими глазами полупустой перрон, серо-пепельную, мокрую от дождя степь с поблескиванием на выбившихся из пробора былинках алмазных капель, отдаленный перестук колес, щелчок переключившейся стрелки, отрывистый, густой гудок, от которого замирает сердце; и последний взгляд на разохшиеся стены барака, с застрявшим тут и там сеном, какой-нибудь безжизненный, ровный лоскут неба в прохудившейся кровле; и бросок в неизвестность в виде сузившегося дыхания, узкого тоннеля и быстрой смущенной тени, промелькнувшей в проеме висящих на ржавых петлях дверей; рывок, быстро замершая чечетка ног и путешествие души, которой невозможно не только вернуться, но и оглянуться. И если ветер, внезапно потянувший из степи, захлопнул ржаво скрипнувшую косую дверь, то тень словно накрыла фигуру с размытыми очертаниями колпаком, помещая ее в центр темноты; и лишь свет грязно-перламутрового оттенка, сеявшийся сквозь узкие щелки, создал лучи, наподобие струи проекционного фонаря, которые, пересекаясь, соткали на мгновение нечто странное, вроде светящейся карты, а затем, смешавшись, рассеялись в ничто.

МАХРОТЬ ВСЕЯ РУСИ

МОСКВА 1984

Какому русскому она не есть мать родная, поющая, убаюкивающая, ласкающая, целующая, слизывающая кожу, прикровенные верхние слои следом и обмершую, неискушенную мелкими трудами и привычками оборонительными, саму мякоть души виноградную в себя всасывая, через себя глядеть вынуждающая, своим телом вскидываться, своим хвостом вздергиваться, жабрами пошевелять, одышными легкими повеивать, нежной розовостью девичьего лица вспыхивая, щитом и мечом стальным поблескивая, бровями лесистыми, полушариями холмов влажных вздымаясь, кожей песчаной пупырчатой подрагивая, себя самого покусывать, отъедая куски сочные мясистые, глазами зернистыми в землю упираясь, видя тьму, хляби, провалы и вскипания густо-маслянистые, не мочь взгляда оторвать, отлететь, отделиться, прилепиться к чему-то, пусть малому, незначительному, но отдельному, отдельновисящему, отдельностоящему, отдельномыслимому, чтобы объять ее во всех ее образах, видах, проявлениях и блистаниях, кровоизвержениях, ужасах, как это случилось мне в вечерующий час осени Московской поры густого листопада на кухне у окна прозрачного замершего, видеть ее и одновременно-необъятную и в исторических, развертывающихся глубинах зарождения до точки незначимой и облекаемой, возможно, моим собственным воображением, понужденным, правда, к тому, как в самой интенции, так в конкретности образов геральдически основопорождаемых, когда на дальнем, высвеченным из общего хаоса чьим-то пристальным вниманием плотью облекающим, кусочек оплотненного пространства покачивающегося некий медведь-Мишка объявился, травку сочную, нежную, сочным телом покачивающуюся, нежные уста розовые в ожидании сладостном приоткрывающую, обнюхивал и замер вдруг.

Он навалился как медведь
 На травку сонную
 И позабылось бы — как ведь
 У прочих было все
 Ан нет вот — народился
 Великая Махроть
 Всея Руси

Бывает, утешая плоть
Сидишь и кушаешь лечо
А глядь — в тарелке не харчо
А беспросветная махроть

Куда бежать! где скрыться-деться!
А что бежать — ты ею с детства
И питаешься

Когда бывает воспаришь
К Сорокину там полетишь
Иль к Кабакову полетишь
Иль к Мухоморам полетишь
К Орлову полетишь:
Мой друг, смотри какая тишь
Какая тишь и благодать
А глядь — из них одна махроть
Лезет
Блядь

Сижу на кухне я за чашкой чая
Вдруг вижу — как пузырь надулась дверь
Кто — спрашиваю — там? — И отвечает:
Да это я, Махроть — великий зверь

Люблю тебя — Люби — Открой мне двери —
Сама открой, безумный любовник —
Да воли нет на то твоей и веры —
Ах, веры нет! так и не будет век
Здесь моя кухня
Здесь я сижу
Одним прекрасным днем весенним
Следил я птичек в воздухе несенье

Оглядываюсь — Господи-Господы!
Уйди, уйди, проклятая махроть!

Она же глазиком блеснула
И губки язычком лизнула

Крысиным личком, как Лилит
Прильнула к мне и говорит:
Что, б . . . , сука
П . . . гнойный
Г . . . недокушанное
Вынь х . . . изо рта
А то картавишь что-то

Тут необходимо авторское пояснение, что весь мат, объявляющийся на пределах текста не житейско-повседневного, представляет собой как бы язык сакральный, ныне исчезнувший, изношенный в своей сакральности и обнаруживающийся как всплески неких чувств, неуправляемых обычным житейским жизнепроявлением, неразрешимых простым словоопределением, но и не складывающимся, по причине давней утраченности, затемненности первооснов, его породивших, в систему метафизической осмысленности, но лишь как изумление, ясное и недостижимо-несмываемое стояние перед лицом чуда, светящегося ликом женским, с набухшей теплым молоком мягкой груди, покрытой нежной, растянутой от внутреннего переполнения, кожей, сквозь которую просвечивают чуть расплывшиеся, обрисовывающие мягкие изгибы форм, голубоватые прожилки, ключицы, кости плеч и предплечий смутно заострились от оттягивающей тяжести, текущей ниже, ниже, к животу персико-сливовому, сгущенному и оранжево-матовому от приближения к центру этой тайной, пульсирующей и загораживающей всех и самое себя, тяжести, укрытой, явленной во внешнем дрожании окрестного воздуха, излучений мелькающих, снующих туда-сюда, все обнимающих, закручивающих, в кокон обволакивающих и вместе с влагой извергаемой медленно, медленно, смиряя всякое сопротивление, в себя втягивающих, всасывающих, растворяющих и изничтожающих с пением сладким, мучительным и все отменяющим, одной воле, в иных недрах коренящейся, воле неподвластного высшего созерцания оставляющих быть в рассудке и бытие самоопределяющемсяя

Гляжу на руку — вот махроть
С неверных пальцев истекает
И прямо в землю утекает
А все мы живы, смертны хоть

И из нее вназад, из тьмы
Чудные личности выходят
И черт те что здесь происходит
И в высшем смысле — это мы
Сами и есть

Где моя голова
Да приложится
Там махроть-травя
Да обнаружится

С виду синяя
Снутри — красная
Ой, красивая
Да прекрасная

Ой, держите меня
Ой, во мне мечется
Ой, тут всех порешу

А она ответчица
Да неметчица
Пулеметчица
Антисоветчица
Стихийная

Веселится, ой
Да гуляется
Да махроть-водой
Упивается

А рыгнет когда
Да повалится
Да махроть-вода
Да изливается

Желтым-желтая
Да ядовитая
Лицом юная
Да змеевидная

С легким значечком
Разойдися, блядь!
Да в обнимочку
Ой, да ходить-гулять
Полетели

Где осень расставляла чарки
Средь сада на пустых столах
И чудно лаляли овчарки
Словно на дальних берегах

Заглянет путник в сад пустой
Погладит бедную овчарку
Поднимет и заглянет в чарку
А там — Махроть
Всея Руси

Вот на посту стоит он среди ночи
Прозрачный как кристалл Милицанер
Она же как ползучий зензивер
Отвсюду лезет разъедая очи

Махроть, махроть, дремучая природа!—
Он говорит ей русским языком:
Вот я! Бери меня! Коль есть на то закон
Не трогай только моего народа
Не губи идею

Она свернувшись лежала
Упершись головою в пах
И он растлил ее, Гундлах
Не убоившись ее жала

И вот она, махроть, взопла
Цветком пылающим и длинным
Что по-индийски кундалини
По-иудейски же — никак

Тут необходимо авторское пояснение, что энергия сил, обозначаемых как кундалини, есть аккумуляция в беспространственную точку до поры дифференцированного редуцирования их по иерархически постулируемых на все топографии идеального архетипа человеческого феномена с определенными кванторами каждого конкретного случая проецирования в конкретное жизнепроявление суггестируемых майей частных проявлений жизнепространственных чакр, то есть средостений, синтезирующих в артикулированном проявлении соития материальных аспектов объективации Логоса и бескачественной, всепроникающей, аннигилирующей при чистом соприкосновении самих с собой предельно-критических масс актуальной энергии эманации бескачественного Нуса, переводимого в другую систему как Атман-Брахман

Там где Энгельсу
Сияла красота
Там Столыпину
Зияла срамота

А где Столыпину
Сияла красота
Там уж Энгельсу
Зияла срамота

А посередке
Где зияла пустота
Там повылезла
Святая крыса та

И сказала:
Здравствуй, Русь! Привет, Господь!
Вота я —
Твоя любимая махроть

Вот Рейган изучил Россию
По каргам вдоль и поперек
Любовью даже к ней проникся
Как к глупой девочке какой
Вот щас огромными руками

Возьмет ее чтоб отогреть
На жарком мериканском сердце
Глядь — перед ним она стоит
Махроть
Всея Руси

Она стоит, Махроть-девица
Пред нею верткий Бао Дай
Он говорит: Девица, дай!
А сам в гримасах корчит лица

Она же говорит: Бывало
Я многим некогда давала
Поляку некогда давала
Французу некогда давала
И немцу некогда давала
Что, помнишь сам, потом бывало
Согласен ли

Когда Иосиф Сталин с гор кавказских
С его прямых столбов, небес прозрачных
От птиц, зверей, и змей и пчел певучих
Возговорил на Север дальний глядя:
Приди, приди Махроть Всея Руси!
И тихо стало
И следом нежный голос раскатился:
А что идти? Я здесь уже — и он
Почувствовал вдруг слабость в сочлененьях
И слабость, слабость, ломота в суставах
И вот уже лежит в хрустальном гробе
И смотрит во все стороны земли
И ясно
Качнется вправо гроб — и нету полумира
Качнется влево — и полмира нету
Качается, смеркается, мутится
И душно, душно вдруг — останови!
Остановил — а там и смерть уже
Повеселилась мать Махроть сырая

В наших жилах вовсе не водица
Вовсе и не кровь, похожа хоть
Как у вещей птеродактиль-птицы
В наших жилах древняя Махроть

Что течет глубоко под землю
Обретая всевозможный вид
Ото всех приносит нам с собою
Деток их — а мы как монолит
Недвижно стоим

Огонь небесный и Махроть
Плывут над нашим полушарьем
Тот слизывает всяку плоть
А эта тихо утешает:

Не плачь, не плачь, мое дитя
Всё вечным счастьем обернется
Вот мать из темноты вернется
А там сибирская земля
Пухом ляжет

Кошачьей походкой Большого театра
И нежными жабрами Малого тьятра
И детскими воплями Детского тьятра
Кошачьими жабрами малой дети
Проходит живая всего посреди
Махроть
Вся Руси

Лохмотья затхлого предела
Одолевают... О, Господь
Ветхозаветную махроть
Пошли на аховое дело

Над рыбьим остовом страстей
Вменяя каждый миг в разлуку
Пусть кровею багровит руку
И прахом выстелит постель —
Мы пойдем

Читая заповедь дигистий
Под смутным небосводом дат
Как очарованный солдат
В саду египетских династий

Губами чистыми как лед
На полстолетья замирая
Она шевелит черный мед
Ненареченного Китая

Обрубком полустений
В провалах шевеля
Наветчицей растений
Подружкой щавеля
И волчьим чаепитьем
Вонючим пастушком
И мощным бронетанком
И, Господи, прости!

Читаемо как на духу прощальном:
Возьми и камнем в сердце положи!
Они не мыслят Перстию крещальной
Но точат испоконные ножи

Они поют: Чангар Эсманасохи!
Неимазур, немизамор, шидас!
Садах, садох, сиданувшан, судохи!
Она средь них, она поет за нас

Она поет, поет, хоры подхватывают, растут, разрастаются, ширятся, звук нарастает, нарастает, становится невыносимым, и каждая поющая точка сама прорастает поющим хором, который тут же вступает и сам разрастается поющими точками, все, все тонет, тонет и само в себя все захватывает, все дрожит, содрогается, исторгая звуки на пределе звенящие: Слава! Слава! Радость! Радость!— это ода радости, это Бетховен, Бетховен, Бах, Чайковский, Баховен, Баховский, Бетбах, Бетовский, бетчайбах, чайбахвен, бетхачабахскиофьев, стравинхабехошостский, шостербухкетжов, шенбухстрашопцарт, Шоцарт, Царт, Ский, Кий, Ий, Ой, Ай, Охаминадроза, Охали, Кали! О! О! О!

Краюшком уха, зернышком глаза
Вспоротой полостью рта
Жизнь поднимается розой Ширази
Ошеломля с утра

Нежно-поющая, густо шипящая
Рвущая мясо в лохмоть
Вот она вещая, жизнь настоящая
Именем Бога — махроть
Всея Руси

СТИХИ ИЗ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Идея России

Деревья, утопшие в сером снегу,
и две одиноких вороны...
Идея России, насколько могу
проникнуть сознанием за ровный,
открытый, казалось бы, даже врагу
остриженный холм уголовный,—
идея России не где-то в мозгу,
не в области некой духовной —
а здесь, на виду, в неоглядной глуши,
в опасном соседстве с душою
не ведающей, где границы души,
где собственное, где — чужое.

Сад Девятого января

Здесь пыльный сад похож на документы,
скрепленные печатью, а в саду
печально так... Я выйду. Я пройду
вдоль перержавленной ограды:
в каком-то пятилеточном году
перемещенная зачем-то
от Зимнего дворца в рабочую слободу,
из Петербурга в сердце Ленинграда,
она дошла до степени такой
убожества и запустенья,
что рядом с нею воздух заводской —
как мимолетное виденье,
как гений чистой красоты.

Путь к дому

Бренные дома замученного цвета,
слева пустыри, бетон, задворки автобаз —
даже сладко-пасмурное лето
в человечности не уличает вас!
Да и люди здесь, как письма без ответа,
будто чем-то виноваты,
вечерами возвращаются с работы...
Вековечный транспорт, голос монотонный,
выкликающий поштучно, поименно
эти самые народные пенаты —
ОБОРОННАЯ, ЗЕНИТЧИКОВ, ПОРТНОВОЙ...
Край земли не за морем, не где-то —
вот он, край земли, у каждой остановки!
Выйти — все равно что умереть,
в точку на листе миллиметровки,
в точку (не приблизить, но и не стереть) —
обратиться в точку; выйдя из трамвая,
в собственной тени бесследно исчезая.

Магистраль

Из ямба — никуда! Я знаю магистраль
от Нарвской площади, с ее зелено-золотыми
воротами
(триумф!) шоссе до самой Стрельны,
где строится костяк милиции моей —
порядок вечности смертельной,
порядок медленный вещей...

Трамвай течет, минуты пожирая.
Фуражки сгрудились и вышли у дворца.
Не доезжая до кольца,
я останавливаюсь — и не умираю
от страха, от великого стыда!

Я знаю эту магистраль,
ведущую куда-то не туда
откуда-то совсем уж не оттуда,
вдоль Красненького кладбища... Не вдаль,
но вверх, наверное, уходят наши дни,
уходят медленно отсюда,
не веря воскресенья чуду...

А Ты молчишь... ну хоть бы шевельнулся!
хоть бы что-нибудь шепни.

Юго-запад

Брошенные в траву
оранжевые велосипеды —
будто выросли наперекор естеству
из мичуринской почвы и свежей газеты
лучезарные срезы плодов
просвещения и прогресса
осенью, посреди холодов,
среди остатков дачного леса,
где разбросаны корпуса
общежитий и кооперативные башни
высоко уходят — за поворот колеса,
а там за шоссе, в заовражье...

Город, конечно, растет,
и становятся всё бесприютней
островки природы, в естественный круговорот
заключенные. Русское слово «спутник»
приложимо к чему угодно, даже ко мне,
когда я гляжу в окно и вижу:
оранжевые круги, велосипедист лежит на спине
в порыжелой траве совершенно рыжий.
Тяжелое солнце прокатывается по нему.
Только вчера из лагеря — завтра школа.
Низкое здание, похожее на тюрьму,
за деревьями... Жалко, мешает штора
увидеть — какая откроется за углом
новая перспектива...
Дом, наверное... что еще?.. только дом.
Чудо — если нечистый клочок залива!

Вовремя включенный телевизор

Стемнело. Грянули вороны
свое прощальное. И стихло. И теперь
вздыхает пневматическая дверь,
скрываются трамвайные вагоны
в деревьях перелеска. Изюм всей
дороги в пригород едва ли уцелело
хотя б одно лицо! хотя бы эти, слева,
кварталы спальные... Стемнело. Мне слышней
свербень тишины — внезапной, воспаленной...
Как телевизор вовремя включен!
Да, голоса его спасительны, как сон,
тысячекратно повторенный.

Ловушка

Ловушка? Да. Экран. В объятых эйфории
мне как-то жутковато. Почему
по-человечески они заговорили? —
а лица все темней, похожи на тюрьму,
что второпях превращена в больницу
душевную... Ну что ж, не арестант —
больной всего лишь, больше не боится
начальства, цыриков, команд!
Но волнами совсем иного страха
затоплена душа: ловушка? Да. Экран.
Зеленый свет. Наркоз. Подкожный морфий Баха.
«Аквариума» туркестанский план.

Телемост

В мире, более реальном,
чем приспущенный февраль
над моим районом спальным,
тянущимся к Богу в рай,
не в миру моем — но в Мире,
сквозь безумную Дыру
мечущем своих валькирий
многоглазую икру
на совдеповские стены
и неровный потолок —
в пограничной мне Вселенной
вижу, вижу диалог
двух равновеликих наций
под синхронный перевод:
дескать, нечего стесняться!
мы — народ, и вы — народ.

Хлопочущий Иерусалим

В любой щели поет Гребенщиков.
Высоцкий дожил до большой печати.
Дыханье сперто — и в Д/к Пищевиков
новорожденный Хармс въезжает на ослиати.
Вокруг не Ленинград — Ерусалим,
хлопочущий над воссозданьем Храма
из е д о у н и ч т о ж е н н ы х руин,
где торжествующая Яма
то бездною прикинется без дна,
то рукотворным эверестом...

Но плоский тот пейзаж, каким заражена
душа, как будто связанная с местом,—
он, может быть, единственное здесь,
что не меняется и не уничтожимо —
хоть землю рой, хоть лозунгом завесь
чертеж небесного Ерусалима!
Я знаю: мы давно уже не там
живем, где значимся, где штампу сообразно
расставлены судьбою по местам —
где знают нас и очно и заочно.

На пороге

Боль без утоления. Вкус безумной соды.
Металлисты, панки, любера...
Спертым воздухом свободы
как дышать, когда еще вчера
было так просторно, пусто и знакомо?
Что ни слово — гулкий вестибюль,
и волна похмельного синдрома
по лицу вахтера... Гули-гули-гуль,
голубиные нахохленные годы!
Вечно то с мороза, то с дождя,
у дверей, на лестнице, где-то возле входа...
Не переступая. Не входя.

Оттепель

Тепло не греет. Ноль на пустыре.
Средь ночи снег-самоубийца
гремит по трубам. Серой простыне,
обнявшей нас, не стелется, не спится...
Дыханье затая, на цыпочках, почти
неошутим, неосязаем,
прошел декабрь — и ты его прости:
над нами даже Время не хозяин!
И оттепель неожиданная пускай
порадует кого-нибудь из новых,
пока со мной беседует Паскаль
о воскресении Хрущева.
Могилы отдают недавних мертвецов.
Давление падает. В окно дохнуло гнилью —
и в этом равнодушии весов
есть мертвой точки сила и бессилье.

От новых свобод

Это лишь говорят они, будто пошло отрезвление!
Им не ясность ума, не кристальная чаша нужна,
а нерезкие линзы, где линий пучок параллельный
к перевернутой сводится точке и сводит с ума.
То один, то другой из моих сотрапезников прежних
отправляется в Кащенко или в Удельную, где
из делической дали разлапистый брезжит орешник,
и скрипит скорлупа на зубах, и дрожит на воде
отраженье... Выходят покойными, с дрожью:
коробок между пальцами прыгает — не удержать.
Но от новых свобод, сотрясающих Царствие Божье,
отшатнется, весь белый,— и в койку родимую, спать.

Еще настанет наша другорядь

Еще настанет наша другорядь,
и новое тоскующее знанье
коснется шеи, рвущейся узнать
и холод лезвия, и жаркое зиянье,
и розовый пузырь — и бронзовую статью
посмертного живописанья.

Мне кажется средь мускульных сует,
что гибель где-то за горами...
Проваливается прозрачный пистолет
сквозь бедную ладонь. Искрит, перегорая,
проводка в бункере... А мы до старых лет
предполагаем жить, резвяся и играя.

Похоже, обманул Афганистан,
и заграница утекает
уже в товарищеский будущий туман
с ее компьютерами и поющими часами...
Как чешутся глаза не видеть лучших стран,
ни родины, чья боль не ослепляет!

И сколько может времени протечь
в такой растерянности и в таком бессмертьи?!
Чем больше тяжести я сбрасываю с плеч —
тем выше, выше, не по смете
дороговизна временных долей!
Вот золото. Расплавь его и пей,

и, может быть, еще настанет миг —
мы кровью хлынем из остывших книг.

Двое в комнате

Нельзя писать. Нельзя раскрыть журнал.
Повсюду правда в оголенном виде,
а всё не то — как будто я поймал
кого-то за руку, лица его не видя,

и мы вдвоем, как дети в темноте,
мы двое в комнате, вцепившись друг во друга,
друг друга ловим (Господи, не те
вокруг меня слова!). Расколотая трубка

слетела с рычага. Далекие гудки
поют из-под захваченной руки.

В начале жизни

В начале жизни школу помню я.
Чтобы забыть ее счастливые уроки,
не хватит жизни. Школа и семья,
и волк за окнами, студёный генус локи...

Не знали голода. Но коридор высокий
сиял и плавился, и лысина плыла
директорская... Молоком козла
вспоённые года! ключи мои, истоки
позднейшего небытия.

Пороли редко. Детские пороки
под форменной одеждой затая,
мы погружали щуплые тела
в бассейн, где жидкость ледяная —
где антарктическое крошево Числа
ненатурального — кружило, обжигая.

Почва наша

Начали давить и не пущать —
и дыханье новое открылось!
Наглой власти крепостная благодать —
почва наша, Божеская милость
к людям, чей младенческий урок
проходил под мертвенным портретом...
Мел крошился. Я тянул с ответом.
Окна выходили на восток.

И век серебряный

И век серебряный, как месяц молодой,
над юностью моей стоял, недостижим,—
он модой был, искусственной средой,
он был игрой, в которую сыграем,

казалось нам, сильнее остальных!
Он был успехом, вызовом, затмением
собраний старческих и радостей свиных,
он — просто б ы л. Но чем его заменим

теперь, когда волна воскресших мертвецов
пошла на фантастическую прибыль,
а жизни соляное озеро —

как чешуя библейской рыбы,
с лицом пересыхающим, без глаз,
откуда-то извне разглядывает нас?

Объект эксперимента

Ну что, объект эксперимента,
морская свинка, обезьянка?..
Пора любительниц абсента
затягивается, как ранка,
слоями ткани синеватой,
зелено-голубой, прозрачной..
Упразднена пивная. Сняты
столы. Развеян дым табачный.
Становится бедней и чище
во чреве русского парижа:
уввы! уже не кайфа ищешь,
а так, чего-нибудь поживе —
хотя бы запаха бензина,
хотя бы капли клей-«момента»,
чтобы волшебная картина
(Сезанн. «Любители абсента»),
сквозь химикаты реставраций
пройдя, предстала бы стеною,
где пустота, где мглы роятся
на месте красочного слоя!

Моцарт и Сальери

Ты, сука, что существенного скажешь?
И я стараюсь — говорю...
И рвутся ущемленные пассажи
из горла — и слетаются к ворью
духовные блага в количестве нормальном...
Какую музыку заказывают нам —
такую, Моцарт, мы лабаем,
мундштук прилаживая к сплюсненным губам.

Дочь Колымы

До чего это грустно, что — побочная дочь Колымы —
расправляет свои запоздалые крылья вполнеба словесность
над немymi людьми, составлявшими некогда «МЫ»
их бесчисленных «я», умножаемых как бы на вечность.

До чего это грустно, что сегодня возможно сыграть
поощрительный реквием и, не рискуя ни сердцем, ни шкурой,
помянуть за полводкой из тел человеческих гать,
намощенную щедро над жидко-болотной культурой.

Новый Верещагин

Наверное, из недр болотной армии
подыметсЯ новейший Верещагин...
Удары кисти, шаг за шагом,
за боевыми следуют ударами

десантных групп. Они вернутся, выстояв.
Они построятся в пятнистые колонны
у входа в Министерство обороны,
где их Портрет неизъяснимый выставлен.

Пройдут по залу маршевой походкою,
не узнавая ни себя, ни командиров,—
один полувоенный Киров
пошлет на выходе напутствие короткое,

назвавши каждого отечески, по отчеству,
отпустит потрясенным на гражданку,
на жизнь обычную: зарядка спозаранку
и водка вечером — когда ее не хочется.

То же самое

То же самое. Те же картины и книжки.
Те же люди... но словно бы челюсти чьи-то
их жевали годами — и нынче они знамениты,
воскресая в огне фотовспышки
со своими измятыми лицами, с робким набором проблем...
Исполняются сроки — и мертвые снова диктуют
свой колхозный коран, свой кораблик бумажный... Да кто их
нынче слушает?! Мы существуем не тем.

Я не тем существую, что слушаю или читаю.
Это верно, что время работало с Вечностью в паре,
да не те уже силы — и по вечерам выступает
в самодельном оркестре впустую
перед залом, который на четверть наполнен
сослуживцами или друзьями студенческих лет...
Помнишь век пережитый? А ежели все-таки нет —
мы подскажем, напомним!

Конец

Начать бы наши посиделки
с конца... С конца — да не с того.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.
Но чем же гости виноваты,
что их душевный разговор
из раковины, из цитаты
не выплеснется на простор
речной волны... К тысячелетью
Крещенья Гефсиманский сад
под бронзу выкрашен, под сетью
деревья чистыми стоят.
Откроют несколько музеев,
высоцкого переведут
в шаляпины, а иудеев —
чтобы не царствовали тут —
отправят с Богом восвосяси,
и даже трудный Пастернак
покажется смертельно ясен —
он апостроф, надстрочный знак
над незамаванной словами
строкой из верного письма
на самый Верх — куда мы с вами
взрыва-

ем.

март 1987 — март 1988

ЛАДЬЯ ТЕМНЫХ СТРАНСТВИЙ

Не более, не балуй. Природа дважды обманула. Да, и еще какое-то искусство — какая-то внебрачная игра самцов. Девушки рукоблудствуют, начиная с мифов. Жизнь как вздох без выдоха, короткая, мучительная. Ум хорошо, а два сапога — пара не лучше. Чужое мясо называют говядиной. На всякого мудреца довольно семи граммов свинца. Время гаечно-аграрных романов — проливной дождь, преимущественно без осадков. — Нефертити с пластмассовыми носами пили пиво — но этого мало — не хотите ли купить замок? — Весенняя грязь — незримый, возвеличенный удел. — Смущенный сумрак единокласснического восторга. — Ты сел в лодку, надо проверить перемёты — четыре взмаха веслом. — Игра в лобные кости, шестерки нет. — Еще четыре взмаха веслом. — Исполнить путь спасения в созерцании пути? — Успеть бы доплыть до острова, надо поднажать. — Страдание мирового круговорота выжало из Тебя осадок жадной мысли — мир, мир дому твоему! Но есть ли дом, Ты? Иногда казалось, что дом — это череп, неприкосновенный, хрупкий, любовно выточенный из кости. Как часто топтали твою неприкосновенность, Дом! Звук, запах, боль, сон — эти приживальщики пытались свить над твоей крышей гнездо. Ты отгонял их, они мешали рассмотреть комнату, камин, кровать. Столовой не было, видимо, скрывалась где-то в подвале. А сколько приказчиков и хозяев помимо этих приживал! И единственный законный постоялец — мозг — амброзия посюсторонних дновидений. — Ржавая уключина скрипела — куплеты железа. Ты наклонился осмотреть перемёт. Заменял живца, распутал леску, тихо отплыл от рогоза. — В дни чугунной депрессии, в дни безрадостные (а радостных, как оказалось, не будет), в дни отчужденности, тупости, смятения, в дни мучительные, тяжелые — в такие дни ты приходил на кладбище и наблюдал сцены похорон. Это отшибало чувство пустоты, ты остро ощущал, что наполнен кровью, и радовался холоду, теплу, дождю. «Чужая смерть животворна». Ты возвращался домой с освеженными ощущениями не то что жизнерадостности, но — свободы, силы, надежды. Мертвые не потеют. — Ты

подплыл к другому перемёту, на колышке висел только обрывок лески. Жаль, последние кованные крючки из синей стали. Они были для тебя ювелирной ценностью. Но до острова еще несколько жерлиц.— По уржовине колкой, по метастазам дорог, днями тягучими, по щабобам битых эмоций, по жаре в пустоте ты добрался до этого озера, до этого темного, светлого, чистого, грязного, длинного и короткого, мелкого, глубокого, полноводно-безводного озера. Ты знал, что здесь будет встреча. С кем — неизвестно, но ты догадывался.— На одной жерлице был сом, на другой — щука с тремя глазами и серебряной серьгой на жабре — чудеса начинались.— В мелколепье дум появилась лотосолиция певунья. Где-то упали осколки смеха, дробь припляса. Всплыли пироги сознания.— Ты наклонился, чтобы увидеть дно. Там шевельнулось.

Задумывался ли ты: сколько стоит стакан воды? Нет, не в походе, не в безводных краях. Последний стакан, предпоследний; стакан, который тебе принесут. Да, и над этим — да! Если до сорока лет не женишься, ты обречен на связь с кастеляншей или на конкубинат с матерью-одиночкой, имеющей троих короедов и способной терпеть полумужа лишь потому, что ты забиваешь гвоздь и меняешь половицу. Конечно, у тебя есть средний заработок и жизненный опыт. Но ведь смазливый взвод женского пола уже разобран, хозяйственницы, мастерицы, тихони, умницы растасканы по норкам и успели испортить зрение от чтения прибауток, склонившись над рукоделием, вышивая гладью,— лакомый сюжет для художников с бисексуальной ориентацией. Да, тебе придется закрывать глаза на диспропорцию голени, на волосатые уши, на каноническую глупость, на домашний шпионаж, на крики: ты меня не любишь! на рёвы: мало работаешь! И всё это ради стакана воды, который тебе могут принести на старости лет в постель, а могут еще и подумать. Но нужен ли тебе стакан? И не проще ли носить э т о т стакан с собой? А может быть (гениальная мысль), носить портрет э т о г о стакана? Как ни странно, стакан с водой — основная аллегория семейственности. Если изваять его из платины, инкрустировать рубинами, изумрудами, топазами, а в него налить... чего бы налить?— ну хотя бы живой воды из сказки, то он достанется тебе почти даром по сравнению с последним стаканом воды, в стоимость которого входят расходы на досадебное обаяние, на свадебный жор, на комнату, на жратву для благоверной, на пищу для ребенка, и если в месяц ты зарабатывал 150 единиц дензнака, то за 20 лет семейного джиу-джитсу кредит на получение стакана с водой (или на изъятие одного) составит 30 000 единиц дензнака. Из железа, ушедшего на эти деньги, ты мог бы отлить стакан весом в 800 тонн. Я бессилен перед поговоркой (мудрой до содрогания) — счастье не в деньгах. А еще скажешь, что тот ручей, у которого ты иногда сиживал, дарован природой, лес дарован природой, но добавишь с сомнением: и я дарован природой... и замолкнешь... кому? Таково добавление к воде, все-таки преподнесенной в стакане (мир не без добрых). И замолчишь навсегда,

прошептал: зачем? Этот вопрос тебе не позволят задать, заткнут рот подушкой, ватой, соломой, зальют камфорой, чугуном, аргоном, кашей — знай наших, мол, мы мужественно помогли тебе вытянуться до последнего вздоха. Но всё дело в том, что этот вопрос ты задавал еще тогда, когда был силен и немощен, болен и здоров, велик и мал, когда тебя не было, быть не могло, не должно.

Как-то раз показалось мне, что Там вставал кто-то другой. Бессмысленно искать определения этому нечто-никогда-некогда-бывшему-без меня. Он или она оттеснял меня в дальний угол палаты. Палата, дом или — неважно — существо было раза в четыре, или в сто, больше меня. Серое, скользкое, оно застыло без энергии и просило только одного. Внимания. Но для этого требовалось много сил. Они в те времена были невозможны. Молчал и я. И я погладил хоть что-то. Можно сказать: «погладил голову». Некто заскользило ко мне. И мы перепутали роли. Две руки гладило две головы. Ты понял. Признаки пола: портфель, голос, очки — еще не появились. Некто еще и еще раз дал понять, что желает сострадания. Медленно я почувствовал: оно ждет не ласки, а удара, не успокоения, а уничтожения. Нет. Погибнем вместе. Не стану бить. И начну последний путь рука об руку с тобой, ангел мой! Нечто засмеялось и, приняв странное положение, выражающее, должно быть, мольбу, замерло. Ты не имел права убивать, но что я знал тогда? Отвернувшись, я погрузился в воду. Разбудила меня досада. Она сменилась завистью, зависть — уважением. Как мог мой сотоварищ по будущности так скоро понять трагедию исхода? Оно желало исчезновения. Несколько раз мы касались друг друга, и восхитительная дрожь (я испытывал подобное наслаждение, когда менял шкуру) выводила меня из оцепенения... Но я молчал. Я не хотел и не мог помочь. Молчание сотоварища продолжалось. Я впал в забытие. Когда оно кончилось, обрадовался одиночеству. Радость безгранична, если не считать легкой тревоги: что-то улиткообразное, оставшееся от моего(-ей) родственника(-цы). Вскоре я распрощался с тем, кто растворился, не родившись. Когда выпал, вышел на холод, и время начало свой круг, кричал, отбивался: к нити, связывающей с тем ушедшим миром, приблизилось два ножа. И я проквашал: Нет. Нет! Не хочу — рвались из тебя крики — не отрезайте дорогу назад. Я протянул руки, защищая нить, и нож нащупал меня. Я остался без рук, затем лезвие оборвало последнюю связь. Удушающее Вон. Между первым и последним вздохом предстояло. Оно уже дыбилося, накручивая на меня, кололо, прокалывало спину, ноги. Искомая боль вливалась в рот, а паралич тряс... тело трясется до. Пока. Однажды я пытался вернуться. Может быть, продвинувшись по подушке, я заполз и в свою крепость? Начал путь, изнурительные поиски привели к краю кровати. Последовал укол. В голову проникла едкая жидкость. Стальная мудрая игла. Попытки повторялись... Абсолютная тьма — кто-нибудь ее знает — не отнимала у предметов свой

цвет. Все они были сплошь меняющиеся, пересекающиеся линии, безмолвные раньше и после, до меня.

Лежал на столе горела лампа освещала разрезанную грудь, открытую для света сердце последнее билось последние минуты, чья-то рука держала его в своей приятно-холодной власти ладонь поддерживая сердце снизу, открыл глаза закрыл свои открыл, рука принадлежала сове с женскими грудями уже иссохшими, она курила пепел падал на открытый дряхлый мотор, она сказала небывалая эротика держать в руке бьющееся сердце, сказала еще скоро мы расстанемся совсем, я сохраню на память эту книгу ты долго писал молодец счастлив и я рада и счастлива вами созданным воображением беспощадным к хозяину власти слов к вам, она заплакала капая слезами, они падали на меня прошивали тело пути утреннего расстрела затем швырнули в лодку и до сих пор кто-то носится в ней по темным волнам в неизвестных морях в неизвестных мирах.

Как червь во флейте задремал у истоков антимира; хотелось продлить сон — жаль расставаться с Пустотой: тоны тонноклокотов: оратория тертаротрат. Свет лопнул — роды глаз. Долго, до последних отжатий слезных желез вопрошает искатель щей. У кого? Но ни болт, выточенный до универсума, ни всезаполняющие хлеба не дадут ответа. Монолога не... Диалога не. И что бы ни делал — отсюда ноги не уберешь. Мир — больница, в коридорах которой в жмурки должно играть. Что поделат? пожизненный иск лазаретных щей. Конечно же, помнишь их вкус.

Непонятное так наскучило, что злостно ударил по небоскату и сбил мошкору облаков, кинул их к ногам Отца.— Что ты натворил?— Мне что-нибудь поинтереснее, чем жизнь!— Хочешь видеть горы музыки, летающей внутри черного света?— А такое бывает? за стеной: грядущие будут вспоминать нас, и это согреет путников. Добрые и внимательные будущие поколения скажут спасибо за то, что вымостили дорогу мы. А когда они станут прошлыми, будем еще более благодарными за то, что они придумали нас — несуществовавших. Идите, идите в наш мир, здесь каждому найдется лунка, чтобы сплунуть в нее сердце и, сплунув, звать других разглядывать рассветы. Здесь каждому найдется учитель, который научит слову, и вы еще долго будете звуками слюнявить вход в пищевод. Гули-гули, кис-кис!

Ты погрузился в ощупывание мыслей; не находил даже следа. Руки, обязательства, страх, комната, душа, скучающая по своей родине. В часы твоего сна душа улетает в свою страну, к запредельным истокам, к подругам, где крылатые тени успокаивают друг друга: осталось совсем немного, скоро кончится бред одичания с музыкальными погремущками, обещаниями тех, кто сдает комнату. Домовладельцы уйдут, дорогу помнят по наследству, а истосковавшиеся

уставшие странницы соберутся вместе. Они горько смеялись: какой кошмар!— постоянно уговаривать своего хозяина БЫТЬ, батрачить на него, придумывая успокаивающие сны, носочные заботы, песочные письма. Подруги, собравшись, пожалуют о выброшенных годах: молчат; и, наверно, кто-то из них сочувственно отнесется к дальнейшей судьбе покинутого хозяина. Встречаются и такие, у которых являлась нежеспособность; бережливые, им удавалось защититься. Такой мечтательнице непременно вспомнится то, как в редкие часы дружбы, в тревоге за будущее, они успокаивали друг друга: не ты виновата, и не ты виноват, не ты первой покинешь меня, и не ты. Но приходил мир забот, заслоняя Мир: ненасытный молох пищевода поднимал вой; его дружок — клзет — был голоден,— тоже — симпатия!— любовь. Обмой, злотканый, облик блика мой.

Надо навестить тебя, ободрить, пораненное твое, в котором преснеуют слизистые течи. Мне кажется — ты долго не протянешь. Это поняла там, дома, когда улетала в ночные часы. Путешествие, поезда; я смотрела на лампу — я — помню — в — день — нашей — встречи. Всё кружилось и кружилось вокруг нее; рядом со мной дряхлая бабочка и слепака-шмель, а ты ночью с лампой собирал мухоморы. Тебе еще не отпилили корни... Под комариным киселем в кисее капель пота-крови; тебе попался участок, богатый грибами; ты высматривал и выискивал самый большой гриб, под ним дремала змейка-сказительница, и если бы не я, кусившая ее в глаз, в раскосую пропасть фантастических дум, она бы увела тебя за собой. Но мое благоденье не было замечено, стоит понять. Ты нелогично не убил меня, а, подставив палец,— я вскарабкалась на него,— поднес к глазам и любовался. Я поняла — ты не тронешь; какой смысл?— в мухе меньше паразитов. Да и красива я: шевиотовое брюшко и глаза — братья-аметисты. Правда, ножки кривоваты — немолода. Поползла по твоей руке, отпылав симпатией, покинула тело насекомого и переселилась. Бездыханное тело мухи затерялось где-то внизу.

Памятна одна ночь. Ты спал с тяжелой болезнью. Я, решив немного отдохнуть, впервые столкнулась с Ужасом, Афродитой и Безносой. Они сидели на кухне и пили сваренный петушиный голос-яичницу. При этом обсуждали твое поражение. Афродита сидела на твоих собранных пожитках в беспрерывных обмороках. Ужас, отощавший в просвещении, говорил: если Афродита уйдет — мне нечего делать. Громче всех визжала Безногая, она была с ветрянкой, с зубом чугунным, державно отлитым, девица центнеров в девять. Кстати, не такая она и безногая... Она умоляла собеседников умалить увяданье и доказывала, что паника преждевременна, еще не время для бегства. Затем говорил Ужас—чистенький, каменномысый. Он говорил—долго — красиво — чертил схемы: мечтал компромиссно. На меня (сидела на стене) даже не взглянул, лишь Афродита пролила: шляется всякое быдло...

Несмотря на контракт между мной и хозяином, я почувствовала возрождение ненависти. Хозяин сказал: слишком много приношу боли, пришла пора разлуки. В следующую ночь улетела на отдых, как всегда, оставила вместо себя хоровод сновидений. Но вернувшись, не нашла никого. Ночь задыхалась, близилось утро. Мне угрожала гибель, если не найду себе дом, хоть какой-нибудь. Скорое солнце. Какой-то декабрь, ледовый шторм; вода поднималась; холод и Одинокое. Упала во двор, влетела в подвал, впилась в единственное — старую кошку. Не повезло: слепая, ошпаренная смолой, по которой ковлялись одрябшие вши. Поселившись, затряслась от хохота, кинулась в окно, волоча хвост, испачканный в смоле. Во дворе дети варили второй котел. Долго пытались загнать в него, но кончились дрова. Котел остыл. Тогда, подцепив крюком за лысеющую ляжку, потащили на седьмой этаж, протащили мимо богини с пристяжным глазом. Оглушенная темень. Сивый великан — официальный злодей из юных любителей респекта — держал в одной руке свистящую стрекозу, а в другой — меня на крюке. На чердаке зажгли свечи на пироге, пыльные танцы, пуды искр. Говоры о полете. Речь обо мне. Подвязав к огромному насекомому, дали свободу вниз. Падая, увидела в окне шестого этажа мольберт, в окне пятого — кровать, книги, муравейник на столе, на втором этаже — человека со змеиной головой во рту, на первом — уже перед землей, когда стрекоза выломала крылья, — раненое лицо девочки: она жевала букет маргариток, рисовала убитую. Закончив рисунок, бывший на самом деле, она расхохоталась мужским голосом отца, который купил велосипед (сейчас он ржавел), а краски были старыми, ржавыми, как тот гвоздь в подвале, об который — или на его брата — накололась шина в белую ночь, в летнее антистоянье летела она от одного хозяина к другому, не чувствуя крупя, в нем не было точки: прокол, остановка, паденье — давно — когда уже повзрослела; и, проезжая через спящие мосты предгорода, не знала, что надвигается с другого предгорода шторм ледовый — не вовсе июньский — было лето — стоял декабрь: согласие времен в разногласьи. До июня надо идти с другой стороны, с той, с которой она подъезжала в декабре: скользко; стремление резиновых дисков гнуло хорды мостов истощенным набегом.

Ты размышлял о том, что во всей догматике падения самое глупое — «нелюбовь к себе», отказ от себя и, вместе с тем, ожидание другого «я». Потеря «я» — и вовсе неважно, каким путем ты пришел к этому, — имеет неприметный момент — в то время, как ты искал якобы истинное «я», пора было искать третье «я», и даже не пора, надо. Невидимая категория отчуждения прошла, и в поисках третьего «я» ты вновь придешь к ПЕРВОМУ ВОПРОСУ, к старой конструкции изначального эго, теперь испытанного в боях за себя, сильного; и тогда ты, измотанный и постаревший, не сможешь сопротивляться и никогда не двинешься в Путь. Всё чаще являлось к Тебе (к Нему, ко Мне) ощущение, что его (твоего) «я» — это не «я», а истинное «я»

живет где-то вдаль, не Здесь. Тогда ты начинал скучать по отсутствующему, искать, пытался догнать далекого спутника. Но у далекого «я» были другие дела и заботы, а тутошнее «я» должно было оставаться ваятелем зет. И, что бы ты ни делал, доносился лишь Хохот. Он размножался. Когда же ОН (ТЫ) сожалел о невозможности встречи с другим «я» — приходило ощущение, похожее на сострадание, — единственное напоминание существующего второго «я». И тогда он отходил от себя и, прочитав вчерашний монолог, глядел на то, что было его убежищем. Задавал вопрос — что ему надо? В пустоте солнечной бесплотности — вновь вопрос. И Хохот становился твоим товарищем, другом. Когда он обращал взор в сторону нового друга, готовый уловить сомнение, сон смыкал глаза. Хохот становился покорным, готовым для монолога. Слова рождались каверзные, состоящие из тяжелых звуков; они кружились у ног, вглядываясь в лицо. Волшебные сочетания: ДаНет — НетДа; сочетания означающие, но не раскрывающие.

Как хотелось узнать час Начал: Где вы, бесовские дудочки? Беславия в беславии. Образная ловля Ворон ходит по рукописи и спотыкается о слова. Он разглядывает его.

Вечер за окнами, за окном ночь с обеих сторон. Пытались вместе с вороном реанимировать тишину. Ворон думает о собственной доброте: не выклевал глаза хозяину, когда тот вчера уснул. Хозяин: сколько птичьих полетов вскормлено глазом! Улыбка знакомого кроводавца.

Кому нужен путь? И если блажные знают, отчего молчат? Прикидываются, что довольны склеиванием коробок.

Замерзли руки, но продолжал: чего жаждет слово? — коробочек, пустынь, бестелесности. Тема страха, носок, пищевода — эти темы для Слова ли?

(В день собственных заминок повторить бы сказанное выше.)

Надоело ждать. И жертвы некрасивы, взаимозаменяемы, безлики. Сколько их взбухло и растаяло в столь обожаемом пейзаже. Пейзаж тоже хорош: для кого-то бережет самое ценное — картину потрясений. Попробуй не полюби объедки пайка: лес, горы, море. Дряхлый скопидом. И жаль былой привязанности к нему; столько усилий зря. Руки совсем замерзли, но язык ворочался: время угловатых сказок: жили — не были. Дальше сказки фантазия не идет а Безноса в детстве на велосипеде каталась, цветы собирала, придумывала духовность в виде мухи; циклические композиции, иррациональные отправления...

А между тем...

Афродита бодро готовилась к службе. Позавтракав крокодиллом, запеченным в мармеладе, Безноса заплетала ей косу.

Вчера долго на кухне дзенькали колокольчики чайных стаканов и кричала до утра Безноса: мерзкие дети, если не исправитесь, покину вас.

Ужас клеил душу. На губах Афродиты студень из пантокрина. Безносой явился сон: озверевшие лошади, из которых росли елки. Да. Она и проснулась от брызг конской свадьбы.— Ты нахальная баба,— говорила Афродита,— даже не краснеешь!— Чем живы: цинизмом! А кто его обновит? И ты тоже.— Это верно,— подхватывала Афродита,— театральное «Летите, лебеди, летите». Мы заказывала своих в шляпах не бросаем. Последний урок вежливости когда с Фатумом закончено дрызгобоище. На эстраде мраморный подшейник Нож вскроет грудину от горла до паха. И шепот: ты слишком долго копался в механике собственного. Мастер вытащит за шею птицу в белой мантии. И в этом приемеше-дочеришке увидит все причины речи, оборванной до вечности. Этот последний отец без работы никогда не сидит, молодцы-красавицы для него стараются. Потухшая богиня с броневыми зубами приходит повидать пернатых. Хохотулечка мертвечинку кушает. Иногда недовольна оказанной честью.

И что за народ пошел,— говорила Безноса, — всё спешат поюродствовать на мою тему. Черные плащи, разбитые зеркала — детская мистика. Пока в рот ананас лезет — никаких крестов. В свою смерть не верю. В самом деле, кто докажет мне это? Вот и клиенты мои и твои так рассуждают: с другими происходит, а с нами не произойдет. Продолжение пути принимают за случайность. Не пора ли поменяться местами. Скоро земли не хватит, вдавливают в прадеда, в отца, в мать. Нормально,— продолжал утром ты,— истину в галантерейном магазине можно купить, а затем проваливай. Как можно? Теперь самое время послушать о сострадании. Или — кинуть грош нищему, чтобы разрыдаться от собственного милосердия. Сатанеют молоки в жилах игристых, будет повтор нулевой, который станет рвать прядь мозговую над пошлейшим вопросом.

Ты бродил по незаконченным лабиринтам; время от времени темнели на стенах доски: памятники архитектуры. Летел игольчатый дождь, гуманный спутник. Перепончатые крыши получали порцию воспарений. На чердаке сидели летучие мыши, уверенные в перевернутом мире. Лизал их воздушный поток.

Как сладостно уцепиться за носителя памяти, хоть какой-нибудь, лишь бы память. Ужас бродил по чердаку с томиком стишат, с узеньких плеч свисал плед. Прислушался к дыханию спящей Безноски — она в горячке, вчера катались на лодках, перевернулись. Ужас вылез сухим. Он надел пенсне, поискал в оглавлении «Утешенье» — гаденькое стихотворенье с прихлюпом, с очертаньями зубов, пахнущих воплями; пейзаж, небо города. Захлопнул томик, подошел к окну, сквозняк. Задумался: слишком задержался, когда же подадут поезд. Вещи давно собраны: галстук, пиджак, перчатки. Посмотрел на асфальт. Взорвалась лампочка, кудряшки вольфрама остыли. Поправил одеяло на Безносой и вышел из чердака, вошел в пустую комнату, в ней много народа. Шел спектакль. Давай

поболтаем! Хочешь вина? Сердце? Ничего, бахус растрясет. Отчего так поздно? Веселился с девочками. Под вечер кровь из носа пошла. Переусердствовал. Гадко? А не кричать на меня. Сердце? Скоро в путь. Не грусти, почитай на сон что-нибудь о глине... Поверь сыну, я тоже... хотя в детстве перед ликами на дудочке играл. Ласковые пастушечьи трели-звуки. Пытался убажить. Молча слушали меня и качали головами, сейчас знаю почему... А на другой день хмурились, и снова играл я, но хмурились они больше... Незадолго до этого научился обуваться. Помнишь. Потом ты купил мне маленькую карусельку. Болванчики на картонных лошадках крутились вокруг шатра, никак не могли оторваться. А я заводил пружинку еще и еще. Бокал грязный, возьми другой. Хм, о чем это я? Скучновато, зеваю. Слышал анекдот про пьяную обезьяну? А я и не кричу. Забыл, что тебе вредно... и я . . . я . . . да, уважаю, но любви не получилось. Не бойся, в дом застарелых дотащу. Соседи не проснутся. Перед глазами образы милых как они повизгивали. Ничего, старикан, не завидуй, в свое время тоже неплохо веселился. Да, всё думаю, сколько таких вечеров осталось. У тебя-то они давно прошли. Последний пистон чистыми руками. Поиграл свое и хватит, теперь можно за газету, где-что-кого, собирание грибов, тайком от семьи пить, плакать над запрятанными письмами, далекими бумажками юности. Запретно-далекое! Нравится, как я говорю? И мне. Ты трясешь головой; ха, старик трясет плешивой головой Но когда-то, о! Когда-то со своей любимой вы тоже . . . Медовый месяц, всего месяц, не год, не десятилетие... Она и ты, загорелые, в белых костюмах. Домик с верандой с видом на море с веселым лицом, теннис после завтрака, затем купание в уединенном. Моя любовь! Два водовода соединились. О, моя дорогая. Конечно, клятвы... и ты, и ты... Задыхаются... Еще не соединились, а ребенок пойман. Друг друга успокаивают: не ты убийца, и не ты.

Снег; триллиарды иголок выстлали музейную простыню на шарк тротуара, на цинк крыш; одинокие снежинки из тех, что посмелее, уносились к холмам на севере, спортсмены ладные любили там жизнь и себя и снега, вор у воздушных ворот робок и кроток, ленивый утренний воздух на скорости больше ста двухсот больше в километрах, утоляя голод риска, с гор лыжник; глаза Свои закрывает повязка чудес мозговых скорость больше, в дерево, раскол Неизвестных, лицо в ствол, скорость погасла, мысль же в разбег утаив и в листьевхойную крону сквозь просветы нитей древесных древа с вершины летела мысль несла к весне свое тело, снег, залетев в форточку, ложился на пластинку оркестра, вновь в окно улетал, прилетал в это окно через год был виден газовый завод начинал пробуждаться, светало, немного, свет подкрадывался в контуры предметов, затем в полутона, в комнате, неизвестно где никому ничего никогда, некогда лежал человек, шепот, шепот мягкий чудесный, умный шепот нового неизвестного никому ничего никогда да начало с «и», оно, это «и», есть приглашение, не-о-пре-деленность

и неопредельность в письме, добавление, связка, рука, нить, замок или пальцы чужих неизвестных существ на глазах, на шее, указующих направляю «и» это вакуум, он будет заполнен, позже, и когда стихнет, угаснет, уйдет музыка память? они вслед за тобой, забытая песня лишь мертвая зыбь, зов бесконечен в мирах, распрощавшийся с действием с жизнью с понятием в нас, кто он Звук что помог нам сдержатъ дать укрыть от всевидящих глаз раз познавших в мелодии лишь ход и прощанье но с кем? пейзаж манекенщик природы, птицы пусты они чей-то полет океан глубина или путь долгое шествие на дно, вода к воде прикосновение, она в воде, метафизика глаз, доказательство, озера и звери предметы желаний, быть может виденья, толкую о бездне, гонит в небе воздушные струи она унося утешенье, утешенье для призраков, которым никак не исчезнуть, и уход если он состоится лишь обман, быть нам вечно в пути, в то время он издевался над со знанием законов, окружавшее свободное слова растворялись как пруттик ускользали чем чаще испытывал себя любовнее становилось отношение к собственной боли, комичнее представлялась разлука с ней, праздник откапывал легкое сознание отделялось безболезненно и созерцало с глазами поднявшимися черное и безголосое тело праздновало заключительную оргию, мозг был единственным гостем, удары, рука, треск кожи, визг кровати, пух волос, пачка криков, вода, вода, сабля, труба, визг, надо, шепот, надо, борьба выглядела неискренне призрак молчанье хватка за ноги головой в стену хохот цветы слезы обиды, надо, смех глаз, долгожданное время, каникулы телесного единения, еще бьется сердце честный извозчик, всю пирует глупая печень, полон оптимизма мочевого пузырь пока живет всеми забытый спинной мозг трудяга уже отдыхает скоро в путь, мозг радуется ему и только ему предстоит закрыть занавес, белковая громада готовится к последнему пisku просто готовится просто глаза неизвестно куда именно и конечно мозг скорбит со всем богатством придется стать вязью для небольшого сожаления, он спешит посмеяться над остальными, понимая гнусность смеха другие не знают, да и по какому праву заботиться? именно мозг теряет больше всех в плохую компанию попал его друг спинной уже начал филонить спешит отдохнуть, оставил без движения левую часть тела ему как и другим идиотам обещали продолжение, подальше от таких друзей, а глаза? они не смотрят на эту куклу просящую до сих пор чего-то глаза вылетели в форточку посмотреть на небо долгожданное тело билось в простынях в глазницах застрел пух много терпел ты от падали навязанной силой почему ты должен как и они стать говном вместе со Случайными друзьями, совпадение, трагическая оплошность, если бы знать раньше, есть же выражение сойти с ума, отойти, уйти, но поздно, ты попал в положение уходить последним если повезет и не дезертируют глаза, хотелось бы увидеть последний миг, самый последний важный перрон, сейчас в тебе начинают проясняться затхлые уголки памяти, воспроизводя начало того, что уже, путь, из зоны обоняния

сообщают, тогда, давным-давно был запах остывающего гвоздя, затем страшное долгое Существительное, длившееся неизвестно сколько, в памяти всё стерлось, осталась неуверенность в том, что это был именно твой выход, но это позже, а до того целое путешествие, вот неплохой кусочек, ты как будто в лесу, ты толст, ломаешь ветви, стволы, и не идешь, а летишь вскользя по кронам и по-над землей, в зависимости от погоды, огромно, студнеобразно, куча хвороста, черное, на черном фоне леса шепотосмех, бряцанье кеглями, группа голосов, хотели сперва вытрясти из убежища, а потом достали лопаткой, которой оторвали две руки, осталось еще две, это был период, леса не было и ты носился по тамошним сферам девственником, не вспугнутый ни кислородом, ни обязанностью, однажды ты услышал пульс и шуршание, так шуршат змеи, вылезая из старой шкуры, прослушивание, вынесенье заговора, ты ощущал через тонкую защиту плаценты огромную трубку и ухо в халате, удушье, сон подлетел к беззащитному предмету или к тому, что было вместо него, хищно поглотил твое спокойствие, впоследствии вновь обретенное в скачке по асбестовой плите, ты, содрогаясь и сожалея, искренне и бесконечно понимал ужас происходящего.

Желанный стройный светло-коричневый тобою рожденный Ужас. Как ты несчастен. Немощен. Ты, Ужас, болен. Но и твоя болезнь не смертельна. Вернутся твои разноцветья, станут совершеннее. Ты все время в работе, мой друг, в заботах. Измучен шумом, бессонницей, иллюзоном. Это и это не повод для Печали. Вы встретитесь. К тому же ты очень точен, мой единственный утешитель любимый. Ничто не разлучит нас; буду делиться последней коркой, возможностью. Буду на ночь читать стихи, оберегать сон, а когда заболеешь, закрою рот, заглушу, постоянство не должно тревожно быть, судьи. Читая всей семье на ночь сказки, оберегая сон и твой, сын, и твой, моя дочь, и твоей сестры, моя дочь; дочь моя! Сон был спокоен и твой... Мы ходили по саду, я читал. Любимые стихи. Если же случилось бы бесплодие, все равно читал, а когда захотел,— кричал чтением вслух. Ибо нельзя про себя отнимать у живых пищу, и жизнь. Да. Тебя, Жизнь, я приметил давно. Был тогда слеп, чтобы заговорить с тобой, но как-то случилось, что не прошел мимо; и ты, болтушка, простушка, была подслеповата, как и вся моя неготовая семья, желающая покоя и определенности, кокотка.

Туман и Вода; Вода и Воды;
Облако в Водах, в Туманном
Движении Медленных Ветров,
Ускоряющих Движение Забытых
Тумана и Вод.

Жизнь, у тебя в молодости были чистые глаза. Их я носил в медальоне и твоих волос прядь. До сих пор у меня сохранились дни нашей любви. Ты радовалась моему обществу. Ты, конечно, помнишь, как иногда мы забежали в кондитерскую. Кофе и пирожные. Кофе особенный, из каких-то складов, старых запасов; складов, покрытых

мхом теплым, живым, ковровым, упругим, шелковистым, когда касаешься другой ладонью, потому что одной трогаешь твои ресницы, Жизнь; ты опускаешь голову, тебе нравится кофе с пирожным, которое я не очень люблю, лишь делаю вид, что люблю, хотя любить люблю, и очень всегда, когда это можно было сказать, и даже сейчас, тебе и тебе, Ужас, мой, как оказалось, более нежный друг и более верный, чем ты — простая девчонка и даже сейчас, когда вы просите меня почитать о любви, тяжелые дни.

Дни; круглые, темные, вы казались мне голодными.

Голодному.

Мы вместе в поезде, сонные в сонном.

Музыка. Поезд летит в тоннель.

Окончание — пейзаж —

сад, в нем — ход,

движение:

книги,

музыки.

Приближение тоннеля, путь дальше.

А вы, дни, закутанные в пледы и шали, сидите с часами в зубах. Один (в белой шляпе) читает мой пульс. Какая бесцельность. Наносу удар. Пейзаж, сад, вода. Шляпа вылетела в окно. Поезд несется в тупик, проводник раздает чай и бинокли. Тупик виден плохо. Еще несколько в километрах.

Пятьдесят. Спуск.

И пять. Спуск.

Пейзаж — шестьдесят!

И этот последний спуск так крут, что колеса поезда отрываются от рельс и поезд пикирует в море. Крабов, акул он, гудок паровоза, пугает. Успели закрыть окна. С поверхности моря падают венки. Смеемся. Среди спутников женщина. Спит. Укачало. Ты берешь ее на руки, несешь в свободное купе. Снова тоннель; пытаешься овладеть, но меня пугает шуршание ее губ. Чувствую — кто-то третий между тобой и женщиной. Надо спешить. Всё в воде. Страх. Свет лампы, вижу, о радость! — перед моим лицом плачет вылезшая изо рта спутницы длинная Змея. Хвост издает звуки. Спутница рвет свое платье. Затем привлекает к поцелую. Тем временем змея переползает в тебя. Потом снова в спутницу, снова в тебя, всё быстрее и быстрее, пока шуршание не перерастает в свист единения не то губ, не то змея, не тех губ, не того змея. Колесо. Неразрывно. Огонь, глина, лед. Отрыв. Она в последнем дыханье. Остается пейзаж. Поезд в тупик.

Часто предлагали личинке сесть в поезд. Танец на картофельных полях затянулся. Поздно. Теперь виден лишь свет уходящего последнего вагона высиживание жемчуга продолжается если бы

знать раньше. Теперь ты трепетно собираешь скромные пожитки; неуемный странник, всё надеешься на удачу, на оседлость. Душа (или что-нечто) наблюдает, как ее бывший хозяин, морщась, укладывается последний раз. Ощупаем его сон, что-нибудь отшепчем. Мы еще увидим в раскрытых глазах отраженный танец порезанных горящих сухожилий. Огонь, плавающий веселый пепел. Где-то звучит музыкальное. А мне снова на картофельное поле. Удаляющаяся душа ласково, сентиментально вспоминает минуты дружбы. Как давно. Сейчас она испачкалась, вылетая из времени, было достаточно, чтобы убраться ноги и безногому. Носитель сокровищ, вместилище надежд, искупитель — в пар, в дым. Душа закрывает глаза, скрывает лицемерие. Тяжкие обязанности закончены. Пока говорил Ужас, Афродита складировала живцов; кликушество мысли, балалаечная струна на шею горлянке.

В заброшенных парниках старик сделал тебе инъекцию в ноги. Казалось, выход из физиологической обязаловки найден, ты ощущал, как становишься бесполом... Но приползла гангрена. Перед ампутацией долго уговаривал хирурга резать без наркоза. Она, худенькая гнедая нахалка учительского вида, из тех, кому снится родительный стол длиной в тысячу парсеков, жуя монпансье из женшеневого желе, объяснила: возможна остановка сердца. Остановились на компромиссе: он пообедал спиртом. Через час услышал полет циркульной пилы, паденье ног в чан, оттопали свое, можно было бы сшить из кожи жилет. Жилет, который вырастил сам! Прошла неделя, пришли спецы по реабилитации, приставили к культям ноги из папье-маше. Сняли одеяло. Да. Он был без ног.

Оставив в больнице две пары ног — свои и из бумаги, — ты вернулся по-пластунски домой. Мир стал глубже. Ты теперь редко покидал дом. Когда же собирался на прогулку, то железкой стучал по водяной трубе. На условный сигнал прибежали глухие сестрички, взявшие надо мной шефство. Они добросовестно прикручивали тебя к таратайке болтами и ремнями. Наполняли термос влагой, спускали вниз. Ты никогда не забывал взять с собой детскую двухстволку и свисток. На улице милые кобылки надевали на себя лямки. С хохотом, столь звонким и незаменимым ничем в юности, несли они тебя на низкой платформе по улицам городов, по полям, по горам, по берегу великого океана, вновь по улицам . . . Ты сидел, откинувшись на спинку, и рассказывал им свою веселую и интересную жизнь. Иногда они забывали о тебе, ты же, глядя на мельканье блестящих лодыжек, раздумывал о предметах поверхностности или вовсе дремал... Смотрел на чаек: чайки, чайки, грязные птицы! Кем вы стали и были кем? В коридорах вонючих каналов ищите благополучия. И не рыбой, и даже не отважным утопленником питаетесь вы, а баннным отваром и соками из больниц.

Тебя тащили по парковой дорожке, мимо закурившего слепого, размышляющего: что он теперь может? Наслаждаться тьмой? Заку-

рил. Подождав укуса спичечного огня, кинул обугленный костяк на ладонь листа, табачный прах укрылся в капиллярах: все-таки жестокость тьмы не без добра, не позволяет оптическому насилию иссушить мозг. Лишиться бы еще слуха и осязания — предел счастья. Ты приветствуешь его. Холодно. Как жалки приветствия. Встретив, останавливаемся, говорим о невзрачных и бесконечных обстоятельствах, желая услышать существенное — день и час о т ъ е з д а. Слепой поднял руку и открыл ладонь. Было темно, музыка продолжала жить и строить собственный дом композиции. Не собираясь возмущаться, она положила в твою ладонь что-то похожее на горсть дынных семечек. Ты открыл кошелек и ссыпал туда позвонки дорогой мелодии.

Понеслись лани дальше. Вынесли тебя на стекло глубокого пруда. Девочки устали. Присели на лед. Едва закрыл глаза, как: может быть, в шевелении усиков водяной блохи трагедии больше, чем во всей литературе вместе взятой. Рты рвов в травах. Наблюдая за тем, как лед прогибается под детскими ногами: звуки слепого — слепые звуки. Смотрел долго, смотрел на сиюминутные памятки лопнувшим пузырям, лопнувшим смехотворцам. Отчего минута молчания, — перед кем, молчат, над лопнувшей грелкой, никогда с ней не разговаривали. Как скучны вопросы вдоль реки шелест травы, трава насекомое, поворот изгиба реки, затонувшая лодка. Весло в обрыве барахтается человек устал если не протянуть руку он заночует в омуте. Ты спустился, протянул. Между пальцами оставались сантиметры. Может быть, ты и не сорвался в воду, если бы протянул руку дальше. А пока жест помощи л а д о н ь в н и з ты сменил на жест вопрошающий л а д о н ь в в е р х. Зачем? Зачем спасать тебя, собачка, зачем вмешиваться в механизм Колеса, маленький? И почему я, маленькая куча, обязан заметить. Нет, я тебя не спасу потому что не было здесь не будет как не было и реки и тебя и нас в день завтра и пять лет назад сто. Я, — думал ты, — еще весь в глубочайшей тайне камня, затерян среди вопросов вопроса. Ерунда. Ты не спас человека, боялся сорваться. Глупость! Ты не спас, потому что тебе не понравилось лицо. Нет. Ты не спас его, потому что имел право на антипомощь. Потому что он не спас тебя. Потому что в омуте был ты. Да и где тот, который осудит тебя за бездействие. Где он, как не на твоём месте твоего отсутствия. Вы были последними. Кроме вас вообще никогда не было из всего пышного разнообразия горлопанов. Мне кажется, тебе повезло. Трудно представить: даже такие твердые словесного чистоплюйства, такие величавые формулы твердолобия, НЕТ, ДА, — будут незримиыми, исчезающими, и уже не разбудят сон с л о в а биологическими притязаниями. Молчание пришло с появлением последнего пузыря. Предпоследний человек уже на дне омута. Ты огляделся. Нет, мир не изменился и не стал чище, но, несомненно, он стал пронзительнее, ибо с последним свидетелем ушло ВРЕМЯ, и исчезло с последней попрошайкой звездного света сомнение в твоей многозначности.

Не забыл. Перед тем как маленький человечек скрылся в пучине, он прошептал: спаси... Какие буквы он не успел дошептать: те или бо? Его глаза перед затоплением были необычайной глубины и чистоты. Теперь уже все понятно: он не хотел спасения. Я еще долго пребывал в задумчивости, с протянутой рукой, мокрой от дождя. Чтобы как-нибудь оправдать усилие, затраченное на поклон реке, ты выхватил из быстрых вод стрекозу, сбитую ветром, заботливо сдул с нее воду, подкинул вверх. Быть может, показалось, как из воды несколько раз поднималась кисть предпоследнего человека и исполняла хватательное движение. Скрутив сигару из ядовитейших листьев ольшаника, задумчиво двинулся вслед за насекомым.

Когда ты видел детей, ты вспоминал слова гидролога: когда я вижу детей, я радуюсь — земные воды не иссякнут. — Несомненно, это была рыба. Ты наладил снасть, закинул леску, на леске, привязанной к удилищу, крючок с червем, груз, поплавок. Стал ждать поклевки. — Огляделся. Когда по легкому трапу сойдете на берег — невольно вдохнете полной грудью. Какой простор! Высокое небо, широкий плес озера, полупустынный остров и соседние островки, покрытые хвойными лесами. И тишина, которая неувидительна в этой широко раскинутой стране лесов и студеных озер, местами непроходимых топей и болот, скалистых гор, стремительных рек и пенистых водопадов. Сказочны ее богатства — рыба и пушнина, железная руда и соль, гранит, мрамор. — Поплавок скрылся. Ты резко подсек. — А среди замшелых глыб нашли приют редкие породы ящериц, а кое-где и змей. В сырых местах встречаются . . . — Сорвалось. — . . . безобидные ужи. Порою пронесется над головой белка-летяга, а вдали вдруг раздастся трубный рев лося, усиленный многократным эхом. В этих местах можно наблюдать интересные миражи, врёменами возникающие над гладью озера. — Снова поклевка. Ты резко подсек и вытащил из воды маленького человечка. Он был гол, а на спине имел нечто вроде стрекозиных крыльев. Из его рта лилась кровь, он дрожал и тихо стонал. Ты растерянно искал слова извинения или прощанья. Крючок высунул жало из горла человечка, кровь постепенно остановилась. Хорошо сложенное тело пойманного существа вдруг напряглось, он вздрогнул крыльями и затих. Ты тупо глядел на жертву, голова твоя свалилась на грудь, челюсть отвисла — тебя затопила мощная боль в шее. Из рта брызнула кровь. Всё это было так неожиданно и непонятно, что ты хотел броситься в воду, но тут увидел, что на крючок кто-то попался. Ты осторожно подсек и снова вытащил из воды крошечного, величиной со спичку человечка. Крылья его трепетали, из горла торчал железный крючок. Пока ты осторожно вытаскивал крючок из горла очередной жертвы, твоя боль исчезла, кровь перестала литься из моего рта. Человечек немного покорчился и затих. Новый приступ боли. Твоя одежда в крови. Ты насадил на свинцовый груз кусочек хлеба — крючок ты срезал — и закинул леску. Поклевка была мгновенной. Ты вытащил третьего человечка, мертвой хваткой впившегося в хлеб, разжал ногтем челюсти и положил его на дно лодки. После каждого нового улова

боль в моем горле исчезала, но ненадолго. Так ты продвигался к острову, гонимый теченьем и ветром, ежеминутно вытаскивая из воды диковинную добычу. Совсем стемнело, когда ты вступил на остров. На острове находилось озеро, в котором плавал остров, на нем — озеро поменьше, на крошечном островке виднелось вовсе незаметное озерцо, в котором бурлили силы. Разложив костер, подогрев хлеб и воду, ты обогрел выловленных человечков. Они улетели. Похоронив убитых, ты двинулся к озеру, что было. Не спалось, и ты решил искупаться. Едва ты погрузился в воду по горло, как мягкие ткани растворились и под водой остался один скелет. Но ты продолжил. Путь до острова закончился. Я вышел и снова обшит кожей. Прилег. Шаги. Приближалось.

Ночной туман лицемерно оросил слезами твое тело, чуть закрытое вязкой тиной. Под сердцем вспыхнул и погас образ возвышенной речи. Он хотел отблагодарить небо за тишину. Из груди иногда звуки. Именно они и были, похожие на клекот, ты уже не способен на слова, преодолев ту грань, за ней звук арры или круалл точнее передает чувства, чем «прекрасно». Ты забылся в обаянии исторгнутых звуков. Отдыхал долго. Козни поздней осени обыкновенно бранны. Осень, ужель судьба твоя так далека от разнесудеб дней моих. Как повторяем, как презрителен, как пьян твой край и сер. Твой дом печален: трава запущена, не мною любим твой сад. Как редки встречи и пустынен берег. Мой сон был крепок, ты — здоров. Когда проснулись все, раззвездилась вода, то — отраженье, то — блеск прощанья неба с глазами и со словом, что довело весьма негладкою дорогой меня, еще живого, до дня, рожденного сегодня. Тень близится, за нею утро...

ВОСХОЖДЕНИЕ

1. ГЛАЗ БОЖИЙ

Я зашел к скульптору Киштаханову. Он метался по мастерской, распиная пустые бутылки. Из угла молча глядел его полоумный помощник, форматор и каменотес Николай Климас, бывший латыш. В мастерской было пыльно и душно.

— Я не пью кипяченую воду,— сказал Климас,— потому что в ней нет никаких витаминов и жизнотворных бактерий, но я не пью и сырую воду, потому что в ней могут быть болезнетворные бактерии, вредные микробы . . .

Он выдержал паузу.

— Однако я нашел блестящий выход. Я наливаю воду в бутылки по дням. У меня десять бутылок. Я выдерживаю паузу в десять дней и на одиннадцатый день я пью воду десятидневной давности. В которой нет болезнетворных бактерий, вредных микробов, а есть всякие витамины и жизнотворные бактерии . . .

— В рот все твои бутылки, пикараз!— распорядился скульптор, и Климас покорно стих, скорчился в углу, раскачивался и корячился, ковыряясь в носу и разглядывая проходящие за окном ноги прохожих.

— Я, конечно, не ожидал чего-либо особо выдающегося,— говорил между тем Киштаханов.— Ты не хуже меня знаешь, как эти бюрократы относятся к нам, людям искусства, но все-таки ведь можно же было хотя бы так соблюсти, хотя бы перед иностранными товарищами соблюсти такт! Ведь они черт знает что могут подумать об отношении наших бюрократов к нам, людям искусства. Хотя и эти . . . геноссе, тоже хороши!— вдруг воспылал он.— Культурные люди, западные, свободные, расквашенные. Могли бы хоть как-то . . . хоть немного . . . хоть какой-то интерес проявить, что ли? Тоже порядочное хамло! . . .

— Я когда служил в армии,— сказал Климас,— то меня там сильно допекал пикараз-старшина, хохол. Он меня дразнил латышом, хотя я ему объяснял, что я — бывший латыш. То есть я был латыш, потому что меня из детдома усыновили латыши после войны. А потом они меня выгнали из дому, когда я занялся пьянством и воровством. И я тогда узнал, что я — русский, сын русских неизвестных родителей. Я от старшины стал косить и оказался в госпитале. Там нас лежало в палате двадцать рыл, и один грузин все кричал: «Держись, ребята, скоро мне придет волшебная трава из аула, накуримся той

травы и все от маршала Гречки отвалим. Так оно и вышло. Все отвалили. Как в воду глядел кацо, и действительно волшебная оказалась та трава. Всех комиссовали подчистую. Меня год еще потом припадки били и кровь из носу шла. А какая это трава, большой секрет, — говорил грузин. — А большие секреты, — говорил грузин, — стоят больших денег, — всегда говорил грузин. Звали его Николай, как русского. Может он и был русский.

... А дело заключалось вот в чем. Дело заключалось в том, что наш город К., впервые, пожалуй, за многие годы его пореволюционного существования вдруг посетила большая группа коммунистических иностранных товарищей, граждан одной из западных стран, еще не перешедших к социализму.

Это событие сильно взбудоражило город. Потому что до этого дружеского визита наш город лишь крайне редко посещали иностранцы. И то лишь — важные общественно-политические деятели братских стран лагеря социализма и развивающихся стран — товарищи Мандевиль Махур, Вальтер Ульбрихт, Фидель Кастро и другие товарищи. И то лишь — товарищи Фидель Кастро и Мандевиль Махур лишь приземлялись в аэропорту, где ели стерляжью уху, а товарищ Вальтер Ульбрихт проехал через город на ГЭС, и на пути его следования из аэропорта был выстроен за одну ночь забор, скрывающий от глаз товарища, низко сидящего в машине, гнусные деревянные строения самостройщиков Убойной улицы. Эти самостройщики, ставшие от жизненных невзгод и пьянства чрезвычайно острыми на язык, тут же окрестили новый забор, крашенный масляной зеленой краской, забором имени товарища Вальтера Ульбрихта. Еще наш город К. посещали на моей памяти подряд, но в разные годы — Берия, Каганович, Маленков, Хрущев, Подгорный, Брежнев, но это уже свои товарищи, отечественные, а отнюдь не иностранные, о которых собственно и пойдет речь.

Скульптора Киштаханова позвали ТУДА, сказали, чтобы он завтра без фокусов надел свой лучший костюм с галстуком и белой сорочкой, состриг без фокусов патлы, привел в порядок бороду и находился в два часа пополудни у памятника Вождю, который будут осматривать иностранные гости, и им, возможно, что-то понадобится уточнить по художественно-скульптурной части, для чего и должен присутствовать близ памятника он, Киштаханов, которому, довольно еще молодому человеку, оказывается важное доверие. Без фокусов.

— А когда мой проект памятника Вождю победил на Всесоюзном закрытом конкурсе аналогичной темы, они его взяли, да? — жаловался Киштаханов. — Они эту московскую сволочь пригласили, старого подонка! Они плевать на меня хотели! Они скульптуру реки Е. не хотят устанавливать, символически изображающую реку Е., а тут я им, видите ли, понадобился, чичисбей!

— Это что такое значит, чичисбей? — спросил Климас.

— Цыц! — взвизгнул скульптор.

— Я знаю, асмодей, а не чичисбей, — сказал Климас.

— Чичисбей — это который у итальянцев за границей сопровождает молодоженов, когда они путешествуют в медовый месяц, — успокоил я Климаса.

— Я стоял на дикой жаре, в идиотском черном костюме и страшно злился, потому что зарубежные революционеры все никак не появились. Неподале-

ку от меня скучали два друга: полковник милиции и инструктор. Они, хихикая, пихали друг друга в тугие животы.

— Стол на восемьдесят персон, — вполголоса сообщал инструктор. — Ох, Федька, Федька! Бывал я... где только... но я тебе скажу, я тебе скажу... — он зачмокал, заоблизывался, затряс пухлыми пальцами.

К ним подошел скромный юноша с комсомольским значком.

— Пионеры построены, Федор Мелитонович! — весело, с живинкой в стальных глазах доложил он.

— Добро! — сказал полковник. — Я тебе даю сигнал, и они все тогда пускай шуруют, поют. А пока ты им скажешь «вольно», чтоб они у тебя в обморок на такой жаре не попадали.

— Вольно! — гаркнул комсомолец.

Дети радостно зашуршали и стали прыгать на одной ножке.

— Кажись, идут, — сказал инструктор.

— Хрен-та, — спокойно возразил полковник.

На массивную галерею второго этажа Крупного Дома высыпали неразличимые издали люди в пестрых рубашках. Среди них черным пятном выделялась женщина — по-видимому это была сама Ефросинья Матвеевна Дукеева. Она держала руку по направлению к памятнику в позе Вождя, увековеченного этим памятником.

— Но — готовсь! — уточнил полковник.

И тут лицо его задрожало от ужаса. Он надулся, распух, посинел, замахал инструктору:

— Смотри, смотри! ...

Вокруг памятника оказалась бегающей неотловленная собачниками дворняжка со слипшейся шерстью, коротконогая, агрессивная.

— Прогони собаку! — наступал на инструктора полковник.

— Ыть! Ыть! — наступал на собаку инструктор.

Собака зарычала и ощерилась. Полковник и инструктор отпрянули. Собака подняла ногу, пукнула, поджала уши и медленно затрусилась прочь.

В суматохе мы и не заметили, что процессия гостей оказалась уже совсем почти рядом!

— Мардак! Мардак, скотина! — зашипел-закричал полковник комсомольцу.

А тот совсем не слышал его, поскольку вступил в соблазнительную беседу с пышнотелой девкой в синих джинсах и красной майке с выпирающей надписью «Ай эм секси», отчего и пионеры совсем рассыпались, а двое из них, кажется, дрались.

Ефросинья Матвеевна зло улыбалась в своем черном пиджаке с пышным накрахмаленным жабо. Вокруг Ефросиньи Матвеевны сгрудились люди, похожие на состарившихся стилиг пятидесятых, блаженной памяти годов: замшелая обувь, джинсы, вельвет ...

— Это — памятник Вождю, — сказала Ефросинья Матвеевна. — А это — наш молодой товарищ, молодой скульптор Киштаханов.

— О, ия, ия! .. Натюрлих! Вери интерес, — загалдели коммунисты.

— Чао, гуд дэй, фройндшафт, товарищи, — начал я. — Это — памятник Вождю, он сделан из гранита, высота его ...

Но тут шипенье полковника достигло-таки ушей Мардака, он спохватился, быстро выстроил своих и сдуру велел им грянуть.

Они и грянули, своими детскими, неокрепшими голосами:

Аванта пополо (далее не помню).

Тут тоже не помню.

Тут тоже не помню.

А припев помню:

Бандера росса.

Бандера росса.

— О-о!— гости немедленно бросили меня и окружили пионеров. И пионеры окружили их. Гости щекотали детей, подбрасывали их в воздух и дарили им значки и жевательную резинку. И всем им было хорошо. Умильно улыбаясь, глядели на эту счастливую картину Мардак, Федор Мелитонович, инструктор и Фроська. Я тоже умильно улыбался.

— Ну, дети, отпускайте своих гостей,— распорядилась Дукеева.— Им пора подкрепиться.

Но оказалось, что еще не все дети получили значки и жевательную резинку. Они кричали, что они не все получили значки и жевательную резинку, что они все хотят получить значки и жевательную резинку. Однако Мардак быстро пресек развитие их низкопоклонства перед западом, и дети снова затянули «Бандеру россу», заколотили в барабаны. Бесшумно подкатили черные машины. Дети стройными шеренгами удалялись вдаль. Я остался на площади один.

— Как так один?— изумился я.

— А вот так. Один, если не считать Вождя,— злобно сказал скульптор.— Один, будто я им уже не человек, будто это не я получил первое место на Всесоюзном закрытом конкурсе, будто это не я являюсь самым перспективным среди молодых скульпторов нашего Худфонда, о чем они сами же везде трубят, будто не моего «реку Е.» уже который год собираются установить на Стрелке.

— Да они про тебя просто забыли в суматохе,— предположил я.

— Как будто я пожру у них всю икру,— не слушал меня скульптор.— В гробу я видал ихнюю икру. Мне с европейцами хотелось пообщаться, спросить, как там Джакомо Манцу, Ренато Гуттузо, Пикассо...

— А ты бы взял да и сам туда пошел, своим ходом, это ведь рядом,— предположил я.

— Ну уж нет!— Киштаханов надменно усмехнулся.— Этого ИМ от меня никогда не дожждаться! Никогда! Чтоб я бегал за подачками? Я знаю себе цену, и мне нет нужды вымалывать У НИХ подачки...

Я расхохотался. Скульптор все еще сердито хмурился, но потом не выдержал и тоже улыбнулся.

— Фармализм-мармализм. Пстракцинизм-модернизм, кзистинцилизм,— сказал он.— Эта дура была в Венеции и собрала на доклад «творческую интеллигенцию», то есть нас. «Что ж, товарищи, хороша, хороша Венеция, красива, красива,— скорбно говорила она.— Есть там дворцы, есть там и музеи, базилики есть... Но, товарищи, но ведь, товарищи, но ведь — все это, товарищи, это все В ВОДЕ!!! Представляете, какой ужас!» Володька Фагин не выдержал и захохотал, а она говорит: «Нет, товарищи,

может кто-нибудь не верит, но ведь ЭТО и на самом деле ВСЕ В ВОДЕ . . .»
Дура!

— А вот меня раз одна еврейка позвала делать памятник ее покойному мужу,— начал было Климас.— А муж у нее был тоже «бандера», то есть — бандеровец. Но — неразоблаченный . . .

— А ну, Климас,— сделал строгое лицо, приказал скульптор.— Быстро! Ноги-в-руки и — бегом в магазин!

— Все я да я,— ворчал Климас, собирая в сетку пустую посуду.— Я тоже равноправный человек, такой же, как и вы. Давайте тогда бросать морского, кому идти, а то я не пойду . . .

— Не пойдешь? Морского ты хочешь?— холодно посмотрел на него скульптор.— А линьков ты не хочешь?

— Бычков в томате?— спросил Климас.

— Не бычков в томате, а линьков по ж . . .,— сказал Киштаханов.

— Это еще которые линьки?— бормотал Климас.— Есть бычки в томате, есть снеток. Но снетка уже занесли в Красную книгу вымирающих животных, как водку по три шестьдесят две, потому что его уже всего начисто пожрали. А линьков, это я не знаю, которые линьки. Я предлагал на пальцах бросить морского, погадать, кому выпадет идти, чтоб по-честному . . .

— Линьки — это веревки для корабельных снастей, которыми в царском флоте драли матросов,— пояснил я.

— Врешь,— сказал Климас.— Со мной в палате лежал матрос и он ничего не говорил, ни про какие линьки.

— Да в царском же, в царском флоте, тебе говорят, дубина стоеросовая,— рассердился я.

— Ты идешь или нет, аспид ты, змей, курва, храпоидол!— рассердился скульптор.

— Да ведь иду же я, иду, чего вы обои ко мне пристали!— плаксиво заныл Климас, гремя пустой посудой.— Аспиды, асмодеи, храпоидолы, бандеры, курвы, наказания . . .

Скульптор в сердцах плюнул на пол. Климас укоризненно на него посмотрел. Скульптор отвел глаза и растер плевков подошвой. Я закурил и устроился поудобнее.

Р. S. Когда Климас возвратился с вином, лицо его было белым от ужаса.— Там я шел мимо стройки, там в дощатом тротуаре около стройки есть сучок, и из него торчит глаз,— сказал он.

— Ладно, не воняй!— грубо перебил его скульптор.— Вино давай, вина купил?

Климас неожиданно рухнул перед ним на колени.

— Вина я купил,— сказал он.— Но я не вру и умоляю мне верить. Там есть глаз. Это, наверное, глаз божий.

— Да иди ты . . .— замахнулся на него Киштаханов, но его подручный забился и зарыдал.

Мы выпили, и нам стало жаль бедного больного. Мы заставили его выпить и согласились пойти посмотреть на глаз.

К своему ужасу мы увидели, что глаз действительно существует. Глаз действительно наличествовал в сучке деревянного тротуара близ новострой-

ки. Глаз был карий, с поволокой. Глаз моргал. Климас снова закричал, я перекрестился, а Киштаханов, склонный к материализму, заглянул под тротуар и изумленно спросил:

— Эй, мужик! Ты как ухитрился под тротуар влезть?

— Цыц вы! Увидели, так и не мешайте мне, суки! Я девочкам под юбки смотрю, они многие ходят без трусов,— прошипел глаз.

— Это — половой извращенец, ребята. Он, наверное, из лагеря вышел, мне лагерники рассказывали, что там бывают такие штукарки,— пояснил я.

— Тьфу, мразь!— сплюнул Киштаханов.

— Вот пикараз, — печально сказал Климас. — Пикараз ты, пикараз, — обрattился он к глазу.

— Иди на фер, — сказал глаз.

2. ВОСХОЖДЕНИЕ

В моем родном городе К., который, как известно, протяженно раскинулся по двум берегам могучей сибирской реки Е., недавно произошли крупные, но радостные волнения, связанные с тем, что этому городу исполнился недавно 421 год.

Игралась оркестрами музыка, лопались фейерверки, образуя в небе огненные букеты, гулялось группами народа по преображенным мостовым бывшей Преображенской площади, по другим площадям, улицам, скверам, паркам, площадкам, но памятник, символически изображающий богатыря-красавицу реку Е., вовремя не был установлен, и это — халтура потому что и слабая материальная база местного отделения Художественного Фонда.

Немного о памятнике или, если профессиональнее выразиться, о скульптурной композиции, однофигурной, материал — бетон, символизирующей богатырское прошлое и счастливое настоящее могучей сибирской реки Е. Этот памятник получил первое место на конкурсе памятников указанной темы еще очень давно, еще тогда, когда моему родному городу К. исполнился отнюдь не 421 год, а 408 или 411, не помню точно, потому что совершенно вылетело из головы.

Он был, этот памятник, всем хорош за исключением того, что изображал он (тогда еще — модель в глине) женоподобного молодца с выпирающими даже вроде бы не столько мускулами, сколько вроде бы даже какими-то титьками, с обширными ляжками. Но это, скорей, на взгляд развратников, подобных нижеописываемому, а так — вполне очень мужественный вышел этот юноша, символизирующий реку Е., сидел на карачках, положив на толстые кулаки широкую морду. Композицию эту создал скульптор Киштаханов и получил за нее первую премию. И хотя несколько бабоват оказался молодец, но скульптор Киштаханов все же получил за него первую премию, и решением горисполкома было решено установить скульптуру на так называемой Стрелке. Там, где в реку Е. впадала протока, намыв широкую и просторную галечную возвышенность, там и должна была упокоиться однофигурная скульптурная композиция, а короче — памятник, символизирующий богатырское прошлое реки Е., с отражением счастливого настояще-

го, трудовыми свершениями молодежи, буднями и праздниками, материал — бетон, высота 18 метров (четырёхэтажный дом старой планировки).

Но перед этим было много волокиты, это — халтура потому что, вследствие бюрократизма, слабой заинтересованности старого руководства, справедливо раскритикованного на одном из областных пленумов, слабой материальной базы местного отделения Художественного Фонда.

В частности, был страшный случай. На мелких хозяйственных работах в местном отделении Художественного Фонда обычно работали солдаты-каторжники, посаженные «на губу», так как рядом с Художественным Фондом помещалась городская военная комендатура, один из чинов которой, капитан Гриша, с неизвестной фамилией, но лицом очень похожий на покойного космонавта Гагарина (из-за чего у него даже были неприятности), страшно любил пьянствовать с художниками, поражаясь широте их размаха. Пил он также и с завхозами местного отделения Художественного Фонда, за что и уступал им солдат, которым все равно было — улицу ль им мести метлой около комендатуры или месить глину для ваения, потому что они провинились, о чем и писали огрызком кирпича на железных воротах Художественного Фонда во время перекура: «МЫ — СУКИ».

К сожалению, очередной завхоз (а менялись они весьма часто, ввиду низких ставок заработной платы и слабой возможности чего-нибудь украсть), пошел отнюдь не по линии созидания, то есть наибольшего сопротивления, а по линии разрушения, как Мао Цзе-дун. Он велел штрафникам вытащить из сарая, расколотить и свезти на городскую свалку какие-то разрушающиеся, местами зазеленевшие бетонные чушки, чтобы увеличить площадь складских помещений местного отделения Художественного Фонда и заслужить тем самым похвалу вышестоящего начальства. Один солдат надорвался во время тяжелой этой работы, и у него пошла горлом кровь, а разрушающиеся бетонные чушки оказались разрушающимися, зазеленевшими, частично отформованными кусками скульптуры «Е.», которую солдаты, под руководством дурака-завхоза, разрушили всю.

Скульптор Киштаханов рывал и ударил завхоза наотмашь по лицу. Уже истрачено было 9 тыс. 700 рублей государственных денег, и только волокита и слабая материальная база местного отделения Художественного Фонда уже который год мешали творцу закончить формовку скульптуры, о которой он и сам, порой, начинал забывать, что такая есть. Мерзавца уволили и говорили, что он пускай скажет «спасибо», что его не отдали под суд для взыскания девяти тысяч семисот рублей. Завхоз напился и в присутствии капитана Гриши обозвал скульптора Киштаханова евреем, хотя тот был всю жизнь чистокровный хакас и к упомянутой национальности не имел ровным счетом никакого отношения.

Хорошо еще, что хоть сохранилась рассыхающаяся глиняная модель в новой мастерской скульптора, который к этому времени из молодого, никому не известного таланта вырос до секретаря местного отделения Союза Художников, часто выступал с докладами, и ему дали в аренду (выделили) громадную двухэтажную мастерскую общей полезной площадью около 160 кв. м., где и началась повторная формовка в натуральную величину новой глиняной модели, созданной после обновления и реставрации старой. Началась! Формовка началась, потому что близился наш славный юбилей. 421 год

моему родному городу был уже не за горами, и на памятник возлагались определенные функции и надежды.

Большие надежды! В частности, загодя была выпущена фотография с модели в виде цветной почтовой открытки, символизирующей богатырское прошлое могучей сибирской реки Е., а обложку местного литературно-художественного журнала, который носил все то же название «Е.», украсило графическое изображение абриса все той же модели, изображающей развратного на вид (с точки зрения, подчеркиваю, развратника!) молодца, символизирующего богатырское прошлое и счастливое настоящее могучей сибирской реки Е., с отражением, как в капле воды, трудовых свершений, с буднями и праздниками, оркестрами музыки, фейерверками, добросовестным отношением, дружбой и любовью, задорной песней, авиацией и космонавтикой, научно-технической революцией, экологией и гуманизмом.

— Нет, все-таки ради этих минут, секунд стоит жить и работать, — шептал Киштаханов, когда после всех волнений, неувязок, злоключений, не поспев к указанному сроку праздника, с опозданием больше чем на месяц, при скоплении народа гораздо меньшем, чем если бы все было исполнено вовремя, покрывало полетело вниз с восемнадцатиметровой высоты — громадное серое облако материи, и даже неизвестно, куда девали его потом, это покрывало. Наверное, хранится где-нибудь специально для еще какого-нибудь памятника или же материю пустили на панно и плакаты по наглядной агитации.

Теплоходы, проходя теперь мимо Стрелки, приветствовали памятник протяжными гудками, туристы, едущие в Ледовитый Океан, всю фотографировали его, высыпая на палубы, но однажды из Тбилиси приехал в наш город один из известнейших на всю страну гомосексуалистов. Сам он был по образованию литературовед, и ему по службе попался однажды этот номер местного литературно-художественного журнала «Е.», с символическим изображением на обложке могучего юноши Е. В которого он тотчас, разумеется, влюбился.

Потому что в последнее время он испытывал столь сильный кризис своих склонностей, что даже стал всерьез задаваться вопросом: «Да любовь ли в самом деле это, отчего я жегся, задыхался и страдал всю свою сознательную жизнь?» Он даже пустился в разврат и некоторое время жил с пустой раковиной, крымской «Рапеной», ублажая ее фальшиво блестящее нутро душистым кремом «Шарм» и французскими духами «Сава». Но однажды он как бы очнулся от сна — ему стало так стыдно, так горько от своей пошлости, что он выкинул негодяйку в окно, сел в самолет и явился в наш город К.

На город, на широкую и просторную галечную возвышенность, на весь окружающий мир пал густой туман, когда он начал восхождение. Он рассчитал, что тело юноши находится на высоте не всех пятнадцати метров, а на высоте метров эдак девяти-десяти. Пал густой туман. В густом тумане аукались речные суда, несущие по древней сибирской реке с богатым прошлым и баснословным будущим свой трудовой груз и каюты, полные пассажиров. Бетонная осклизлая прохлада приятно охладила ступни босых ног гомосексуалиста.

И — луч! Красный луч восходящего с Востока солнца, проткнувший туман, вдруг резанул его по глазам, и именно в тот момент, когда он достиг, наконец, своей желанной цели.

— Мама! — крикнул гомосексуалист, в кровь сдирая ногти. И полетел вниз с указанной высоты, где внизу, прилетев, еще несколько секунд копошился в луже собственной крови с уходящим сознанием: среди собственных костей, мертвеющего мяса.

Это была первая жертва нового идола, если не брать в расчет солдата-каторжника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. И она поэтому получила довольно широкую огласку. Были затем и другие жертвы. Я знаю, что это — мой долг, описать и их, я знаю, что никто, кроме меня, этого не сделает — по неумению или по робости. Я знаю, но я не выполняю своего долга, я плевать хотел на свой долг, я не буду их описывать, не стану вязать сеть постылых анекдотов. Мне надоело описывать, надоело вязать сеть постылых анекдотов. Я сам хочу восхождения, я хочу, чтоб где-нибудь был и для меня кровавый опасный идол. Скажите, где есть такой, и ранним туманным утром я начну восхождение, и я достигну, и я скажу, летя вниз: «Нет, все-таки ради этих минут, секунд стоит жить и работать». И еще я скажу, летя вниз: «Какие все-таки замечательные люди живут в моем родном городе К.» И третье я скажу, летя вниз: «Приехали, слава тебе, Господи!»

3. В ТУМАНЕ

Я не привык хапать чужое и поэтому честно признаюсь — эту историю мне рассказал к.-ский поэт А. П., когда мы с ним, и это было утро, раннее туманное густое утро жаркого июльского дня, опохмелялись пивом на Стрелке, в кустах, близ громадного памятника российского богатыря-красавца, символически изображающего нашу реку Е. Сибирскую, разумеется, могучую... Дерьмовый, между нами говоря, вышел памятник. Да и что, кстати, путного могут создать наши к.-ские скульпторы, я их всех знаю, как облупленных: спились с круга, закомплексовались и закомпромиссничились, один там и остался, Санька, который рожи по дереву режет — так они его за это в Союз Художников не берут. Вот какие черти!..

А впрочем, я не точно сказал, что МЫ С НИМ опохмелялись, потому что это ОН СО МНОЙ опохмелялся, то есть это он опохмелялся, а я просто стоял с ним рядом, лишь слегка пригубив из своей бутылки, и смотрел, как жадно ходит его кадык.

Хотя все эти внешние бытовые детали не имеют равным счетом никакого значения.

Немного об А. П. Он хорошо начинал. Он родился и вырос в Сибири на реке Е., а потом поехал в Москву и стал алкоголиком. Он учился в Литературном институте и несколько лет пьянствовал с поэтом Р. У него была жена, дочь известнейшего С. Х., ныне редактора одного из наших толстых журналов. Квартиры у него тогда не было, зато остальное все было: чужая дача, любовь... Сейчас он возвратился в К. Ему 41 год, и он допивает остатки своего некогда могучего здоровья. Он нигде не работает

и ждет, когда его примут в Союз Писателей. (Я, кстати, тоже жду, когда меня примут в Союз Писателей, но я честно служу в конторе и не побаиваюсь.) Иногда он пишет, и иногда у него попадают СЛАВНЫЕ (славное словцо, не правда ли?) строчки.

(Славный у меня получается ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК, вместо славного, подернутого сизой туманной дымкой ретрухи-ностальгухи РАССКАЗЦА, где — ненавязчиво . . . «тихо-тихо не шумите» . . . о спившемся и продравшемся поколении, о КОРНЯХ, о могучей сибирской, на берегу которой . . . и т. д.)

Да и Бог с ним! Если мне суждено исписаться, то вот я на ваших глазах и исписываюсь. Буксует тема, хромает сюжет, потеряна острота, свяла свежесть арбузного излома, серебристо-красного, в июльский полдень. Тускл стиль. Стиль — стих. Напал стих на мой стих . . . Скандалы все кругом, скандалы . . . Ушел от жены, жена делит имущество . . . Бог с ними со всеми! Бог со всем совсем . . .

— Мы ехали с ним пьяные в такси, — сказал А. П. — Он, этот поросенок, служил корреспондентом радио и телевидения. Это мы пьяные ехали к покойнику Кольке, который тогда был еще живой. Везли водку, вино, колбасу. У Кольки жили три девки-стюардессы. Поросенок рассказывал анекдот, как Чапаев хотел сесть на рельс. «Подвинься, Петька, я тоже сяду», — сказал он и вдруг насторожился. «Шеф, вруби радио погромче», — сказал он таксисту. «Ну так и что Чапаев-то?» — обратился я.

И вдруг стал страшно поражен его видом. Телерадиопоросенок сидел выпрямившись, острые плечи его торчали острыми углами, спину он, можно сказать, выгнул в противоположную от естественной сторону, свинячьи глазки его мерцали в полутьме холодно и бесстрастно.

«Ты что, чокнулся?» — изумился я.

«Цыц!» — не своим голосом взвизгнул он.

И только тут я сообразил, что он, видите ли, слушает радио. А по радио говорили примерно следующее:

«В преддверии праздника Ленинский комсомол на двух механизированных жатках и тогда парни решили взять этот рубеж что ж задумка как говорится встретила поддержку у старших товарищей всего коллектива молочнотоварной фермы молодцы парни теперь все знают у комсомольцев Больше-Ширинского района слова с делом не расходятся передаем для них песню «Пашем-сеем-удираемся» в исполнении вокально-инструментального ансамбля . . .»

Корреспондент отер лоб платком и лишь тогда выдохнул:

«Нет, все-таки ради этих минут, секунд стоит жить и работать!»

«Каких таких минут-секунд?» — не понял я.

«Ради ЭТИХ секунд!» — нажал он, и я вдруг сообразил в чем дело. Я грязно выругался, и мы принялись браниться. Таксист молчал, не вмешиваясь в нашу перепалку, и мы ехали через реку Е., и была ночь, и наплывал на нас мост через реку Е., наш старый мост со своими туманными матовыми фонарями и одинокими парочками . . . «Так Чапай, значит, попросил Петьку подвинуться, когда тот на рельсе сидел. А рельса-то длинная, до Владивостока — ну дают!» — вдруг расхохотался таксист.

— Так это его заметку передавали!— расхохотался я.

— Догадался, продрамшись! А то чью же еще? Мою, что ли?— буркнул А. П., неприязненно косясь в мою сторону.

— Ты что так на меня смотришь? Я тебе что, должен, что ли, что ты так на меня смотришь?— вскипел я.

— А ты думал, я тебе за бутылку пива задницу лизать стану? Накось!— с ненавистью поставил он передо мной шиш.

— Ладно, А. П.! Не надо! Чего уж там!— примирительно сказал я.

— А фули ты из себя генерала корчишь?— наступал А. П.

— Какого еще такого генерала?— растерялся я.

— Какого? Литературного! Думаешь, если тебя напечатали в «Октябре», так это уже все?

— Да почему же, почему я строю-то?— расстроился я.

— А я знаю, почему?— не знал А. П.

— Ну на, выпей мою бутылку,— сказал я.

— Вот-вот! Все подтверждается,— огорчился А. П., но бутылку все же взял.

И всходило солнце, и это было утро, раннее туманное густое утро, и оно обещало такой день, такой жаркий день, какого еще никогда не видел наш город, да и вся Сибирь не видела. Я вдруг сообразил, что эта фраза (последняя)— суть цитата из моего же рассказа «Настроения», который я написал в 1964 году и который до сих пор не могу нигде напечатать. Мне стало смешно.

— Дерьмо ты все-таки, А. П.,— сказал я.— Фули ты вытыкиваешься? Фули я тебе сделал?

— Да ладно, чего уж там. Не сердись. Извини,— буркнул он.— Давай-ка лучше обнимемся, браток! Помнишь, как мы тогда с тобой в Москве запили? Р. тогда еще шапку у тебя взял, уехал в город Рубцовск, и там ее пропил на аэродроме.

— А шапка та была не моя, шапка была Лысого... Я тогда, помнишь, к тебе в общежитие пришел за этой шапкой, а ты уже в Соловьевке лежишь, под антабусом?

— ... Ага! А Танька, стерва, пустила слух, что я жру в день по килограмму соленых помидоров, чтоб на меня антабус не действовал, помнишь?

— Помню...

Мы обнялись. А был, между тем, страшный плотный утренний речной туман. Из речного тумана вдруг вышел босой человек, по виду грузин или армянин. Может быть даже и еврей. Босой человек в фирменных джинсах и цветной майке «Nurogodis». Он дико посмотрел на нас, отшатнулся и вновь исчез в густом речном тумане.

ВОСПОМИНАНИЯ. ПУБЛИКАЦИИ

Сейчас, более чем всегда, особый интерес, особую ценность приобретают подлинные документы, воспоминания людей, наделенных своеобразным талантом быть свидетелями своего времени. В зависимости от обстоятельств, степени одаренности рассказчика, его честности и откровенности мемуары могут иметь различную ценность — от сообщений человека из толпы до уникальных свидетельств незаурядной личности. О чем вспоминали люди прошлого? Об удивительных путешествиях, политических авантюрах, литературных баталиях и реальных войнах... Однако в наше время авантюра и тайна живут подчас рядом с нами, порой стоит сделать только шаг, чтобы попасть в «непредставимый мир», который доселе был скрыт от взгляда обычного человека.

Но тому, кто помогает нам проникнуть туда, приходится сталкиваться с различными сложностями, противодействием, а то и с враждебным отношением. И чем тщательней скрыта та или иная сфера жизни от общего обозрения, тем более опасным становится снятие покровов и проникновение в святая святых той или иной тайны.

Открывая этот раздел, мы столкнулись с некоторыми трудностями. Часть мемуарных материалов, находящихся в распоряжении редакции, оказалось невозможным опубликовать в первоначальном, полном виде. Авторы этих материалов либо изначально маскировали реалии, позволяющие точно идентифицировать их, либо условием публикации ставили сокрытие не только их подлинного имени, но и тех людей, о которых они писали.

Как поступить, если ценность материала именно в его подлинности, но аутентичная публикация невозможна (по завещанию автора или из-за условий, выставленных ныне здравствующим мемуаристом). Именно в такое положение мы попали, решив опубликовать «Записки попа» о. Василия. Отец Василий — человек во многом удивительный и широко известный в различных кругах — в свое время надиктовал на магнитофон свои уникальные воспоминания, которые случайно оказались в нашем распоряжении. Мы, однако, ограничены условием использовать записи так, чтобы на имя этого человека, которого уже нет среди нас, не только не была брошена тень, но и, более того, чтобы по опубликованному тексту он бы не мог быть узнан. Поэтому мы изменили некоторые имена и детали, однако не решились

подвергнуть редактированию стиль изложения — живую устную речь автора мемуаров.

Отца Василия знали многие и относились к нему по-разному: кто с восхищением, кто с недоумением. Один из его знакомых вспоминает: «Я не встречал человека более противоречивого. Он не вписывался в мои представления о том, каким должен быть русский православный священник. Меня сразу удивило, и я долго не понимал, как в нем может совмещаться искренняя глубокая вера с чуть ли не гедонистическим жизнелюбием. Я познакомился с этим человеком, одаренным огромной физической силой, ростом, голосом (телосложением он напоминал известный тип Гришки Распутина), случайно. Как-то я оказался в одной богемной компании, куда приехал и отец Василий, а к середине ночи, когда гости разошлись, отец Василий и начал диктовать свою книгу с условным названием «Записки попа». Он диктовал семь часов подряд, без всякой подготовки, без перерыва, останавливаясь только, чтобы промочить горло водкой или прикурить, и так надиктовал примерно сто пятьдесят страниц своей книги, изъясняясь прекрасным, точным, простым языком... Совершенно новая, непредставимая прежде формация священников, будто олицетворяющая лозунг «Solo fide». Кто не ищет устойчивости в жизни, выемки по себе? Этот поп казался человеком, нашедшим себя в этой жизни... Уже потом, сидя в такси, он продолжал рассказывать, не умея остановиться, демонстрируя вызывающий аппетит к жизни, глубокую эрудицию не только в духовной, философской и религиозной литературе, но и в литературе светской...»

Не знаем, в какой степени этот отрывок подтвердит ощущение подлинности последующего материала, но это характерный взгляд со стороны, поэтому мы его и привели. Ну а теперь сам раритет. Итак:

ЗАПИСКИ ПОПА

Идея этой работы возникла несколько лет назад, и даже были сделаны первые шаги, но по независящим от меня причинам ее пришлось прекратить. Многое в памяти уже стерлось совсем, многое уже не восстановимо. Но тем не менее я попытаюсь вспомнить свою жизнь в церкви, начиная с первых шагов.

Почему эта работа для меня интересна? Дело в том, что после Лескова, пожалуй, никто не брался за то, чтобы просто рассказать о жизни духовенства. Литература на эту тему существовала, но всегда были две крайности: или получалось этакое атеистическое обличение с описанием всех истинных и мнимых пороков, или же не менее слащавое и прилизанное описание одних религиозных деятелей другими (нечто вроде житийной литературы). А просто описать то, как сейчас живут священники, никто, по-моему, не пробовал. Рассказывая, я, возможно, сознательно буду приводить истории, происходившие с моими знакомыми, отчасти чтобы проще было сохранить свою анонимность, отчасти потому, что точно так же эти истории могли происходить и со мной.

Начать нужно с того, каким образом я, человек никак с церковью не связанный в детстве, родившийся в семье не церковной, не имевший

знакомых из этого круга, вдруг стал священником. Интерес к церкви был у меня еще в детстве, но какой интерес — экзотический. Я помню, еще мальчишкой, случайно зайдя в церковь, не мог оттуда уйти — меня уводили силой, хотя никакого религиозного чувства, осознанного чувства в этом не было. Уже в более позднем возрасте многочисленные соблазны юности и вовсе отстранили всякие духовные искания. И вновь я — да не вновь, а, по сути, наверное, впервые — обратился к этим поискам, придя из армии. Армия — это слишком емкая сама по себе тема, и она слишком далеко уведет в сторону, но не упомянуть об армии я не могу. Дело не только в том, что я вернулся из армии человеком отчасти изломанным, отчасти озлобленным (хотя, почему «отчасти» — просто: изломанным и озлобленным); и, вернувшись в жизнь, жизнь такую привычную, человеческую, я понял, что она меня не устраивает в том виде, который я знал до армии. И мой приход в церковь в той или иной степени связан с моей службой в армии. Конечно, это многократно было описано у самых различных писателей, и наших, и западных, то, как «солдаты, возвращенные отчизне, хотят найти дорогу к новой жизни». Кажется, это эпиграф у Ремарка к повести «Возвращение».

Но дело еще в том, что есть определенное сходство между армией и церковью, армией и диссидентством, армией и всем нашим обществом, которое нельзя не отметить. Сейчас начинают писать об армии, к примеру, недавно мне в руки попала книга, я считаю, очень нужная и важная. Хотя я сам для себя ничего нового в этой (довольно слабой литературно) повести не нашел, но если бы она была опубликована — это, конечно, стало бы событием, и событием незаурядным. Я, однако, видел гораздо больше и страшнее. Я могу рассказать несколько эпизодов своей армейской службы, которые я видел, чтобы было понятно, в каком состоянии человек выходит, пройдя это.

Я видел человека, который был ковриком для вытирания ног: он лежал у входа в казарму, и все входившие должны были вытирать об него ноги. Я видел, как человек моет собой пол: намыливают его в туалете или «умывают», а дальше он в хэбэ по полу ползает и его моет. Я знал человека, который застрелился за несколько недель до конца службы; хотя это объясняли тем, что его девица вышла замуж, но я знаю, что причина в другом.

Объявлять армию институтом, не имеющим никакой морали, — это неправомерно. В армии существует своя мораль — извращенная и жестокая, но все-таки мораль, и все-таки она существует. Один мой коллега, который служил в стройбате, рассказывал мне, что вместе с ним служили люди, уже имевшие судимость и в армии сознательно шедшие на вторую судимость, потому что после этого в армию не берут. Говорят, что в лагере лучше. Я не раз слышал это от людей, которые были и там, и там. Мне приходилось встречаться с Бэллой Корчной, женой шахматиста (мы жили неподалеку, я однажды какую-то посылку передавал для нее, когда Виктор был уже за границей), так вот Бэлла Корчная сама отправила своего сына в лагерь: он сидел за отказ от несения воинской службы. И когда он вернулся из заключения и стал рассказывать, как отбывал наказание, я не мог не сказать: «Твой лагерь — это санаторий по сравнению с моей армией». Правда, он там был библиотекарем, но это дело второе. Библиотекари были и у нас.

Я считаю, что это великая беда нашего общества, — то, что вся юность наша поставлена под ружье. Сейчас много говорят об Афганистане — это, конечно, совершенно особая ломка. Мне приходилось и с этими людьми встречаться, и я могу рассказать, как приходили ко мне эти ребята, уже совершенно изломанные и совершенно больные: ну, куда им еще деваться, чтобы выговориться — куда им идти? Не в райком же комсомола. Они даже неверующими были, но просто им хотелось поговорить, и мне приходилось с ними разговаривать. Это — страшная машина, которая перемальвает судьбы человеческие. И очень жалко, что это остается почти незамеченным. То есть говорят, что в армии не все хорошо, есть всякие негативные явления, но тем не менее я никогда не слышал, чтобы громко было сказано о том, что это вообще бесчеловечно; сказано, что существование нашей армии калечит судьбу народа. Я глубоко убежден, что все люди, отслужившие в армии, уже психически неполноценны (к ним я отношу, естественно, и себя). Люди, прошедшие психо-химическую обработку. Вот так вот жить в течение двух лет и психически не измениться — это невозможно (причем измениться — в худшую сторону).

Есть такое популярное заблуждение, будто армия делает из мальчиков мужчин. Это неверно. Она делает мужчин, но каких? Мужчина — это сила. А сила — она должна быть обязательно вместе с добротой. Если они идут порознь, это губительно. В армии дается другая сила, без доброты. Причем даже не физическая: это тоже бред и легенды, — из армии люди зачастую возвращаются совершенно больные, загубившие здоровье. Там проявляется совершенно другая сила: сила животная, сила выживания. Она губительна для человека. Армия — это тайга: угнетай слабого, подчиняйся сильному. Это армейский закон, от которого отступить невозможно. И когда люди, воспитанные в этом законе, уже принявшие его (потому что его невозможно не принять, иначе там невозможно выжить), возвращаются в жизнь нормальную, то перед ними существуют два пути. Одни люди принимают этот закон для всей своей дальнейшей жизни, так и живут и, как правило, даже органично вписываются в жизнь. Другие люди возвращаются совершенно изломанными и вписаться уже не могут. Именно моя изломанность, счастливая или несчастная, и была одним из толчков к моим поискам истины в церкви.

Почему я пошел в армию? Это было абсурдно. Я закончил одну из лучших московских школ, при университете. Мне было гарантировано поступление в любой из технических вузов: это было несложно, подготовка была достаточной. Но мне как-то не хотелось плыть по течению: это такой общепринятый путь. И потом, не было такого дела, которым мне хотелось бы заниматься, а заниматься делом, которым мне не хотелось заниматься, — это тоже мне казалось нелепым и абсурдным. В общем, вместо того, чтобы поступать в институт, я, ко всеобщему удивлению, через несколько дней после выпускного вечера уехал в Коми АССР на шашашку. Мы делали просеку, еще какие-то дурные работы в Ухте, строили дорогу на молокозавод, а рядом зеки строили молокозавод. Еще мне запомнилось, что мы с ними менялись, поставляя им собак (там было очень много бездомных собак), а они нам взамен свои ремесленные изделия. Ну, еще, конечно, чай, табак. Была еще история, когда мы работали в лесу, и нас вывезли в баню в такой

поселок Нижний, и у нас с ними была большая драка, на память о которой я до сих пор ношу шрам на левом плече. Но это было не очень важно для моей дальнейшей жизни. Просто так проявилось мое самоутверждение, тяга к независимости, всякой независимости, моральной и материальной. У меня очень рано возникло это стремление. Мне не исполнилось и 16, когда я уехал на КамАЗ, проработал там несколько месяцев, потом вернулся в школу. Это был сложный комплекс ощущений, стремлений: не хотелось просто плыть по течению. Потом, я был молодым, сильным, и мне казалось просто оскорбительным существовать за счет родителей. Не потому, что у меня с ними были плохие отношения, у нас были очень хорошие отношения. Просто я считал, что должен как-то сам снискать свой хлеб насыщенный. Вернувшись из Коми, я работал подсобным рабочим в музее, потом — в институте геологии; перед армией у меня была еще вторая возможность поступить в институт, но вместо этого я уехал в Карпаты.

И вот — повестка. Я себе плохо представлял тогда, что такое армия. Помню свои проводы. Собралось много моих друзей, тех же выпускников спецшколы (разные были люди, «иных уж нет, а те далече»). Запомнилось ощущение того, что всем было как-то странно: то есть как это — меня, и в армию? Настолько я не вписывался даже в их представления об укладе армейской жизни, что так до конца и не верили, что это все всерьез. Это казалось каким-то фарсом, комедией, казалось, что я сейчас скажу: «Ребята, это все ерунда, я с вами остаюсь». Тем не менее я не остался, меня забрали. Увезли в Карелию, где переодели, а потом я попал в группу Советских войск в Германии. Это тоже было, в общем-то, смешно, потому что в военкомате меня бы, наверняка, не послали бы в Германию, потому что я не очень подходил по социальным параметрам, но там, как водится, кто-то в военкомате запил, и тот, кто должен был отправиться туда из этой команды, просто не пришел. Тогда сказали: «Правofланговый, перейдите сюда». Я перешел, и меня отправили в Германию.

До сих пор помню все очень отчетливо. Вот начало: когда нас — молодых и неопытных — только подводили к самолету, из самолета выходили дембеля; один бросает нам ремень со сделанной петлей и кричит: «Вешайтесь!». Это был первый шок. Самолет в Германии мы выходим, дембеля идут нам навстречу (система была очень четкой) и тоже бросают нам петлю: «Вешайтесь!». Дальше — мы к машине, а дембеля из машины выходят: «Вешайтесь!». И весь этот четкий конвейер обязательно сопровождался таким ритуалом. Поначалу это еще впечатление производило, а потом привыкаешь: стоит молодой на посту, проходит мимо старик и говорит: «Ну что, сынок, здесь стоишь? Ой, сколько тебе еще здесь стоять! Я бы на твоём месте лучше бы снял ремень от автомата и повесился». Эдакая дружеская шуточка. И для меня, конечно, шоком была вся эта армейская жизнь, потому что, несмотря на все мои искания, мотания, я, в общем, жил в достаточно замкнутом кругу московских мальчиков и девочек, интеллигентных, со стихами, какими-то поисками, разговорами, — и вдруг это: «Вешайся! Вешайся!». Ну, так живешь-живешь, а потом думаешь: «Может, действительно, повеситься?».

Благодаря тому, что рост мой ровно вписывался в цифру, которая требовалась (тем более, я тогда еще был спортсменом), я изначально попал

в город Вюнсдорф, есть такой в Германии, где находилась ставка командующего советских войск. И в этой ставке существовал парадный взвод (это такая рота почетного караула в миниатюре): то есть всякие торжественные встречи какого-нибудь там Хоннекера или Брежнева, который тоже приезжал, короче: почетный караул. Там уже и форму сшили по мерке, как и положено. Но тут обнаружилось, что у меня крест на шее (хотя я не могу сказать, чего тогда было больше — истинных убеждений или выпендрёжа: это был, так сказать, еще один способ выражения своей независимости, ее было больше, чем религиозного чувства, которого тогда еще было очень мало). И вот благодаря кресту на шее, который я отказался снять, меня очень быстро вышибли из парадного взвода и направили в строевую гвардейскую часть, но такую образцово-показательную (со всеми вытекающими последствиями: кто в армии служил, тот легко поймет, какие это были последствия). И вот, поскольку у меня крест на шее, да я его еще и отказываюсь снять, то со мной надо проводить работу — воспитательную, атеистическую, антирелигиозную. Для меня это было, конечно, просто благо. Еще бы: на самом первом году службы, самом трудном, самом страшном, строй, команда «Два шага вперед!», все — на кросс, на марш-бросок, а мне: «Два шага вперед!» — и в ленинскую комнату заниматься атеизмом. Как это выглядело? Приходил ко мне замполит дивизиона, давал мне какую-то пачку брошюр, журнал «Наука и религия», укладывал все это передо мной, перед собой и начинал вздыхать и маяться. Когда он что-то хотел сказать, с трудом вспоминая краткий курс научного атеизма, который ему читали в училище (а мне было интересно выпендриваться), я говорил: «Товарищ капитан, вы, наверное, хотели сказать то-то». Он говорит: «Да-да. Правильно». Очередная заминка. «Товарищ капитан, наверное, еще то-то вы хотели сказать». «Видишь, — говорит, — ты умный парень, все понимаешь... Слушай, вот что, у меня дела тут всякие, ну, ты понимаешь. Посиди, почитай, позанимайся, а я пойду. Лады?» И так я сидел, развлекался, в то время как мои ровесники бегали в противогазах. Потом было решено, что такому ненадежному человеку, как я, вообще нельзя доверить пушку, и меня сделали полковым почталоном. В дальнейшем меня с этой должности выгнали, но я уже зато отслужил достаточно, чтобы сохранить собственное лицо. Можно сказать, миновал самую тяжелую часть армейской службы. Но при этом, просто глядя на то, что творилось с другими, именно тогда я понял, что так дальше нельзя существовать: по этим законам армейской жизни, которые и в нашей обыденной жизни присутствуют в отношениях между людьми, хотя это и не замечается.

Вот несколько наиболее ярких воспоминаний. Есть такое место в Германии, которое называется «Потсдамская гауптвахта». И неоднократно побывав в этом месте, я потерял всякое чувство страха. Потом оно опять восстановилось, но тогда, сразу после армии, я не боялся ничего. Я не знаю, с чем это место сопоставимо? С гестапо? С кинематографическим гестапо. Начальником этой гауптвахты был такой (царствие ему немецкое) старший лейтенант, если мне не изменяет память, Тайлибаев. Это был маниакальный садист. Вот ты в камере. Камера — это территория примерно с половину кухни в малогабаритной квартире, кухня в хрущобах. Окно — гораздо больше, правда, без стекол, просто решетка. Зимой на стенах иней. Все

отопление — одна труба без радиатора; вот вокруг трубы и оттаивает. В камере мебель: тумбочка, табуретка. Правда, непонятно, зачем они нужны, потому что там сидеть некогда, а класть в тумбочку нечего, потому что всё отбирается. На ночь вносится топчан из двух досок, который у нас назывался почему-то вертолет. Причем, если начальник караула был сволочь, то он приказывал на ночь вынести табуретку и тумбочку из камеры. А если он был хороший мужик, то он их оставлял, и тогда можно было положить табуретку и тумбочку на бок, и этот вертолет поставить сверху, тогда снизу от бетонного пола меньше тянет холодом. Теплое белье на губе отбирается, а шинель выдается только на ночь. У этого Тайлибаева было любимое развлечение, которое называлось «водная процедура». Заходит он в камеру, ты вскакиваешь, вытягиваешься, докладываешь, что рядовой имярек, столько-то суток за то-то. Он даже как-то не очень слушает или совсем не слушает, задумчиво говорит: «Выводной! Десять ведер воды в камеру!». И в камеру выливается десять ведер воды. А растекаться ей негде: все же бетонное. Дальше выдается тряпочка, величиной с носовой платок, и ведро: «Убрать воду!». Ты эту воду убираешь. Если это зимой, холодно, вода начинает затекать в сапоги, ноги леденеют, и где-то на половине этой процедуры начинаешь думать, что сейчас умрешь. Но ничего, почему-то не умираешь, даже воду убрать в состоянии. Дальше этот Тайлибаев не ленился зайти в камеру: проверить. Мог даже наклониться и потрогать пол: сухо ли? «Выводной! Добавьте ему еще пять ведер!» Думаешь, что теперь уже точно умрешь. Но, оказывается, опять не умираешь. И эти ведра убираешь. И вот, когда уже совершенно неживой, заиндевший от холода, сидишь трясешься, то думаешь: «Сейчас горяченького принесут пожрать, погреться». Но в дисциплинарном уставе есть такая небольшая оговорочка, что «пища арестованным подается в последнюю очередь». То есть эту пищу можно и с плиты было снять, но наш начальник гауптвахты считал, что это — разврат, нечего баловать арестованного. Поэтому пищу, перед тем как принести, выставляли на мороз. Я хорошо запомнил, как во время моей первой отсидки идет выводной (тоже азиат), улыбается широко и несет мне кашу за ложку, как эскимо: каша смерзлась, он ложку воткнул и несет дном миски вверх. А ты сидел, горяченького ждал.

А летом Тайлибаев больше любил строевую подготовку. Раздавалась команда: «Арестованные, ко мне! В одну шеренга становись! Смирно!». И дальше начинались издевательские строевые занятия: надо было ходить строевым шагом во дворике, в котором троим было не разминуться. Или заставлял ногу отрывать на пятнадцать-двадцать сантиметров от земли и так держать: «Носок оттянут, держать — не опускать, держать — не опускать». Ну, там много было разных развлечений. Дальше объявлялся перерыв (не перекур, подчеркиваю, а перерыв, потому что курить на губе не разрешается) три минуты (ну, это могло быть полторы минуты, пять секунд — это была такая «игра»). Только объявил, все падают тут же на землю, и вдруг он: «Арестованные ко мне, воднушеренгустановисьсмирно?». Конечно, кто-то не успел, — и тут такая сладострастная улыбка на лице: «Выйти из строя! От имени коменданта гарнизона объявляю вас два суток ареста!». Еще двое суток этого ада добавляется. То есть можно было получить, скажем, трое суток, а отсидеть двадцать девять (тридцать — уже нельзя, потому что

потом уже трибунал). Поэтому можно было отсидеть двадцать девять суток, потом на сутки выйти — и снова сесть на двадцать девять. За что? За все: за нарушение формы одежды, за оскорбление начальника, за халатное отношение к состоянию подчиненных и даже за нарушение артиллерийского огня.

Но этот Тайлибаев плохо кончил. Уже через несколько лет, лет через пять после того, как я демобилизовался, ко мне однажды заехал один мой однополчанин, мой товарищ, чечен Муса. Приехал ко мне в гости. Привез с собой трехлитровую банку черной икры в подарок. Узнав, чем я занимаюсь, он сказал: «Хо! Правильно. Я, — говорит, — еще в армии думал, что ты муллой будешь». — «А ты, — говорю, — Муса, чем занимаешься?» — «Я, — говорит, — работаю браконьером, — и тут же очень серьезно: — Как ты думаешь, это не большой грех?» — «Да почему же, Муса, грех? Не все же начальству икру есть — так и мы с тобой тоже поедим черной икры». Причем в доме у меня хоть шаром покати, я один жил. И вот наварили мы картошки, а дальше он мне объяснял, как правильно есть черную икру: залил ее подсолнечным маслом, настрогал туда репчатого лука, — и вот мы столовой ложкой, под спирт, который у меня был, закусывали. И когда мы, выпив изрядно спирта, стали вспоминать минувшие дни, я говорю: «А помнишь этого подонка-то на Потсдамской гауптвахте?». (А Муса сидел два раза по двадцать девять суток — пятьдесят восемь суток; это страшное испытание, после которого можно было и инвалидом остаться. Он вернулся — его чуть ли не под руки вели. И вот, когда он вернулся, то сказал: «Всё! Он своей смертью не умрет! Я сказал!». Так вот, «Я сказал» Высоцкого — это ерунда по сравнению с тем, как сказал это тогда Муса, когда вернулся с губы. Высоцкому бы у него поучиться этой фразочке: там была такая тихая ярость, такое многообещающее «Я сказал»... Ну, а я тогда этому большого значения не придавал: понятно, что человеку после подобных испытаний хочется что-то такое ляпнуть. А потом и просто забыл.) И вот, когда мы с ним, выпив спирта, об этом заговорили, я спрашиваю: «Помнишь этого подонка Тайлибаева?» — «А как же не помнить? Помню. Умер». Я говорю: «Как это, Муса, умер?» — «Я тебе говорю: умер». Я ему поверил. Это был не тот человек, который бросал слова на ветер. И я даже в общем представляю, как это исполнялось технически. Трудность была только в том, чтобы достать его, Тайлибаева, фотографию, а после того, как достали, уже пустяки. Приезжает человек в свое чеченское село, собирает своих кунаков и рассказывает. Больше ничего и не нужно. Известно, что в отпуск (а у того был в июне) ездят через Брест (и ни один военнослужащий не проходит мимо контрольного пункта); приезжают и смотрят его в Бресте, ну а дальше — дело техники. И поскольку в таких случаях ищут, кому это выгодно, а людей, хотевших убить его, — хоть отбавляй, то найти кто — задача невыполнимая.

Или вот такая особенность армейской жизни: страшный, изматывающий, унижающий, постоянный голод. Самый обыкновенный голод, особенно тяжело переносимый, когда организм молодой и растет. Не знаю, как было в других частях, я рассказываю только о том, что сам видел, о том, что сам знаю, и совершенно не собираюсь объявлять это явление тотальным, но там, где я служил, был голод, и голод особенный. Голод понятен во время войны, блокады, когда голодают все, а тут — Германия, жратвы вокруг навалом, благоденствие, а тебя заставляют голодать. Голод объяснялся разными

причинами. Главная из них — это то, что нам есть просто не позволяли. Как это получалось. Входит батарея в столовую. Раздается команда: «Батарея встать!» — «Садись!» Сели несинхронно, еще что-то: «Встать!» — «Садись!»... Пока молодые так развлекаются, старики уже выловили всю гушу со дна, съели, неспешно выловив мясо, все самое калорийное и питательное («вкусное» — слово, даже отдаленно не приемлемое для армейского рациона). Наконец последнее «Садись!». Дальше, пока молодые хлебают горячую жижу (или не очень горячую — по-разному бывает), раздается команда: «Батарея встать!», они судорожно доедают второе и на ходу допивают кисель. То есть просто поесть — не успевают. Не успевают съесть даже то, что им оставляют. Я не знаю, зачем это так задумано. Может быть, чтобы добиться покорности. Причем это страшный криминал — скажем, взять с собой недоеденный кусок хлеба. Это криминал. Если его найдут, будут страшные репрессии. Никто даже не рискует этого сделать, потому что репрессии, которые постигают человека, если он на такое решился, просто страшные.

Это один аспект голода. Второй: то, что солдаты нещадно обворовывались. Особенно в Германии. Поелику офицеры получают там паек (а им выгоднее получать именно паек, а не денежное содержание, ибо так легче сохранить деньги на приобретение всякого барахла), то большая часть офицеров, кроме молодых холостяков, которые питаются в офицерской столовой, получают паек на продовольственном складе. И тут, конечно, отбирается самое лучшее. А третий аспект — разворовывается все, что осталось, все остальное. Ну, это естественно. И поэтому даже тот скудный солдатский рацион, который существует (сейчас его вроде бы повысили, стали кормить солдат лучше), разворовывается, и мы были вечно голодные: любой бы не отказался в любое время дня и ночи от куска черного хлеба. Не знаю, если это не голод, тогда что? Еще выдавалось денежное содержание в размере 15 марок. На эти деньги нужно было покупать подшивку (материал, чтобы воротнички подшивать), зубную пасту, крем, щетку. Причем все, что покупаешь, тут же бывает очень быстро украдено. И дальше надо покупать снова, а уже не на что, и тут начинаются всякие осложнения, вроде ростовщичества. А кроме того, у нас существовали тогда поборы: каждый молодой из этих 15 марок должен был 10 марок отдавать какому-то старику, а на 5 марок — дальше ими распоряжаться. Но фактически он их отдавал не просто, а отдавал как бы в долг, потому что, когда он сам дослуживался до старика, то 10 марок собирал со следующего и т. д. С этим иногда объявляли какую-нибудь кампанию по борьбе, которая ничем не заканчивалась. В общем, все воровалось в армии. Решительно все. Есть, скажем, хлопчатобумажное обмундирование: штаны, китель — их нужно выстирать, выгладить, высушить. И вот если выстирал, повесил сушиться и ушел на 10 минут, то они исчезли. Всё. Больше он их никогда не найдет. Ну, он, конечно, голым не будет: после массы унижений ему выдадут новый комплект, но за это он будет долго отрабатывать, снова терпеть унижения — дорого обходится такое ротозейство. То есть — всё, что можно украсть, — воруется. И конечно, не все выдерживали такую жизнь, и некоторые бежали.

За мою службу бегало человек двадцать. Причем я служил в 20 километрах от Западного Берлина, а бежали совсем не в Западный Берлин, как можно было подумать. Бежали просто так. Куда глаза глядят. Как Мцыри:

«Я мало жил, но жил в плену...». Вот так, как Мцыри, и бежали, чтобы вольным воздухом подышать. И бежали всегда летом. И ловить их — было любимое занятие личного состава. Потому что люди живут за колючей проволокой и вдруг их выводят — зачастую впервые! — ловить. Не было никакой охоты, напротив, хотелось, чтобы беглец подольше побегал, зато они подольше погуляют. И его никто не ловил: он сам всегда попадался. Случайно. Потому как специально его никто, повторяю, не ловил, а все просто пользовались возможностью просто погужеваться. Вот я помню, уже в конце своей службы, тогда я был уже сержантом, объявляют: «Беглец, ловить!». Вдоль трассы выставляются посты оцепления, через несколько километров — по три человека. Я был старшим такого поста, и двое молодых. Я их построил, говорю: «Равняйся, смирно! Слушай боевой приказ. Так, — говорю, — у вас есть редкая возможность отоспаться на первом году службы. Поэтому у нас такой распорядок дня: один спит, другой смотрит (конечно, не беглеца, который нам на фиг не нужен, а начальство, которое может нас проверить) — и так по очереди вы спите. Вы имеете возможность спать по 12 часов в сутки (это немислимо для молодого, который больше 5 часов обычно не спит). Если вы будете спать вдвоем, то будут соответствующие репрессии с моей стороны, что гораздо страшнее, чем репрессии со стороны командира полка (действительно страшнее, потому что их жизнь и смерть от меня зависят, а что командир полка — на губу может отправить, и всё). Ну, а я ушел в деревню». Вот так вот мы их ловили. Они попадались сами: я не помню ни одного, кто бы ушел.

Но это было уже после того, как меня выгнали из почтальонов. А выгнали меня очень смешно. Однажды часть была на полигоне, а всех оставшихся ночью подняли по тревоге; подняли по тревоге, а меня не оказалось на месте. Ночью меня не оказалось в расположении части, и за это меня изгнали из почтальонов. Но здесь есть очень щекотливый момент. Поскольку большая часть офицеров — почти все — были на полигоне, а все их жены находились в городе, и раз меня нет в расположении части ночью, то можно предположить, что я был у кого-нибудь из женщин. И все офицеры, особенно те, которые не очень уверены в своих женах, начинают мучиться: «А не у моей ли?». Как только меня не допрашивали! Подпавали, чтобы я расколослся, у кого был. Но я очень стойко, как Зоя Космодемьянская, держался. И мне это помогло.

Когда меня из почтальонов вышибли и отправили в линейку, то мой взводный, прапорщик, стал меня «морить»: назначал в наряды ходить, прочее; в общем, создавать «специальные условия службы», по тому сроку службы, который я отслужил, оскорбляющие мое достоинство (в соответствии с армейской этикой). Как-то вечером после отбоя подошел я к нему и говорю: «Слушай, мужик, если еще такое будет продолжаться, такая моя служба, то я по полку разнесу, что был у твоей жены. И тебе тоска будет». Действительно, тоска: сто семей, сплетни как развлечение, и все будут показывать пальцем: «Вот тот козел, с женой которого солдат спал». Это была крайняя мера, не очень этичная, — но я к ней прибегаю и вроде бы, показалось, успешно. Но до поры до времени. Мы, конечно, друг друга ненавидели. И вот однажды он сломался. Когда батарея заступила на караул, он поставил меня охранять солдатскую чайную. Это сложно объяснить

людям, не служившим в армии. В армии существует очень сложный этикет, мораль, система отношений. И вот по этому этикету, если человек, который полтора года отслужил, охраняет солдатскую чайную, — это бесчестье. То есть ему надо застрелиться. Не знаю даже, с чем сравнить: унижен перед женщиной, в морду плюнули. И вот стою я около этой солдатской чайной, а каждый, кто пройдет: «Ты что, как сынок, солдатскую чайную охраняешь? Ну... ты даешь. Я бы на твоём месте лучше повесился». То есть, каждый придет и обязательно в морду плюнет. Это страшное бесчестье. Здесь сейчас это кажется бредом, кажется, не все ли равно, охранял — не охранял, но на самом деле в армии создана такая сложная и обязательная система отношений, мимо которой нельзя пройти. Она всех подчиняет, какой бы умный не был. Действительно, чувствовал себя оплеванным. И тут же решил, что стоять на этом посту — такое бесчестье я перенести не в силах — уж лучше сразу на губу. Поэтому я снял автомат, сел и закурил. Это тоже нужно понять, что это значит, когда часовой на посту снимает автомат, садится и закуривает. Я не знаю, с чем это сравнить, как это перевести... какую найти аналогию в гражданской жизни? Наверное, голым прийти в обком. Приезжает дежурный по части и видит такого часового. Мне он ничего сказать не может, ибо я на посту. Он звонит в караульное отделение и дает большой втык начальнику караула. Дальше — я со смелой прихожу в караульное помещение. (Здесь нужно отметить такую уставную вещь, что караульному в караульном помещении (как и на посту) нельзя делать даже замечаний, потому как он может расстроиться, а потом выйти на пост (а у него с собой патроны) и перестрелять смену, еще кого-нибудь, министра обороны Гречко, если тот пожалует. То есть его можно снять с караула, можно тут же в камеру отправить, но все замечания после того, как он сдал оружие и дошел до расположения части. Тогда только с ним можно начать разборки. Это по уставу, а на практике все совершенно иначе, как вы сейчас и услышите.) И вот, прихожу я с поста, подбегает ко мне этот прапорщик взводный, начальник караула, и брызгает слюной: «Ты что, сука, подлянку решил мне подложить?! Ну я тебе!» — и бьет меня кулаком в морду. Представляете, при том, что караульным нельзя даже замечания делать, ибо они при оружии, бьет в морду. Кстати, я вообще очень не люблю, когда мне в морду бьют. Прапорщик же был человек очень невысокий, мне ниже плеча; и вот я, совершенно ошалевший, только что поставивший автомат на пирамиду и стоя около этой пирамиды с автоматами, машинально тянусь за автоматом, беру его, расстегиваю подсумок: это все произвожу, а сам на него смотрю и вижу, что он расстегивает кобуру, и тут же понимаю, что, пока я сделаю все движения, пока заряджу автомат, он меня просто пристрелит и будет прав. Поэтому я выбираю вариант более простой и левой рукой бью ему в висок, а правой — в челюсть. И он, как мешок, рухнет. Много ему не нужно было — щуплый такой мальчишка. Входит помощник начальника караула, сержант, мой хороший знакомый, приятель, и говорит: «Ой, ну ты натворил... Зря. Ну ладно...», взял графин, полил его водой. Тот очухался, позвонил дежурному по части, приехали, тут же меня в камеру. Я сижу и думаю: лет пять обеспечено.

Что меня спасло? Что армия, как и церковь, система кастовая, и сор из избы выносить не любит. Командиру полка нужно было идти на повышение.

И отдать меня под суд — значит, в полку ЧП, никакого повышения у него не будет. И поэтому в его интересах дело как-то пригасить. Пригасили это просто: прапорщику объявили строгий выговор, а мне вклеили десять суток ареста, а после перевели в другую батарею (чтобы мы не перестреляли друг друга).

Перевели меня в батарею, которая была знаменита именно своими неуставными отношениями, то есть самыми жесткими. А здесь нужно учитывать, что я — дед, то есть солдат, отслуживший уже полтора года, имеющий уже все неуставные привилегии. Но при этом я сам избежал многих унижений: мне не приходилось кому-то сапоги чистить, воротнички подшивать. Я прихожу туда, там меня приняли достойно, поскольку я еще и прославился: естественно — прапорщику в морду дать в караульном помещении — поступок уважаемый. Когда в морду бьешь — всегда тебя больше уважают, особенно, если сам в невыигрышном положении находишься. Приняли достойно. И вот вечером я спокойно, как всегда и делал, подшил себе воротничок, почистил сапоги, бляху. Уже спать дожить собрался, и тут меня зовут: «Пройди, — говорят, — в бытовку. Поговорить надо». Захожу. Там сидят все ребята-деды и спрашивают: «Ты что это, вообще, наш призыв позоришь?». У меня недоумение. «А чего ты, — говорят, — сапоги сам чистишь, воротничок подшиваешь?» Я сказал: «Все, ребята, больше не буду». — «Смотри, — говорят, — а то...» Ну, что потом — известно. В армии законы, наверное, не менее жесткие, чем в зоне, да и есть это по существу — зона.

А с сапогами, кстати, в армии многое связано. Например, есть проверка уставная, есть неуставная. У нас это происходило так: какой-нибудь старик, лежа на кровати, покуривает и командует, а молодой, предназначенный для этой экзекуции, исполняет. Команда: «Сапоги, равняйся!» — молодой что есть духу бежит, сапоги ставит ровнехонько, в струнку. «Равнение налево! Смирно!» — выравниваются сапоги, сколько есть в казарме. «Равнение на середину!». Выходит (тогдашним министром обороны был) «Гречко». «Товарищ министр обороны, разрешите обратиться?» — «Разрешаю!» И тут был такой монтаж: «Масло съели, день прошел, старшина домой ушел. Спи, старик, спокойной ночи, дембель стал на день короче, пусть те снятся карички, дом родной, п... на печке и приказ Андрея Гречки». Дальше строевым шагом к шинели: «Товарищ министр обороны, разрешите доложить, сколько осталось старикам до приказа?» — «Разрешаю!» — «До приказа осталось сто семьдесят два дня!». Дальше — опять же строевые повороты (причем очень строго соблюдалось, чтобы все было в соответствии со строевым уставом, причем куда более строго, чем на проверке настоящей, а просчет — репрессии): «Товарищ гвардии плафон, разрешите обратиться к товарищу гвардии выключателю». Дальше к выключателю: «Товарищ гвардии выключатель, разрешите ударить по фазе?». Дальше выключался свет.

Не знаю, как где, но служба в Германии была — зона. Колочая проволока вокруг, и тысячи людей в этой зоне. Говорят, что в Союзе в принципе мягче. Там люди и в больших городах служат, постоянно в увольнения ходят, с девушками встречаются, переводы получают. У нас же ничего, кроме письма, получить было нельзя: ни переводы, ни посылку, только письмо. А там у человека и деньги могут быть: получил перевод до востребования

(конечно, не в часть, иначе сразу до копейки отберут, но в ближайшем почтовом отделении), в увольнение вышел, где-то еще погужевался. И совершенно другие отношения между людьми, потому что живут они мягче. А когда люди живут за колючей проволокой, то начинается самовыражение в угнетении: всё, чего он не может получить за колючей проволокой, он старается получить по эту сторону проволоки: в рабовладении, в угнетении людей. И ломается большая часть людей именно на том, что вот «мне было плохо, я как бы все свое унижение давал в долг, чтобы дальше получить проценты: вот я кому-то сапоги чистил, теперь пускай мне чистят». И происходят такие изменения психики, которые опять же трудно понять человеку, не прошедшему эту машину. Вот молодой солдат, у которого расстегнут воротничок или ослаблен ремень... видя это ...меня это раздражает, и тут же хочется: «Ну-ка, сынок, иди сюда, ты что это расстегнулся?». При всем том я был либералом. Я был очень либеральным стариком, меня молодые очень любили, потому что я их не мучил. Но это было совершенно естественным движением — застегнуть, затянуть: «Что за борзость?». Я же стал еще сержантом в армии. Это тоже история занятная.

Как раз когда я отслужил немногим больше, чем полтора года (меня уже перевели в другую батарею), молодых перед присягой повели стрелять из автомата: три одиночными и три очереди. Причем к каждому молодому приставляют старика, чтобы он его корректировал. И вот меня приставили к таджику по фамилии Худабердиев. Он стреляет, а я его сзади обнимаю, чтобы он никого не убил. И этот стервец бахнуть умудрился по камню, пуля рикошетом — и мне в ногу. Это не смешно, вообще-то, было совсем: пуля в ногу, рикошетом, но с близкого расстояния, да еще застряла в кости, мне ее выковыривали (ямка осталась на ноге, и сейчас в плохую погоду дает о себе знать). Меня, конечно, в госпиталь. Полежал, вышел, прихожу в строевую часть (а в военном билете есть такая графа «ранения и контузии») и говорю: «Давайте, записывайте ранение». А это опять нельзя, потому что опять вынос сора из избы, ЧП, на него надо как-то реагировать. Они как-то всё тянут, тянут, а я упираюсь: думаю, что под эту марку еще ветерана войны получу. Но вместо этого — вдруг приказ: неожиданно меня, такого разгильдяя, делают командиром отделения связи, и самое смешное, что на должность телефониста в мое отделение назначают рядового Худабердиева. Причем это вообще идея абсурдная сама по себе: таджик, который по-русски говорить почти не умеет, — радиотелефонист.

Что такое командир отделения для молодого солдата? Это всё. Это царь и Бог и воинский начальник. Это гораздо больший начальник, чем командир полка и, тем более, чем министр обороны. Чем меньше начальник, тем он главнее — есть такой закон в армии. «Жалует царь, и не жалует псарь». То есть это всё — это человек, от которого зависит вся жизнь солдата полностью. Думаю, рядовой Худабердиев попрощался тогда с жизнью. Но поскольку у меня никаких садистских наклонностей не было, то, в общем, Худабердиев очень счастливо миновал первые полгода службы; он даже мне потом в Ленинград письмо написал, что вот когда я ушел, то жить стало хуже, — тосковал...

И вот я возвращаюсь, наконец, из армии и первое, что ощущаю, что здесь что-то не так. Что и здесь какое-то болото. Все отношения, которые до

армии казались нормальными, кажутся какими-то рыхлыми, неустойчивыми. И хочется армии, но с обратным знаком.

Но, как я уже говорил, это ощущение потерянности и ненужности, которое наступает после армии, достаточно описано самыми разными писателями, и поэтому вполне представимо. Жил какое-то время смутно, неопределенно, привыкая, а потом... Сменив несколько мест работы (сначала работал инкассатором, потом — еще кем-то), я уже уехал с геологами в Крым. Начальник моей партии был человек довольно начитанный. А я как раз в это время только начал интересоваться вопросами религии, но, скорее, из чистого любопытства. Это нельзя даже назвать духовными поисками, — меня интересовала скорее история церкви, религии. А поскольку единственным материалом, который можно было найти об этом, — была атеистическая литература, то с нее я и начал. И вот в долгих маршрутах со своим начальником вели мы с ним беседы. У нас была такая своеобразная интересная игра: один становился на позиции атеиста, другой — на позиции верующего, и мы диспуты устраивали: гимнастика ума и языка, пожалуй, ничего более. После мы жили в одной крымской деревушке, в которой проходили практику студенты-геологи. И, поскольку там было довольно скучно, мы с ними часто общались. И вот тут — всегда у меня с детства была любовь к мистификациям — я придумал себе очередную игру: я стал выдавать себя за семинариста, который на каникулы поехал с геологами. И настолько вошел в эту роль, что порой даже сам стал забывать, что я их надуваю бессовестным образом. Тут, конечно, была масса вопросов: такой человек из другого мира... Я то вдохновенно сочинял, что-то знал понаслышке, что-то на ходу выдумывал, в общем, вдохновенно врал. И однажды, вернувшись в домик, который мы снимали у местных жителей (я спал в небольшой горенке, где висели образа в углу), я начал молиться. Сейчас мне уже трудно вспомнить, как это произошло, чем это было вызвано, но, во всяком случае, в этот вечер я действительно почувствовал себя верующим.

Дальше события начали развиваться очень быстро. Вернувшись из экспедиции, я тут же подал документы в Духовную Семинарию, куда принят не был ввиду недостаточной церковности. Что значит «недостаточная церковность»? Церковь (я имею в виду, конечно, церковь земную, а не небесную) — кастовая система. Она всегда была кастовой, и до революции, и сейчас — по-другому кастовая, но тоже кастовая, то есть очень не любит людей со стороны, никаким образом не связанных с церковью. Она очень не любит таких «озарений». Недоверчиво относится. Это можно понять: в церкви в разные времена бывала масса проходимцев, и такой жесткий отбор — он во многом оправдан.

А я до этого не ходил в церковь, практически никак не участвовал во всей религиозной жизни. Я вообще был, действительно, человек со стороны, которому просто стукнуло по голове, и он решил, что это — единственное достойное занятие в этой жизни и в этой стране.

Короче, мне было предложено воцерковиться, и я поступил на работу сторожем в Духовной Академии. Работа в качестве сторожа мне дала очень много. Зарплата у меня была маленькая, и я на жизнь зарабатывал тем, что писал ленивым семинаристам курсовые сочинения. Это было очень просто: я брал в библиотеке необходимую литературу и делал обзор такой литерату-

ры. Большого и не требовалось от них. Тем я зарабатывал себе на жизнь, ну и одновременно прошел программу семинарии без отрыва от своего вахтерского места.

Здесь стоит вспомнить такую историю. Сразу после подачи документов в Семинарию вызывают меня в военкомат. Вхожу я в военкомат, показываю свою повестку, и мне предлагают пройти в кабинет, где сидит человек в штатском. Ну, «здравствуйте» — «здравствуйте». Он мне говорит: «Я хочу с вами побеседовать относительно вашего желания поступить в Духовную Семинарию». Я говорю: «Простите, а кто вы такой, чьи интересы вы здесь представляете?».—«Я, — говорит, — представляю здесь интересы военкомата».—«Ну, в таком случае, давайте с вами побеседуем о том, как я исполняю обязанности военнслужащего, находящегося в запасе. Мое желание поступить в Семинарию ни в коей мере к компетенции военкомата не относится». На этом мы с ним и распрощались. Так что, можно объяснить мое непоступление в Семинарию еще и такими причинами, не зависящими уже от моей церковности-нецерковности. Но, впрочем, уже сейчас, по прошествии многих лет, я бы на месте тогдашней администрации тоже бы не принял себя в первый раз.

Однако, когда я проработал сторожем в течение года, оказалось, что мое поступление все равно нежелательно. И сказал мне это не кто иной, как сам ректор Академии. Здесь необходимо отступление.

В церковной среде говорят, что среди ныне существующих трех духовных школ в нашей стране (Московской, Ленинградской и Одесской) в Московской школе учат учиться, в Ленинградской — молиться, а в Одесской — работать. Особенность Московской духовной Академии, конечно, определяется тем, что она находится на территории Троице-Сергиевой Лавры, и отсюда особый дух, в общем-то, хороший дух; и вместе с тем, именно из-за своей географии Академия обладает такими специфическими монастырскими недостатками, вроде жесткого казарменного режима. Например, в Загорске есть ресторан. Студентам в этот ресторан во время обучения — и это правило — можно идти только для того, чтобы праздновать свое исключение или отъезд из Загорска. Как это узнается — неведомо. Система осведомления хорошо поставлена и в Ленинградской школе, но до Московской ей далеко. Можно прийти в ресторан в Загорске, в котором не будет ни одного знакомого человека, и тем не менее, вечером это будет известно и можно идти собирать чемодан.

Ленинградская же духовная школа — вольнолюбивая. И во многом это определяется тем духом, который туда внес в свое время Никодим.

Никодим — фигура очень сложная, противоречивая. Это покойный митрополит Ленинградский и Новгородский и еще с массой других титулов (он был председателем отдела внешнецерковных сношений, потом, после оставления этого поста, — председателем комиссии Священного Синода по вопросам межхристианского единства, президентом Всемирного Совета Церквей и т. д. и т. п.). Короче, де юре это был второй человек после патриархов церкви, а де факто, наверное, — первый. Во всяком случае, почти все архиерейские хиротонии, то есть поставления в епископы, совершались по его желанию, и его клеветы становились в те времена епископами. Я не берусь здесь в полной мере анализировать его деятельность: это фигура

крайне противоречивая, с одной стороны, человек, радеющий о церкви (он прекрасно служил), вообще фигура незаурядная, человек очень большого ума; с другой стороны, его самодурство, его отчетливая ориентация на Запад (как сказал один мой приятель: «Никодим был тем Троянским конем, на котором католики въезжали в православие»). Не знаю, насколько справедлива такая характеристика, но что-то в этом есть.

Одним из любимейших учеников Никодима был Кирилл, ректор Академии, архиепископ Смоленский и Вяземский, которому Никодим обеспечил блестящую карьеру: в двадцать пять лет Кирилл уже (в миру Владимир Михайлович Гундяев, сын бывшего настоятеля Охтинской церкви, тот умер несколько лет назад) стал архимандритом, представителем Русской Церкви в Женеве, в двадцать восемь — ректором Ленинградской Академии, в двадцать девять лет — епископом, в тридцать — архиепископом. Говорят даже, что Никодим собирался оставить ему ленинградскую кафедру, сам став митрополитом Новгородским, то есть разделив митрополию на две епархии, как, впрочем, раньше и было.

Ректором же Московской Академии был архиепископ В. (тогда он был еще совсем молодым человеком, младше, чем я сейчас), который обладал удивительной способностью: придя к нему, человек тут же проникался уверенностью, что вот этот вот ректор Академии, епископ, всю жизнь только и мечтал о том, как бы с ним встретиться и поговорить, и вот он оставляет все дела — ибо вынужден ими заниматься, а вообще у него единственная мечта — это просто с тобой поговорить, и вообще ни о чем другом, кроме твоих дел, он не думает. Причем уже потом, убедившись, что это не так, каждый раз снова, входя к нему в кабинет, я все время поддавался этому очарованию и соблазну. И тогда, когда он мне сказал, что я не церковен, я ему поверил (ну, тогда это, в общем, действительно соответствовало истине), а через год он же сказал мне: «Теперь вот вы достаточно церковны, я не сомневаюсь, что вы человек глубоко верующий, но скажите, хотите ли вы быть священником?».—«Ну, конечно, владыка, хочу!».—«Нет, я понимаю, что вы хотите у нас учиться, получить богословское образование... Но хотите ли вы быть священником?» «Конечно, хочу! Какой нормальный человек не хочет быть священником?».—«Но вот вы знаете, меня все-таки берут сомнения: вам нужно как-то самоуглубиться. Хорошо бы, если бы вы пожили в каком-нибудь монастыре». Я тогда тоже принял это за чистую монету: вот, владыка говорит, значит он знает, обладает таким духовным опытом, с его колокольни — дескать — виднее, как мне поступить. И я, не поняв, что меня просто таким образом на фиг посылают, поехал в монастырь.

Я еще расскажу о жизни в монастыре, но, забегая вперед, скажу, что, когда я через год, уже в сане священника приехал в Москву в Академию, он меня спросил: «А почему ты стал священником без моего благословения?». На это я ему сказал: «Владыка! Первый раз меня не взяли, потому что я недостаточно церковный, второй раз — потому что я не хочу быть священником, в третий раз — потому что я стал священником... Мне уже просто интересно, что вы скажете в четвертый раз?». Он сказал: «В четвертый раз уже ты мне скажешь: «Что это ты, владыка, тут крутишь?» Я запомнил эти слова, которые впоследствии ему и произнес. Но об этом позже.

Что такое монастырь сейчас? Здесь опять существуют две противоположные версии: версия самих церковных или околоцерковных деятелей, обычно обильно политая сахарным сиропом, или что-нибудь такое обличительное, атеистическое. Хотя в последнее время некоторые наши деятели пытаются бросить объективный взгляд на происходящее, в том числе и на монастыри, но это так — очень фрагментарно, отрывочно, никакой полной картины не дает, да и дать не может, потому что для того, чтобы рассказать о жизни в монастыре, там надо жить.

Есть такие области человеческой жизни, которые невозможно понять, не пережив. Вот — невозможно рассказать человеку о том, как, допустим, в армии служить; он может понять, что там плохо, нехорошо, трудности, но это — неполные знания: не будет ощущения. Нужно пережить и почувствовать сущность армейской жизни и армейской морали, чтобы понять все это. Вероятно, у меня еще не раз будут такие ассоциации церкви и армии, потому что там, особенно в жизни в монастыре, действительно много общего: строгая иерархия, форма, устав, церемония... И это не только внешнее сходство, за этим внешним есть свои глубинные корни (в православной церкви еще меньше, а вот католическая, — она и вовсе построена по армейскому принципу).

Итак. Маленький монастырь, десяток монахов. Приехал я в Вильнюс. Именно в Вильнюс я поехал по нескольким причинам. Во-первых, в Вильнюсе жил брат одного священника, с которым я был дружен (он был в братии монастыря и был архидьяконом в нем). Во-вторых, ныне покойный прекрасный человек, удивительно духовный, старец архиепископ Филарет (тогда он еще епископом был, по-моему) написал письмо виленскому архиерею с просьбой мне помочь устроиться. Впрочем, он написал два письма: другое письмо было написано рижскому архиерею, и сначала я поехал в Ригу, поскольку недалеко от Риги есть такая Рижская пустынька, в которой жил тогда, был духовником этой пустыньки, один его хороший знакомый. Пустынька — это, так сказать, филиал, — де юре, филиал — Рижского женского монастыря, а на самом деле эта пустынька уже более серьезный монастырь, чем тот, который находится в Риге. Его духовником был такой архимандрит Матвей, очень простой мужик, но удивительно духовный, к которому съезжались люди со всей страны за его советами. Он много пострадал, больше двадцати лет он сидел. Интересный человек. Не традиционный. Вот, скажем, именно он дал мне однажды такой совет: «Всегда выходи из дома в теплом белье, даже если на улице июльская жара». Я говорю: «Зачем?». Он говорит: «А заберут, — знаешь, как отлично будет: все будет мерзнуть, а тебе в камере тепло будет». Такой он был, с чувством юмора. Но я с ним в общем мало был знаком и не берусь рассказывать об этом человеке, которого знали все русские церковные люди, пока он был жив... Но отец Матвей был тогда уже тяжело болен; мне предложили где-то, на каком-то приходе быстренько обучить и рукоположить, но мне не понравилась такая идея — поскольку я еще не чувствовал себя готовым к скоропалительному принятию священства. Жить при Матвее, как мне хотелось, у меня не получилось, и поэтому я уехал в Вильнюс.

Монастырь находится в самом центре города, что уже несколько странно: монастырь прямо в сердцевине европейского города, за стеной — ресторан

«Медининкай», магазины, толпа — прямо в туристском центре. Масса туристов каждый день приходит в монастырь, ибо это — единственный еще действующий монастырь на территории Литвы. Инославное окружение. Своеобразный монастырь. Жило там десять человек монахов. Десять и не больше. Это определялось очень просто: жестокая реалья нашей жизни — паспортный режим. Больше просто не позволялось прописывать. Но, тем не менее, всевозможными путями какие-то люди там, при монастыре, жили все равно: были прописаны где-то в городе, у каких-то сердобольных старушек, кто-то жил вообще нелегально, на птичьих правах. И на самом деле там было, кроме этих десяти монахов, еще, наверное, десятка два других людей, которые там жили неофициально или полуофициально. Кроме того на территории монастыря жили еще старушки-монахини, поскольку в хрущевские годы был закрыт женский монастырь в Вильнюсе, Марии Магдалининский... (Сейчас в нем находится колония для малолетних преступниц. В общем, довольно символично, что они живут в монастыре Марии Магдалины. Кто его знает, может так и надо...) Во всяком случае этим старушкам, которым было некуда деваться, один из корпусов мужского монастыря отвели для жизни, там они доживали и сейчас еще доживают свой век. Так, умирая и исчезая. Новых туда не берут. Хотя некоторые женщины, опять же как-то полуофициально или неофициально существовали и там. Кстати, экскурсоводы, я помню, очень лихо это описывали (не все, только русские, — литовцы или поляки, которые водили экскурсии, всегда очень доброжелательно относились к монастырю, к церкви, а вот когда попадался какой-нибудь лихой русский экскурсовод, он мог сказать что-нибудь такое: «Вот монастырь, мужской; вот здесь мужской монастырь, а вон там монахини живут. Неплохо устроились, правда?!»). Вот такое удивительное, конечно, хамство: закрыть монастырь, выгнать старух, а потом, когда их сюда с трудом пустили, так вот это обыгрывать. С этим же экскурсоводом, который так некорректно рассказывал о наличии старушек-монахинь на территории нашего монастыря, в дальнейшем у меня произошла еще одна встреча, когда я уже был священником и монахом. Мой архиерей послал меня в город по делам, каким — не помню, и вот возвращаясь, одетый крайне цивилизно, я увидел, как он что-то рассказывает группе о монастыре, и кто-то задает вопрос: ну, а что здесь за монахи-то живут? (А в это время по аллейке брел наш старец, тогда ему было лет 96, отец Авраамий). Он говорит: «Ну вот, тут живут такие ветхие старики, уже вымирающие: вот — отличная иллюстрация». Идет седобородый старец, действительно, отличная иллюстрация. Я очень разозлился, быстренько забежал в свою келью, накинул рясу, надел клобук, тут же вышел и продефилировал мимо этой экскурсии (а было мне тогда 22 года и, в общем, никоим образом на вымирающего я не походил), — там кто-то тут же отреагировал в экскурсии: «А, — говорит, — этот тоже вымирает?»... Ну, это я отвлекся.

Когда живет такое небольшое число людей вместе, возникают особые отношения. Давно уже прошли те времена, когда монахи — группа единомышленников, то есть община (раннехристианская, да и в России были такие монастыри). В основе же самой идеи монастыря и лежит, что: это группа единомышленников, которые живут, трудятся и, в первую очередь, молятся, конечно, вместе. Но такие времена давно прошли. В те времена,

когда я жил в монастыре, каждый монах собой представлял самостоятельную партию, и эта партия находилась в состоянии вражды с какими-то другими партиями. Эти партии образовывали коалиции, но тем не менее каждый представлял собой партию самостоятельную. Положение у меня очень быстро стало довольно выигрышным, поскольку виленский епископ Кирилл (он еще и сейчас жив, хотя уже в возрасте более чем преклонном) мне покровительствовал. У этого старика не было своих детей, и он меня как-то просто полюбил и приблизил к себе. Благодаря этому я и сделал свои первые шаги в церкви очень легко и успешно. Он меня приблизил к себе, сделал своим иподьяконом, как своего келейника прописал меня в монастыре (у него было такое право — одного человека держать в качестве келейника, а келейник — это нечто среднее между денщиком и личным секретарем) и также дал мне работу в виленском епархиальном управлении, которое тоже находилось на территории монастыря (епархиальное управление — это такой штаб, который руководит всей церковной жизнью на территории данной епархии). И поэтому мне не нужно было участвовать в сложной межпартийной борьбе, поскольку я был вне партий, а просто при архиерее. Это делало мою жизнь гораздо проще и легче, поскольку я занимал положение, с которым нужно было считаться, никому ссориться со мной как-то не хотелось.

Распорядок жизни в монастыре приблизительно такой. В шесть часов начинается служба. То есть в шесть часов приходит седмичный священник, то есть священник, который в течение этой недели совершает службы, ну и чуть позже подтягиваются остальные. Служба заканчивается где-то часов в 10—11. Один монах служит, или двое, ну а в праздничные и воскресные дни служат все, а поют в этом случае наемные платные певчие, которые приходят из города. А на будних днях поют сами монахи, и раз в неделю еще пели старушки-монахини. Потом — обед. Потом, до вечерней службы, все практически предоставлены самим себе. Это, в общем, не совсем традиционная жизнь монашеская, потому что как бы еще предполагается, что монахи, кроме того, что служат, поют, читают, молятся, еще и работают. У нас же никто не работал. Все необходимые хозяйственные работы исполняли люди наемные. И поскольку десять человек — это немного, то все занимали какую-то должность: один — наместник монастыря (о нем особо), другой — эконом, третий — казначей, четвертый — духовник, пятый — ризничий. Ну, в общем, как-то получалось, что все как бы начальники. И это, кстати, тоже способствовало межпартийной борьбе.

Наместником монастыря в это время был игумен, впоследствии архимандрит, Онуфрий. Это был человек, которого я могу (не могу, а тогда мог) назвать своим любимым врагом. Мы друг друга невзлюбили с первого взгляда. Но, поскольку меня любил архиерей, то выгнать меня было нельзя. Но тем не менее у нас с ним шла борьба. Мне был совершенно чужд его стиль священнический: такая сахарная манера разговора с людьми и одновременно деспотизм при этом. Но человек это безусловно талантливый. Сам из белого духовенства (он принял монашество, овдовев), причем он, уже будучи вдовцом, служил на одном из приходов Вильнюса, а потом тогдашний епископ, предшественник Кирилла, моего архиерея, поссорившись с тогдашним наместником монастыря архимандритом Евлампием (о

нем тоже речь впереди), постриг этого Онуфрия в монашество и тут же сделал игуменом. Ну, это, естественно, монахам не понравилось: то есть как так — человек пожил с женой, наделал детей, и вдруг его с прихода забирают и ставят начальником над людьми, которые прожили в монастыре всю жизнь. Это, конечно, обидно, их я тоже могу понять. Но он успешно справился с монашеской оппозицией (тогда они на какое-то время все сгруппировались в одну партию — все против него), он выстоял, ибо был борец незаурядный... Надо сказать, что это был человек очень деловой. Он развернул грандиозное строительство (имеется в виду, в масштабах монастыря): перестроил братский корпус, даже оборудовал там сауны, сделал новые кельи, сделал специальную гостиницу для паломников. Очень много чего сделал. Демонтировал собор... Правда, многое из этого мне тоже не нравилось, потому что вкусом он не обладал, и, скажем, монастырский собор, такой барочно-рококочный (он выкрасил его в розовый цвет, с белыми завитками барочными), выглядел как кремовый торт, а потом он еще поставил на этот собор готические фонари с красными стеклами — это было уже совсем абсурдно. Но отсутствие вкуса — это другая тема. Отсутствие вкуса ни в коей мере не мешало ему быть человеком талантливым и деловым.

Борьба с ним достигла апогея, когда я однажды, за что-то на него обидевшись, написал акафист. Акафист — это церковное песнопение, посвященное какому-нибудь святому, состоящее из тринадцати кондаков и тринадцати икосов; каждый кондак заканчивается словами «Аллилуйя», а каждый икос словами «Радуйся... (и упоминанием имени святого)», скажем: «Радуйся, Никола, великий чудотворче». Ну, это есть такое песнопение, любимое народом, которое в церкви постоянно исполняется. Кроме того, это была еще древняя форма монашеской сатиры, когда акафисты писались на какого-нибудь эконома, который плохо кормил, и это обыгрывалось. Такое и в русской сатире встречалось: какой-то акафист был Фаддею Булгарину, еще кому-то... И я, как-то разозлившись на архимандрита Онуфрия, написал акафист с припевом: «Радуйся, Онуфрий, наместниче гнусный и мерзкий». Я уже не помню всего текста, к сожалению, но это был такой занятный треп, там, скажем, был такой кондак: «Проповедуют красные фонари на соборе паче всякого красноречия всю бездонную глубину твоей пошлости, дивясь на которую православные люди плюют в твою сторону, а наместничья сволочь вопит Аллилуйя». Ну и в таком духе по всем канонам все тринадцать кондаков и тринадцать икосов набросал. Помню, там еще было такое: «Радуйся, Онуфрий, своему именитому тезке в блудословии не уступающий... Радуйся, Онуфрий, КГБ быстрое и надежное услышание...». Конечно, многие упреки были несправедливы, но, во всяком случае, это было написано, перепечатано и в узком кругу разошлось в самиздате. Естественно, доброжелатели поднесли экземпляр и ему, автора было установить нетрудно, и наши отношения как раз в последние месяцы моего пребывания в Литве накалились до предела. Но об этом опять же позже.

Второй человек, о котором из монахов мне хотелось сейчас вспомнить, — это архимандрит Евлампий, ныне покойный. Это был мой уже нелюбимый враг. Мы с ним просто конфликтовали безо всякой любви. Хотя о покойниках плохо не говорят, но как говорит один мой приятель в таких случаях: вряд ли Царствие Небесное. Он был бывший наместник, его сместили

(сместил нынешний архиепископ Берлинский и патриарший экзарх Средней Европы Герман, тогда он был епископом Виленским и Литовским, — и вот он его сместил с заместников), после чего на него была масса разных жалоб.

Человек этот весил килограммов 150, это был самый толстый человек, которого я встречал в своей жизни, такой среднего роста и бочкообразный. Рассказывали, что в молодости это был красавец и в монастырь приходила масса женщин, чтобы полюбоваться им и его красивым голосом (он еще в свое время преподавал церковное пение в Виленской духовной семинарии). У него была трудная жизнь. Он рос сиротой, воспитывался в монастыре, потом, после войны, несколько лет сидел. И, возможно, благодаря всем этим переживаниям имел очень тяжелый склочный характер. Еще он был страшно скуп. Помнится, как-то он, в день моего ангела, подошел ко мне и сказал: «Ах, у тебя сегодня день ангела, не знаю, что тебе подарить». Я ему на это ответил: «Отец Евлампий, с тех пор, как финикияне изобрели денежные знаки, этот вопрос потерял свою прежнюю актуальность», но он так и не понял моего деликатного намека и так ничего и не подарил. И вот характерной иллюстрацией моей жизни в монастыре была как раз война с этим архимандритом Евлампием.

Война началась с собачки. Однажды, будучи в Вильнюсе по каким-то делам, я встретил собачку, которую поманил конфеткой, и она ко мне привязалась. Побежала за мной, прибежала в монастырь, и от меня ни на шаг не отходила (когда я шел в церковь, я ее привязывал, чтобы она не рванула за мной в церковь). Ну, еды в монастыре всегда много, кормить ее труда не составляло... И назвал я эту собачку пророчески Му-Му, потому что судьба у нее была не менее трагическая. Когда появилась эта собака, Евлампий сразу начал ворчать: вот, мол, развели тут всякую дрянь, ходит, пачкает, и вообще нужно ее куда-нибудь завести и выкинуть, и тебя вместе с ней, на живодерню вас отдать... В общем, был «гуманист». И однажды, придя из церкви, я не обнаружил своей Му-Му на месте. Поскольку она была привязана, уйти сама она не могла. И вскоре я увидел Евлампия, довольно потирающего ручки. То есть, я не знаю, каким образом он извел мою собаку, но собаку он извел, и я затаился, решил отомстить. Мщение было довольно быстрым. Отец Евлампий покойный считал, что все его неприятности, его болезни, хвори — все оттого, что кто-то, какие-то темные силы на него действуют: кто-то колдует... В общем, он объяснял это как человек верующий, мистически. Первым моим отмщением было такое: как-то около двенадцати вышел я из монастырского корпуса и встретил совершенно черную кошку; я эту кошку поймал, подкрался к двери Евлампия (он в это время вражий голос слушал), а было около двенадцати; и когда ровно двенадцать начало пикать, я эту черную кошку ему в дверь закинул. На следующий день все монахи слушали о том, как ему явился бес в образе черной кошки, тут без колдовства не обошлось, какие-то враги, мол, околдовывают. Вторая месть тоже была связана с кошкой. Жили мы с этим Евлампием окно в окно, я на первом этаже, а он на втором.

Пришла какая-то кошка и мяукнула там жалобно. Дело было весной, окно открыто, всё это мяуканье слышно хорошо... Евлампий высунулся, сказал: «Кыш, брысь, всякая дрянь бегаёт тут...», кошка убежала. Вот, думаю, гад; мало того, что мою Му-Му со свету сжил, тебе еще кошка помешала.

Высовываюсь в окно и дублирую это мяуканье. Он высовывается опять: «Кыш, брысь, дрянь, опять здесь...». Я опять: «Мяу-мяу». Ну, тут он начал кидать разные предметы: куски штукатурки, еще что-то; я мяукаю еще надрывнее... Когда он дошел до своих ночных тапочек (он очень быстро заводился), тут дальше я уже мяукать не мог. А бросать он мог сколько угодно, потому что я был не под окном, а в окне, только этажом ниже. Но тут я уже остановился.

Но самая страшная акция была такой. Дело в том, что Евлампий еще при жизни соорудил себе такой мавзолей — не мавзолей, но такой изрядный памятник, черного мрамора, на котором было написано: «Архимандрит Евлампий», дата рождения, черточка, дата смерти проставлена не была, зато была еще какая-то душещипательная надпись на памятнике... И вот у него было такое развлечение: примерно раз в недельку — в две он приходил на свою могилу и сидел-тосковал.

А нужно сказать, в монастырях частеньки такие шуточки, связанные со смертью, которые неприличны в обществе нецерковном. Там естественно сказать: «Если доживешь». Вот, скажем, кто-то собирается куда-то поехать — «Ну, если доживешь». Это не воспринималось как хамство, и вообще разговоры о смерти не считались неприличными. Это было хорошо и нормально. Вот. А у Евлампия это вылилось в такую своеобразную форму. Но, вообще, в этом действительно что-то есть такое: посидеть на своей могилке, порыдать, пожалеть себя... Это даже можно понять. Но поскольку он был человек очень тучный, передвигался очень медленно, а кладбище, на котором его могилка находилась, было не на территории монастыря, а на городском кладбище — просто около церкви был монастырский участок. Я заметил, что Евлампий собирается на кладбище. Мне не представляло большого труда его обогнать, мелом дописать дату смерти тогдашним числом и залечь в кустах. Это невозможно описать, это надо было видеть, как он реагировал. Сначала до него не дошло. Потом взгляделся, сопоставил даты... Потом начал мелко крестить всё вокруг и читать молитву «Да воскреснет Бог, расточатся врази Его...». Ну, я большое удовольствие получил. Конечно, мальчишка еще был. В те времена я еще не был священником, это еще было во времена моего послушничества: такое счастливое время... как вот люди вспоминают свои студенческие годы, я с таким же умилением вспоминаю то время, которое я жил в монастыре в качестве келейника.

С этим же Евлампием была еще одна история на ту же тему. Однажды, обидевшись на него, мы подсунили ему записку. (Есть такой момент в службе, когда (вообще-то это дьякон должен делать, но когда дьякона нет, то сам) священник читает записки о здравии и упокоении.) И вот он читает: «Еще молимся о милости жизни, мире и здравии, спасении, прощении...» — дальше читает уставные имена, братия монастыря, «и рабов Божиих» — тут начинаются записки. И вот сверху мы подсунили записку: «О здравии скорбящего и озлобленного архимандрита Евлампия». После «скорбящего и озлобленного» он, несмотря на службу, шарнул все записки по алтарю... к всеобщей нашей радости.

С ним же еще была история, когда в Родительскую субботу, когда была длинная заупокойная служба (это день поминовения усопших), мы, послушники, стоим за спиной и ведем такую «неторопливую беседу»: «А вот, дескать,

никто из монахов что-то давно не умирал. А какая служба умильная — монашеское погребение! Ох, послушать бы, помолиться... А кто у нас в монастыре помереть-то может вообще-то? Да отец Евлампий, наверное...» — причем так, чтобы он, конечно, все слышал. При этом надо помнить, что все-то вольно стоят, а он — участвует в богослужении и обернуться не может. «Да... Но он такой... тучный очень. Такие тучные трупы — они очень начинают быстро гнить и смердеть, — вонь-то какая будет! А еще такую тушу из церкви тащить!..». Вот такие у нас были невинные шалости. Они бывают и во время богослужений... Причем часто бывает неверное восприятие: люди часто забывают о том, что духовенство — тоже люди, со всеми эмоциями, отношениями, симпатиями и антипатиями, желанием пошутить. И часто такие истории анекдотические воспринимаются как полная бездуховность. Ничего подобного — это не так. Это — просто жизнь. И понятно, что совсем не всё надо открывать народу, тем более, что для какой-нибудь наивной старушки узнать что-нибудь такое — это просто трагедия. А истории бывают разные. Вот, пожалуйста, анекдот. Мой коллега, с которым мы служим в одной церкви, мне рассказал следующее. Во время его дежурства к нему пришли люди с просьбой объяснить, как быть в таком случае, чем утешить человека. История такая: умерла старушка, которая просила похоронить ее в деревне. Деревня — в 200 километрах от Москвы. Везти покойника — это дело непростое. Решили везти на своей машине. Как? Завернули труп в ковер, положили на багажник — и повезли. (Историй таких очень много можно рассказать. Здесь занятность не в этом.) Поехали. По дороге решили перекусить в каком-то райцентре: зашли в столовую. Поели, вышли, возвращаются, а ковра нет. Ковер украли. Мне очень интересно ощущение людей, которые украли ковер, — такие вещи даром не проходят.

Но я отвлекся. Я говорил о жизни в монастыре и об отношении к смерти, которое в церкви, конечно, особое, ведь вся жизнь в церкви так или иначе связана со смертью и смерть воспринимается совершенно иначе, чем в мирской жизни. Кстати, у нас сейчас, в советской жизни, не любят говорить о смерти. Однажды в Родительскую субботу я даже проповедь такую произносил. Сам разговор о смерти стал у нас неприличным. Нехорошим. Скажем, врач даже по существующим правилам Минздрава обязан до последней минуты больному врать, говорить, что тот поправится, выздоровеет. Я считаю, что это неправильно, плохо. (Впрочем, даже медицинская сторона этого вопроса сомнительна. Мне один мой товарищ, врач, говорил, что эта установка на то, что если больному скажут, что он умрет, то, дескать, какие-то внутренние силы перестанут работать — это тоже неправильно; это сугубо индивидуально: у иного человека — наоборот, когда он услышит, что умрет, то всё заработает, и, возможно, болезнь преодолется каким-то непостижимым образом.) Но я не об этом. Я скорее о моральном аспекте. Дело в том, что у нас так установлено, что даже самые последние минуты жизни человека отравлены ложью. Человек умирает, а его близкие рядом говорят ему: «Нет, ты поправишься». Хотя, вообще, можно было бы сказать и иначе, что: «Знаешь, у нас осталось очень мало времени; давай сейчас скажем друг другу те слова, которые мы не успели сказать во время суетной жизни, а вот сейчас можно сказать всю правду, проститься, попросить

прощения». Наконец, может быть, человек хочет и имеет право распорядиться своим имуществом, которое у него есть... Имеет человек право на свои последние дни, часы — распорядиться ими так, как он считает нужным. У нас человека лишили этого права. Я считаю, что это аморально. Когда-то в России было так (я это слышал от старика-врача, который лечил еще до революции): врач говорил: «А теперь медицина бессильна. Молись». Человек молился. Порой случалось чудо, потому что он молился. Теперь человеку врут до конца, и он не молится, и чудес не бывает. Или бывают, но совершенно иного толка и рода. И я не знаю, мне кажется, что какая-то демоническая сила постепенно выветривает, уничтожает вид смерти из жизни людей, уничтожает память смертную. Есть такие слова: «Помни последняя свои и веки не согрешишь». То есть помни о том, что ты умрешь. У человека потихонечку уничтожают эту память смертную. Я помню длинные похоронные процессии моего детства: люди шли с оркестром или без оркестра, прохожие останавливались, мужики шапки снимали. Потом это исчезло. И потихонечку свелось к тому, что сейчас люди даже покойника не видят: сразу забирают в морг, дальше — какая-то команда похоронная, в крематории его открыли, тут же закрыли, в печь — и нету. И все эти действия, с уничтожением кладбища, всех ритуалов: похоронного, поминального, погребального, — уничтожают память смертную. Причем человек очень легко на это идет, потому что ему свойственно верить в свое бессмертие. Ведь никакая статистика автомобильных катастроф нас не убеждает в том, что мы выйдем и нас машина задавит: нет, конечно, — с кем угодно это может быть, только не со мной; даже люди воевавшие не верили, что их может на войне убить: каждый верил — я обязательно останусь жить. И когда сам вид смерти из нашей жизни уходит, то люди забывают, что они смертны, о том, что они — временные жители земли. И мне кажется, что в этом таится глубокая опасность вседозволенности из-за потери памяти смертной. Это очень страшно, когда человек возомнит себя бессмертным на земле. Одновременно с этим убивается чувство покаяния, раскаяния. Очень много изначально заложенных в человеке положительных духовных стремлений убивается, уничтожается вместе с убиванием смертной памяти.

Вот иллюстрация. Меня просили родственники причастить больную старушку, которая явно уже отходила. Я приезжаю: у нее над кроватью висит собачья морда (лакированный огромный плакат с календарем и мордой пуделя) вместо иконы. Я говорю: «Слушай, бабушка, ты же уже помираешь... Ну вот как это — ты вот под этой самой псиной так и помрешь? (Я вообще-то собак люблю...) Последнее, что ты увидишь, к чему тебе взор обратит, лоб перекрестить — это вот этот пудель?» — «А я, батюшка, помирать не собираюсь». Ну и так далее.

Это абсурдно, недостойно человека. Смерть — это великое таинство: дайте человеку умереть достойно, по-человечески умереть. Дайте ему сказать что-то перед смертью. Кто его знает, какие внутренние духовные резервы в нем имеются. Может быть, это очень важно. Почему человека лишили права умирать?

Если продолжать эту мысль, то атеисты непоследовательны: вот хоронят какого-нибудь вождя, говорят: «Костлявая рука смерти вырвала из наших рядов верного сына имярек... Спи спокойно, дорогой товарищ». Почему тогда

«спи спокойно», если для него после того, как его закопают, жизни нет? Почему «спи спокойно»? Тогда уж «разлагайся спокойно». Само слово «покойник» тогда надо упразднить, потому что слово «покойник» с точки зрения материалистического мировоззрения — оно абсурдно. Нужно говорить «труп». Это доказывает и наш замечательный русский язык, где «покойник» — это одушевленное, а «труп» — неодушевленное. Потому что одушевленность и неодушевленность по русской грамматике определяется винительным падежом: кого — покойника, и что — труп. То есть слово «покойник» — оно абсурдно, оно неправомерно, по их идеологии. «Покойный», «покойник» — значит «временно находящийся в покое». А тут именно «труп». «Труп, разлагайся», а не «спи спокойно, дорогой товарищ», — с их точки зрения. Мимо этого обычно проходят: уничтожение кладбищ, кремация. Причем в наших совдеповских условиях эта кремация снискала уже такую гнусную славу, что становится известной. Вот иллюстрация: однажды один мой коллега в нашей церкви отпевал покойников, и поставили на стоечку, рядом с покойниками урну, чтобы вместе с покойниками отпели и этот прах. И дальше во время всей этой тусовки женщина случайно задела эту стоечку, урна упала, покатилась и раскрылась... и оказалось, что она абсолютно пуста. Просто пустая керамическая коробка. Я подумал о людях, которые принесли туда эту коробку, которые потом ее захоранивают, а может быть, и везут для захоронения в другой город, и приходят на могилку — пустую могилку, — думая, что там прах близкого человека. Это крайний цинизм: настолько опошлить таинство смерти, чтобы дойти до этого — пустую коробку зарывают... Это очень стыдно, больно. Я не знаю, как это назвать.

Конечно, когда человек живет в церкви, в церковной службе, то там сама церковная служба определяет в человеке стремление к памяти смерти. Любишь ты это или не любишь: тебя сам уклад жизни заставляет думать так. Когда я пожил в монастыре, то мне пришла в голову мысль, что если бы можно было любых атеистов набрать и отдать в послушники в монастырь, то (я убежден) большая часть из них стала бы верующей. Тут не надо никаких дискуссий, споров, выяснений, поисков духовных. А просто — начинаешь жить такой жизнью и постепенно привыкаешь, все становится на свои места.

Когда-то Аристотель писал, что человек тем и отличается от свиньи, что он иногда отрывается от поисков подножного корма и смотрит на звезды. Ведь есть у нас масса людей, которые совсем не ставят вопроса о духовных исканиях, — просто им некогда оторваться от поисков подножного корма. Если оторваться от подножного корма, то очень многие взглянут на звезды. Я совсем (поймите меня) не к тому, что нужно сейчас как-то мобилизовать всех, отправить юношей вместо армии в монастыри, но и привычка, уклад жизни имеет огромное значение.

Но я отвлекся. Описывая свою жизнь в монастыре, я остановился на том периоде, когда я жил в монастыре в качестве келейника, иподьякона. Кто такой иподьякон? Иподьякон — это человек, который занимается обслуживанием священника во время службы: одевает, раздевает, подает ему в нужный момент свечи, посох... Иподьяконов бывает разное число, в зависимости от значимости архиерея и его возможностей... Нас было человек восемь. Я был старшим иподьяконом. То есть начальником почетного караула архиерея.

А поскольку принято, чтобы архиерей в праздники выезжал на приходы, то эта свита, правда, в несколько урезанном виде, его сопровождает туда, чтобы там на службе создавать всю пышность архиерейского богослужения.

Быть послушником в монастыре — совсем не означает, что человек обязательно становится монахом. Кстати, из всех наших бывших послушников только один стал монахом. Кто-то женился, стал священником, кто-то вообще куда-то пропал... Я был единственным, кто стал монахом.

Эти выезды на приходы — было наше развлечение. К ним архиерей приезжает раз в год, мы же к нему привыкли, мы его не боимся, он, в общем, незлой старик... Ну, архиерей, — относимся с почтением, но тем не менее какого-то страха мы не испытываем. Зато вот приходское духовенство, которое его видело очень редко, в эти только приезды, они боялись и его, и нас зачастую, и старались как-то ублажить: после богослужения нам засовывалось за труды по десяточке, кроме того, всегда накрывался стол, да и с собой давали сухим пайком. Но без грабительства и нахальства с нашей стороны. Потом, встречаясь с иподьяконами московскими московских архиереев, сравнивая их и нас, должен отметить, что это сравнение не в их пользу. При всей нашей развеселой жизни мы никогда не были такими алчно-циничными, а именно это я увидел у нынешних иподьяконов в Москве.

Кроме того в Вильнюсе часто бывали всевозможные иностранные делегации. В основном, католические, но почему-то все эти католики приезжали и жили за счет Московской Патриархии, а не за счет католической церкви. Почему так, я не очень понимаю, но все они были гостями Московской Патриархии и всегда их принимали у нас в монастыре. Так что мне частенько приходилось присутствовать на этих приемах, архиерей меня брал «для солидности», чтобы было видно, что у него есть личный секретарь, — это повышало его собственные акции. Хотя он и побаивался, потому что я иногда мог за столом ляпнуть что-нибудь самое неожиданное. Но тем не менее, я думаю, что именно за это он меня и любил, за то, что я мог ляпнуть все что угодно при ком угодно и ему самому. Если это интересно, я могу об этом отдельно рассказать.

Вот одна из наших бесед. Однажды мне мой архиерей, с которым мы долго тогда говорили, сказал, что, дескать, наше духовенство как-то очень расслабилось, распустилось, и нужно его как-то дисциплинировать. И у меня сразу появилась параллель с армией. Я сказал: «Да, владыка, все это ненормально: они распустились, оборзели... Давайте их дисциплинируем. Во-первых, у нас очень размытые знаки отличия. Давайте введем погоны: иеромонах — один крестик, игумен — два креста, архимандрит — три, а епископ — расшитые погоны и один большой крест, ну а дьякон — два маленьких крестика без просвета, как у прапорщика. Ну и по родам войск: у белого духовенства — белое поле погона, у черного — черное поле погона, а у celibатов (есть такое духовенство, в котором почему-то очень много гомиков, педиков — это лица не женившиеся, но и не принявшие монашеских обетов, то есть как бы белые, но одновременно неженатые) — им серое поле погона, пусть будет серое духовенство». Дальше я еще немного подумал и говорю: «А сотрудникам Отдела внешнецерковных сношений — малиновые погоны и клобук с околышем». «Перестань, замолчи, опять ты несешь всякую чушь!» Я говорю: «Владыка, ну подумайте, как все будет прекрасно, когда всё будет

так военизировано. Вот вы выходите вечером и командуете: «Монастырь, становись! Монастырь, равняйся, смирно!», наместник командует: «Равнение налево!» — и строевым шагом к вам: «Ваше преосвященство, монастырь на вечернюю молитву построен. Наместник монастыря гвардии архимандрит Онуфрий!», и вы: «Здравствуйте, товарищи монахи!». Он говорит: «Пшел вон от меня!».

Вообще большая часть наших с ним бесед кончалась словами: «Пшел вон!». Я думаю, что именно за это он меня и терпел, что я был человеком, которому можно было это сказать и было за что сказать. Однажды, прямо перед моим посвящением, он хотел меня наградить первой священнической наградой — набедренником (это такая часть священнического облачения, кусок материи, который надо на себя надевать во время богослужения). На что я ему ответил: «Владыка, вот вы мне подарили такой красивый подризник (длинная белая рубаха — на подрясник надевается, нижняя часть облачения), а предлагаете мне еще эту глупую заплату повесить. Я все равно носить не буду». Ну, он не слушает, а оценивает ситуацию: хотят наградить, а я говорю, что это — фигня какая-то. Говорит: «Вот как? Ну, а палицу ты бы носил?» (А палица — это более высокая награда, еще более абсурдной формы ромбической, которая с другой стороны и болтается при ходьбе.) Я говорю: «Палицу тем более бы не носил. Набедренник — он еще как-то облегает, а эта же просто болтается, как торба с сухарями. Абсурдная награда». — «Так вот как ты разговариваешь? Ну, а архиереем ты хотел бы быть?». Я говорю: «Конечно, владыка, нет. Архиереем быть очень плохо». — «А почему ты так решил?» Я говорю: «Владыка, вы посмотрите вокруг: все перед вами унижаются, кланяются, прогибаются... Ведь не у каждого, как у вас, есть такой келейник, который будет вот так всё запросто выдавать». — «Пшел вон! Никакой награды тебе вообще не будет.»

Но при этом (я думаю, именно из-за этого) он ко мне так тепло относился. Я помню, были еще смешные истории с какими-то иностранными гостями, когда я что-то неосторожно ляпал...

Но вообще большая часть наших архиереев — это люди глубоко несчастные, я думаю, именно из-за своей глубокой изолированности. Кстати, еще Лесков поднимал эту проблему, опять же на основании опыта знакомых архиереев. Что такое обычный епархиальный архиерей (правда, есть еще особая категория людей — московские викарные архиереи из отдела внешних сношений: международные люди, которые в основном занимаются приемом и сопровождением иностранных делегаций и сопровождением наших делегаций за рубеж... — ну, у них особая жизнь, я о них говорить не очень хочу, по-моему, с ними и так все ясно). А у простого порядочного человека, который волею Божьей и силою судеб стал епископом в какой-нибудь провинции (ну, как епископ Воронежский, Чебоксарский, Калининский — неважно), — какая у него жизнь? Он, во-первых, поставлен между двумя жерновами: между церковью и властями — чтобы и церковь не обидеть и перед властями не провиниться. Это очень сложно на деле получается. Но я даже не о его сложной духовной миссии, а просто по-человечески мне всегда этих людей очень жалко. Потому что: какое у него положение? Он вынужден жить в своих архиерейских покоях — лучших или худших, но обычно это бывает с достаточным комфортом, — но при этом он

живет на витрине, в этакоей золотой клетке. У него достаточно денег, которые ему, в общем-то, совершенно не нужны, потому что он и так находится на полном довольствии. Зачем ему? Ну, может быть, он что-нибудь коллекционирует: панагии, картины или просто денежные знаки... (простите, схохмил). И он очень мало может сделать для себя. Книжки читать — это же не все любят и не все умеют. В общем, трудно ему живется. Он очень мало может общаться с людьми и находится в зависимости не только официальной, но и еще вторичной зависимости, поскольку от него что-то зависит, какие-то блага, и перед ним заискивают, унижаются, ищут любовь, привилегии, не всегда отличается истинное от ложного...

И здесь я подхожу к очень важной проблеме. К событиям, которые определили мою дальнейшую жизнь: ту, которая была, и ту, которая будет. Потому что, как бы она ни сложилась, это безусловно повлияло на все остальное. Я, в общем, никогда серьезно не думал о монашестве, потому что как бы там ни было, при всей кажущейся простоте жизни монашества современного (пускай не в монастыре, пускай в городе, на приходе) — это все равно очень непростая жизнь. Об этом я еще отдельно поговорю. И тем не менее, не прожив и года в монастыре, я подал прошение о постриге. Почему? Сейчас, вспоминая и анализируя события тех лет, я думаю, что здесь причины были разные. Одна из них, как я сейчас понимаю, — это моя собственная дурость, но и позиция моего архиерея в этой ситуации. Надо отметить, что он-то сам принял монашество в семьдесят лет, овдовев, так что он себе плохо представлял все те трудности, которые достанутся на долю человека, который принимает монашество в двадцать два. Но ему хотелось меня рукоположить в священники. Ему это нужно было, и потом он хотел меня командировать на один приход, о котором он считал, что я должен с ним справиться... В дальнейшем так и было: он меня туда командировал, и я с этим приходом справился... Но для того, чтобы меня рукоположить, мне нужно было или жениться, или уже не жениться. Поскольку жениться у меня тогда как-то не получилось, а просто так жениться, на ком попало, я не хотел, то он мне говорит: «Слушай, зачем тебе всё это нужно: зачем священнику сейчас, в наши времена, жена? И вообще, женщины — такой народ... поверь мне, гораздо лучше без них. И потом, подумай, в двадцать два года ты станешь иеромонахом, тебя ждет блестящее будущее». А его покровителем был тогдашний председатель отдела внешнецерковных сношений, то есть, он мне намекал, что меня ждет карьера, возможно — международная... Да много ли, в общем, нужно, чтобы молодой дурак развесил уши. Ну а кроме того — вся эта одежда: мантия, клобук, все развевается; выходишь, говоришь: «Благословение Господне на вас», весь народ в монастырском соборе склоняет головы... Это же имеет огромное очарование. Конечно, с мирской стороны это может казаться странным, даже смешным, но здесь нужно еще учесть, что я-то жил в монастыре. А когда живешь в монастыре, то очень быстро эта вот жизнь в монастыре начинает казаться естественной: служба утром, потом какие-то там дела, как сейчас говорят, тусовки, монастырские, опять служба... И так быстро входишь в этот ритм жизни, что он кажется единственно нормальным. Возьмем даже эти одежды: подряски, рясы... Мне это кажется абсолютно нормальной одеждой, а какие-то джинсы — совершенно ненормальной, хотя я могу

ходить в город в цивильном виде, но тем не менее порой даже ощущаю неудобство всей этой цивильной одежды и в подряснике себя чувствую естественней. Вот даже собака, которая жила в монастырском саду, — она любого человека в рясе принимала безо всякого лая (огромная овчарища была), а вот человек в цивильном туда зайти не мог, потому что она могла загрызть. Вот, даже у собаки была такая психология; и у нас была психология, очень близкая к психологии Волчка. И поэтому такой шаг совсем не казался странным. Дело в инерции. Помню (опять вспоминаю армию): мне показалось совершенно естественным, когда один мой армейский приятель (я ничуть не удивился) вдруг решил остаться на сверхсрочную службу. Хотя для цивильных людей это кажется совершенным бредом. А я понимал все, связанные с этим психологические нюансы, которые человека побудили к такому шагу. И вот этот психологический фактор — он, конечно, сыграл не последнюю роль. Были еще причины чисто личные, которых я касаться не хочу... Во всяком случае, я написал это прошение о постриге.

Как происходит постриг? Вероятно, это где-то в художественной литературе описано. И все же повторю. В Вильнюсе это происходило так. В соборе был еще так называемый Пещерный храм. Это было такое подвальное... даже не знаю, как назвать, — помещение, где была сооружена еще одна церковь. Там же находилась рака с мощами виленских мучеников, виленских святых, которые сейчас находятся в монастыре.

Кстати, судьба мощей этих святых тоже заслуживает внимания. Во время первой мировой войны, спасая от немецкой оккупации Вильнюса, их увезли в Москву, поскольку никто еще не знал тогда, что будет революция. Когда произошла революция, то вместо того, чтобы их вернуть в монастырь или поместить в какое-нибудь другое достойное место, их поместили в анатомический музей. Это на самом деле совсем не смешно: такой характерный цинизм тех времен. И уже в 46-м году, за заслуги церкви в годы войны, эти мощи были возвращены в монастырь: был специальный самолет, который доставил три гробика в Вильнюс. И день 26 июля, день возвращения мощей виленских мучеников, в народе широко празднуется; хотя он в календари не занесен, но тем не менее к нему относятся гораздо более торжественно, чем к календарному дню их памяти.

И вот постригаемого (ну, в данном случае — меня) в конце вечерней службы повели в этот Пещерный храм. Там я разделся, и на меня надели срачицу. (Хотя, строго говоря, по уставу меня нужно было вести вообще голым, просто закрывая от народа мантией, — другие монахи ведут постригаемого, закрывая мантиями.) Ну, срачица — это нечто вроде ночной рубашки, только из грубой ткани. И под траурное песнопение, которое в Великом посту исполняется, «Объятия, Отче, отверсти», монахи меня выводят в верхний храм. И у Царских врат я крестообразно распластываюсь. Выходит архиерей и спрашивает: «Почто пришел еси, браце...», и с этим вопросом меня поднимают. И вот, склонив голову, я должен отвечать на его вопросы. Ну, отвечаю: «Желаю жития постнического, Владыка Святый...». В общем, идут вопросы и ответы. Дается обет безбрачия, бессребреничества, послушания. Наконец, когда все вопросы заданы, все ответы получены, архиерей говорит: «Возьми ножницы и подаждь мне ях». То есть «возьми

ножницы и подай их мне». Протягиваешь архиерею ножницы, он их бросает и опять: «Возьми ножницы и подаждь мне ях». И третий раз: «Возьми ножницы и подаждь мне ях». Вот до этого момента еще что-то можно изменить. Можно уйти, убежать. Потому что действительно страшно... И когда ты третий раз подаешь ему ножницы, архиерей возглашает: «Благословен Бог...». Братия поет «Аминь», и архиерей говорит: «Брат наш...», и тут постригаемый в первый раз слышит свое новое имя. Имя дается по-разному: некоторые называют именем святого, память которого совершается в день пострига, некоторые — на ту же букву, на которую начиналось мирское имя (вот такой практике следовал мой епископ), ну а некоторые просто так, от головы. И вот храм замирает, готовясь услышать, как же его теперь будут звать... «Брат наш Василий» — и крестообразно отстригает пряди с головы. После этого начинают одевать. Затем читаются апостольские и евангельские чтения на соответствующую тему. А когда все уходит, новопостриженный остается в церкви один. Опять же существуют разные сроки... То есть та неделя, которую положено пребывать в церкви, в настоящее время нигде не соблюдается: ночь, сутки, трое суток — бывает разное время. Я оставался всего одну ночь в церкви, сразу после пострига, утром меня уже привели в келью: архиерей так распорядился (он был вообще человек либеральный). «Да ну, — говорит, — он замерзнет, простудится, есть ему, наверное, хочется». В двенадцать часов ночи приходит братия в церковь и поет великопостное песнопение. Молодой монах в это время выходит с горящей свечой и крестом в руках и стоит пред Царскими вратами. Крест и свеча — они тоже при постриге вручаются. И до того, как не будет прочитана специальная молитва на снятие клобука, нельзя снимать клобук. А с непривычки носить его очень тяжело: это такой цилиндрической формы головной убор с покрывалом сзади. А у меня еще покрывало было сшито из очень тяжелого материала, аж голова закидывалась назад, вдобавок он был еще немножко мал, уши невыносимо болели... Пока с меня его не сняли, я там уже вспоминал Зою Космодемьянскую и всех героев Краснодона. Ну, когда пришла братия, один из друзей принес мне зимнюю рясу, чтобы я не замерз; один незадолго до меня постриженный парнишка, совсем молодой, который впоследствии оставил монашество и женился (он у нас был помощником ризничего), мне тихонечко принес из ризницы бутылку кагора. Ушли они все, сел я на скамеечку на клиросе, думаю: «Что ты, дурак, наделал?». Ну наделал так наделал, куда ж денешься. Посидел я там, помолился, принес мне приятель минею, в которой есть соответствующий канон, чтобы выяснить, чье же имя теперь ношу, чем этот святой прославился, потом выпил этот кагор, завернулся в ковер и... Проснулся я от звука ключа, которым открывали собор. Это было 30 марта, а 1 апреля меня уже посвящали в иеродьяконы.

Иеродьякон — это монах в сане дьякона. Это первая степень священства. Иеродьяконом мне пришлось быть недолго, так что дьяконской службы тоже почти не пришлось изведать, потому что 8 апреля, через неделю, меня уже посвящали в священники, то есть в иеромонахи. Та самая формула, только уже для другого случая (кстати, вы вдумайтесь в эту формулу): «Божественная благодать, всегда немощная и врачующая, и оскудевающая и восполняющая, прочествует Василия, благовернейшего иеродьякона во пресвитеры».

И тут уже все мои прежние друзья иподьяконы, собутыльники, с которыми мы вместе веселились, выходили в город пить пиво и на приходы ездили, по очереди подходят ко мне, и я протягиваю руку для поцелуя.

После этого архиерей сделал, как он (в дальнейшем выяснилось) и планировал: отправил меня обслуживать маленький приходик, на границе Литвы и Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии.

Это был стратегически важный приход, поскольку в Калининградской области в те времена не было ни одной церкви. Сейчас в Калининграде открыли церковь. Но об этом надо говорить отдельно, потому что я, наверное,— первый священник, который начал хлопотать об открытии этого храма. И все люди, которые живут в этой области,— а она населена народом исторически православным: русскими, украинцами,— не имели церкви, куда бы они могли пойти, поэтому они приезжали в две пограничные церкви в Литву, в городе К. Вот в этот городок меня и направили, поелику тамошний священник, говоря языком светским, совершенно оборзел. То есть вышел из подчинения архиерею: запустил приход, службу... И вот мне надлежало как-то с ним справиться. Секретарь епархиального управления, когда я получил указ, сказал архиерею: «Правильно, владыка, что вы именно Василия направляете, в крайнем случае он его побьет».

Я думаю, что я зря пропускаю многие подробности, поскольку недавно в какой-то передаче телевизионной (какие-то философские беседы) какой-то атеист заявил, что у нас самый религиозно неграмотный народ, совершенно не знающий ни Священного Писания, ни истории церкви, не говоря уже об уставе. Так что, возможно, здесь нужно говорить о многих деталях, учитывая особенности современного человека. Лесков-то писал для людей, для которых все эти комментарии по церковной терминологии в современных ему изданиях были не нужны, все это и так знали. А здесь, возможно, надо учитывать религиозную неграмотность людей нынешних.

Однако на чем мы остановились? Мы остановились на том, что я обслуживал этот маленький приходик на границе Литвы и Калининградской области. Это было благодарное время, потому что начало священнического пути — это всегда самый благодарный период в жизни священника и его священнической деятельности. Потому как он открывает для себя массу нового, он еще не устал служить (со временем многое приедается, даже не боюсь сказать слово «надоедает», любой священник, даже если он в этом не признается, — если он, конечно, не святой,— не проходит мимо этого). А тогда... Тогда я еще горел молодыми порывами, хотелось... Очень много чего хотелось, и чего сделано не было. Ходил я тогда в рясе. В дальнейшем я отказался от этого. Кстати, в Литве можно было ходить в рясе, поскольку это никак не преследовалось, местные власти к этому относились спокойно, ибо население было чисто католическое... А надо сказать, что нигде так плохо не относятся к духовенству, как в России. Я разговаривал со многими священниками, которые служили в местах, населенных другими народами, и там служить гораздо проще. А литовцы — это народ, который уважение к церкви и духовенству с молоком матери впитал, и поэтому (а тем более, что я ходил еще в рясе, что уже определяет какое-то особое отношение) мне уступали место в автобусе, меня пускали в магазине без очереди, дети со мной здоровались (я носил полные карманы

конфет, чтобы детям раздавать)... Сейчас бы я так жить, наверное, не стал. По разным причинам. Кстати, потом я как раз в этом К. и перестал ходить постоянно в рясе, потому что купил себе велосипед, а на велосипеде в рясе ездить очень неудобно.

Вот еще пример отношения мирян к церкви, к священникам. Была такая история, она произошла как раз в литовский период моей жизни. Мне нужно было срочно ехать в Москву, а дело было перед ноябрьскими праздниками, то есть в период всеобщих миграций, и это было совершенно безнадежно. И тогда я, попросив архиерейскую машину, вот на этом ЗИМе приехал к кассам аэрофлота и в полной форме, в рясе, в клобуке, с крестом, зашел к начальнику отдела перевозок. Ну, человек сидел, писал, вдруг открывается дверь и входит такое!.. Он, конечно, в полушоковом состоянии спрашивает: «Чем могу служить?». Я говорю: «Как чем — билетом». Он, явно находясь в каком-то гипнотическом состоянии, снял трубку телефона, спрашивает меня: «Куда?». Я говорю: «В Москву». — «Когда?». Я говорю: «Через три часа». Он говорит: «Да-а... Один билет с моей брони. Срочно, я сказал: сроч-но. Нет-нет-нет, один человек должен улететь», — и кладет трубку и с явным испугом и оторопелостью говорит: «Пожалуйста, в любую кассу». Я вышел в зал, вижу, что у всех касс куча народу — а у меня три часа до отлета, и мне еще нужно какие-то вещи собрать... — то есть некогда в очереди стоять. И тут вижу, что нет ни одного человека у кассы, на которой написано «Для депутатов Верховного Совета». Но поскольку он сказал «в любой кассе», я решил, что в этой кассе тоже можно. Подхожу и говорю, что, вот, начальник отдела перевозок сказал, что в любой кассе билет до Москвы. Мне выписывают, и тут я оборачиваюсь и вижу, что все присутствующие здесь люди в ужасе на меня смотрят: что, так сказать, священник — и покупает билет в кассе для депутатов Верховного Совета... Я представляю, сколько нелепых слухов я породил этой своей акцией. В дальнейшем, надо сказать, я по молодому хулиганству еще не раз так спекулировал своим служебным положением. Я покупал билеты в воинской кассе, уже в гражданской форме одежды, а когда меня спросили, почему здесь, именно в воинской, я показал бумажку, на которой написано, кто я такой, и сказал, что я — воин Христов. Это тоже было занято, моя физиономия в этой очереди, кругом стоят стриженные, бритые прапорщики, молодые лейтенанты, и моя такая лохматая, косматая рожа в широкополой шляпе... — это, конечно, смотрелось забавно. Ну, еще можно вспомнить, конечно, занятную историю, как в те времена, когда у нас были большие сложности с постельным бельем, я пришел в магазин для новобрачных, и когда у меня попросили талон, я представил справку, в которой написано, что я связан обетом безбрачия и по уставу Православной Церкви не могу жениться. (Такая справка существует для райфинотдела, с тем чтобы не облагали налогом за бездетность. Кстати, советская власть, я считаю, поступила крайне гуманно. Она ж могла сказать: твое монашество — это твое частное дело, а за бездетность плати. То есть я очень признателен советской власти за то, что мне не нужно выплачивать 6% еще с моего нынешнего большого оклада.) Ну вот, когда я протянул эту справочку о том, что я не могу жениться, эта... не знаю, кто это была, наверное, администратор в этом магазине, пришла в такое шоковое состояние (поскольку я был еще совсем

молоденький и, наверное, хорош собой был еще тогда...), что, по-моему, весь магазин можно было выносить, а не только постельное белье.

Кстати, с перелетами и переездами связана еще одна история на ту же тему. В семье моих московских друзей была тяжело больна мать, она теперь уже умерла, а была — удивительная женщина, внучка председателя Государственной Думы, ее девичья фамилия Родзянко, репатриантка из Франции. Мой самый близкий друг — это муж ее младшей дочери. Вся семья переехала из Франции в СССР в 1958 году. Одна из сестер вышла замуж в Ленинграде (это вот жена моего лучшего друга). А она, эта Марья Михайловна Муравьева, тогда тяжело болела. А в доме была собака. А у больной была аллергия на собачью шерсть, и нужно было эту собаку перевезти в Ленинград к этой ее младшей дочери. Собаку же перевозить — дело хлопотное: во-первых, требуются всякие справки от ветеринара и т.п., а во-вторых, тогда вообще не было билетов, ни на людей, ни на собак. И я так нахально вызвался без билета эту собаку увезти. И вот я, в рясе, ведя эту собаку на поводке, шел вдоль перрона, напевая: «У попа была собака, он ее любил...», и тут же, конечно, нашлась проводница, которая согласилась меня взять вместе с собакой.

Это вообще очень занятное явление, что при всем таком каком-то ироническом отношении к церкви, к духовенству (сейчас-то это еще в меньшей степени, а лет десять назад ощущалось гораздо сильнее; сейчас отношение стало гораздо более уважительное, по разным причинам, — их можно постараться проанализировать, — но тогда оно было довольно ироничное, еще свежи были у всех в памяти эти кампании антицерковные, хрущевские, а у людей постарше — и предыдущие кампании), и тем не менее человеку в рясе — я не знаю, по каким причинам, — ему старались как-то помочь. Я не помню, чтобы я в рясе остался на перроне, чтобы меня не взяли даже в самые крутые южные сезоны, когда очень сложно было с билетами, с местами, ну и во всевозможных других ситуациях. Люди как-то старались помочь.

Особенно женщины. Я думаю, что это объясняется тем, что женщины менее рационально мыслят, и как бы они ни были воспитаны, все равно какой-то страх Божий в них более живуч, нежели в мужчинах. Рассуждают они, очевидно, так: есть там Бог или нет, но в любом случае с этим человеком лучше как-то не связываться, как бы чего не вышло. У меня даже целая теория была на эту тему, что женщины — они духовно умнее. Я, помню, даже как-то проповедь произносил на эту тему в Неделю жен-мироносиц о роли женщины в церкви. Ведь, действительно, большую часть паствы нашей составляют женщины, и это совершенно закономерно. Мужчина — он думает: отсюда вытекает это, отсюда вытекает это, поэтому это так. И вот рациональное мышление как раз его сковывает и мешает ему к церкви прийти. Женщины же мыслят иррационально. Мужчины умнее рационально, женщины умнее интуитивно. Вот они интуитивно и чувствуют в церкви истину и к ней тянутся. Я это замечал даже в совершенно бытовых вещах. Как-то зашел к одному своему приятелю, мы вместе с ним выходили из дома, и вот, выходя, он взял щетку и провел по ботинкам. Вдруг жена в слезы. Я говорю: «Что с тобой, Наташа?» — «Да вот, — говорит, — ботинки чистит, значит, к бабе пошел». В дальнейшем выяснилось, что так в действительнос-

ти и было. Это очень характерный, кстати, пример. Мужчина может сказать: моя жена мне неверна, потому что домой пришла поздно, она не курит, а от волос пахнет табаком, а я звонил, спрашивал, там мужчина... И в общем достаточно строгая цепь косвенных доказательств, а в итоге получается ерунда, мираж, на самом деле все в порядке, и это только случайное совпадение. А женщина просто скажет: кажется мне, посмотрел на меня не так... — и не ошибется. И вот именно благодаря этому своему особому дару, своему сердечному взору (как там говорят в одном известном фильме: «Бабу не обманешь, она сердцем чует»), — вот именно этим я объясняю то, что в церкви преобладают женщины.

Понятно, женщины разные, и по разным поводам обращают взгляд на церковь и священников, и, конечно, далеко не всегда этот взгляд невинный. Помню еще по жизни в монастыре. Как вели себя тогда женщины, заходившие в церковь, в монастырь случайно, на экзотическую экскурсию. Конечно, это понятно: всякий человек живущий в монастыре, — это интересно, это экзотика, особенно для некоторых нынешних женщин, этаких развеселых, чего-то ищущих необычного, интересного. Понятно, что существование мужчин, да еще молодых, выбравших для себя жизнь уединенную, — для многих это какая-то аномалия. Мне и в дальнейшем приходилось неоднократно с ними встречаться, и здесь идея у них бывает такая: «Как это он — и не такой?», а дальше они пытаются сделать так, чтобы можно было сказать: «Нет, он такой же!». Может быть, это грубо, но мне кажется, что идея такая. Ну вот, несколько ситуаций. Однажды в перерыве между службами ко мне в монастырском дворике подошла молодая красивая интеллигентная женщина, искусствовед из Ленинграда, с которой мы говорили о древнерусском искусстве, об иконописи, архитектуре, еще о чем-то, — в общем, вели такую интеллигентную беседу. Потом мы с ней распрощались: мне надо было на службу идти... И вот, выходя со службы, я увидел, что прямо напротив ворот стоит такси и она нервно прогуливается рядом, ожидая меня. И дальше: подходит ко мне, говорит, торопясь, что вот, мы так увлекательно беседовали, хотелось бы продолжить, «я заказала столик в «Гинтарсе», кстати, я и остановилась там», мол, давайте подьем. Я сказал: «Спасибо, я уже поужинал». И дело даже не в каких-то морально-этических соображениях. (Хотя, конечно, выигрышнее говорить, что именно это сыграло главную роль.) Но я не буду кривить душой и скажу, что дело в первую очередь не в моральных соображениях. Мне было совершенно отчетливо ясно, что я для этой женщины... ну что-то такое... ну, скажем, бегемот... вот переспать с бегемотом — это нечто экзотическое... Потом приехать из отпуска и рассказать такое: «А знаешь! Я монаха из монастыря утащила к себе в номер. И он, оказывается, такой же». Ну вот, а мне не хотелось оказаться таким же. Бегемотом, то есть.

Или другой пример. Как-то я был в очень тяжелом состоянии душевном, с наместником в очередной раз поругался, прогуливался перед службой вдоль садика монастырского по аллейке, уже в полной форме, в рясе, в клобуке... Подвезли какую-то экскурсию-группу, по-видимому, из российской глубинки. И вот от группы отделяется одна девица, вульгарно раскрашенная, такая... очень провинциальная, подходит ко мне и со значением говорит: «Простите, вам можно задать один вопро-ос?». А у самой глазки играют,

и ужимочки. Я сказал: «Можно. Но только один». — «Вот скажите, как же это вы, такой молодой, красивый, в монахи пошли?» Тут бесенок, который во мне всегда сидит, проснулся, я наклонился к ее уху и сказал: «А я гомосексуалист». И пошел дальше. Второй вопрос ей было не разрешено задавать, и поэтому ей пришлось довольствоваться этой информацией. Еще однажды, помню, как-то выходя со службы (тогда я еще даже и монахом-то не был) с этой иподьяконской компанией (молодые ребята) — там тоже какая-то туристическая группа стояла — за спиной я услышал весьма характерное: «Такие мужики зазря пропадают». Такая реакция — она у обывателей часто встречалась, но есть и другое. Тоже, так сказать, о внимании женщин. Есть женщины, которые... (я думаю, что в основе-то этого тоже экзотика) себя убеждают в том, что это все не экзотика, они начинают (пожалуй, наверное, у всякого священника есть такие истории) священника преследовать, начинают приходить на службу каждый раз, чтобы с ним пообщаться, просят его отслужить молебен или еще что-нибудь, начинают находить предлог, например — квартиру освятить... Это все очень утомительно, причем совершенно не знаешь, как себя вести в таких ситуациях. Причем священники правильно себе это объясняют совсем не какими-то своими достоинствами, а исключительно статусом своим. Я это слышал и от многих других священников — совершенно аналогичные истории: на исповеди шепчется «Я вас люблю» и т. п. Одна история — совершенно анекдотическая. Как-то я служил панихиду (это уже было на последнем месте моей службы, по-моему...): «Еще молимся об упокоении (и длинный перечень имен): Дарьи, Марьи, Петра, Федора, Иоанна, Василия...», перебираю записки и читаю. В это время передают мне записку. Это обычное явление: это значит, что кто-то вложил туда деньги и хочет, чтобы я эту записку тоже сейчас прочитал. Я профессиональным движением готов смахнуть этот рубль или трешку в карман подрясника, разворачиваю и говорю: «И рабов Божиих...» и читаю: «Желала бы иметь счастье видеть вас у себя дома в такое-то время по такому-то адресу». Я, конечно, поперхнулся... И вот таких историй очень много можно рассказать.

Иногда попадают очень интересные люди. Была такая женщина (сейчас она в Америку уехала), которая даже стихи мне писала. Я-то по своей наивности их куда-то выбросил. А когда показывал знакомому филологу, он мне сказал, что это прекрасные стихи, прекрасные рифмы и вообще зря я к ним так отнесся. Вот я сейчас постараюсь вспомнить какие-нибудь строчки (это, по-моему, почти поэма была). Что-то было такое:

Немея в оловянной летаргии,
расплавившись, как капли янтаря,
стекала я во время литургии,
как свечка за ворота алтаря.
В землистой черноте твоей одежды
мне чудился зловещий чудо-космос,
и вспышками отметины надежды
сияли там, где Бог с Землею сросся.
А ты незаживающе язвой,
возникшею на месте, кровоточил,
между добром и злом такую разность

взял и в самом себе сосредоточил.
В крещенские морозы прибегая
в церковный праздничный комфорт,
я твердо знала то, что я — святая,
а ты — мужеподобный черт.

Это была целая поэма, но тогда я к ней по молодости отнесся несерьезно, может быть, и напрасно.

Ну, и говоря об отношении женщин, здесь, возможно, стоит коснуться отношения народа вообще к духовенству. Я уже говорил, что при всем ироничном отношении, существующем раньше к духовенству, последнее время кое-что стало меняться. И это изменение, более серьезное отношение к церкви, принято объяснять исконной православной душевностью, под спудом скрытой, и тем, что «всякая душа — христианка»... вот именно то, чем объясняют (когда пишут о жизни церкви какие-то церковные деятели, они очень любят именно такие сентенции). Но я это склонен объяснять причинами другими. Просто мне кажется, что людям настолько обрыдло всякое официальное, настолько это все надоело, настолько это было лживо, что всякое другое, иное, даже оппозиционное, видится в привлекательном свете, притягивает. В общем, все-таки церковь — единственная официальная организация, не разделяющая официальную идеологию. Ну, насколько не разделяющая — это опять же можно многое говорить, и я думаю, что даже не стоит касаться Московской Патриархии и отношения ее к советской власти, — об этом много написано и без меня — людьми, профессионально изучающими эти проблемы. Все достаточно ясно и очевидно: что такое отделение церкви от государства и неотделение государства от церкви, и все вытекающие отсюда последствия. Но вот люди, совершенно далекие от церкви, совершенно неверующие, к церкви и духовенству тем не менее относятся хорошо. И в этом безусловная заслуга советской власти, которая на протяжении многих десятилетий питала народ ложью. Но другой вопрос, почему, собственно говоря, государство, объявившее себя атеистическим, должно как-то помогать церкви. Это было бы абсурдно и нелепо, и не надо этого вообще, изначально, ожидать. И апостолы совсем не требовали от Рима кораблей для того, чтобы свободно развезать по морю и вести проповедь христианства. Напротив: римские власти их ловили, уничтожали, а они продолжали свою деятельность и молились за существующие власти — за кесаря. Но дело все в том, что они никогда не отождествляли себя с римской властью. И беда нашей церкви в том, что она сама (убежден!) стала вот такой, какая есть. Не стала, но... приросла к аппарату государства. Когда я разговариваю с другими священниками других епархий, естественно, обсуждая правящих архиереев, я слышу, что такой-то архиерей кого-то не устраивает, потому что он делает все то, что ему говорят власти, и т.д. и т.п., но ведь это совсем не самое страшное. Самое страшное, как зачастую у нас бывает, когда наши же собственные деятели делают гораздо больше, чем власть предписывает. Стараясь угодить, они заходят гораздо дальше, чем официальное предписание требует. Причем, как показал опыт, очень просто отказаться от того, что предписывают. Вот, очень уж шумная реакция была по поводу решения Собора 61 года. Для людей незнающих говорю, что на этом Соборе священников полностью отстранили от финансово-хозяйствен-

ных дел церкви, то есть, по сути дела, их перевели на положение наемников. То есть священники стали наемниками, которым община выплачивает зарплату, сами же они не имеют права, по существующему законодательству, заниматься административно-хозяйственной деятельностью. Но ведь когда какие-то поборники прав верующих несут за это советскую власть, то забывают о том, что такая же идея была предложена и Грузинской православной церкви, и католической церкви в Литве и Латвии, и старообрядцам, и тем не менее только Русская Православная церковь это приняла. Остальные все сказали, что это не соответствует всем канонам церковной жизни. Поэтому неприемлемо. И там этого нет. А у нас есть. Потому что сами приняли — и сами виноваты. Поэтому я считаю, что неправомерно во всех церковных неурядицах обвинять власть. Власть — это та власть, которая у нас есть, которую мы заслужили. Это известная формула (я уже забыл, чья она там) Конфуция или Гегеля, а возможно, и того и другого, о том, что каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает. Его, это положение, можно вывести из слов апостола Павла о том, что «всякая власть от Бога есть». «От Бога есть» — то есть Бог дал нам то, что мы заслужили. И совершенно неправомерно обвинять власти во всех наших неурядицах. Мы очень многое можем делать в церкви, но не делаем: как бы чего не вышло. И зачастую эта боязнь даже выходит за рамки всяких ограничений. Вот, скажем, никогда не было ни в каком законе записано о том, чтобы при крещении предъявлялись паспорта, но тем не менее по какой-то команде все послушно это приняли. И вдруг однажды вспомнили, что в законе этого нет, и от этого сейчас отказались. Но это сейчас, когда стало дышать свободнее. А отказаться можно было гораздо раньше, сказать: нет. Это просто иллюстрация. И так очень во многом. Более того (я мыслю, можно сказать, крамольно), я считаю, что церковь при Сталине была более свободна, чем церковь сегодняшняя. Скажем, в сталинское время было совершенно нормально и никого не удивляло, и проходило очень гладко то, что священник (и даже епископ), выйдя из лагеря, занимал кафедру или приход. Один из ректоров Ленинградской Академии отец Михаил Сперанский, с которым мне довелось быть знакомым, отсидел свой срок, какое-то время прошло, и он стал ректором Духовной Академии. Сейчас это немыслимо. Сейчас немыслимо, чтобы человек, который вступил с властью, после этого был принят своими. Свои его не признают. Кого в этом винить? Власть? Нет. Власть очень последовательна. Причем здесь еще можно быть даже благодарным (по крайней мере в соответствии с аналогичной формулой «хорошо, что коровы не летают») — власть могла бы обойтись гораздо круче с церковью, нежели она обходится. Возьмем Албанию, где просто любое исполнение религиозных обрядов объявили уголовным преступлением, и вообще, я слышал, что если там в свое время заставляли какое-нибудь тайное собрание молящихся, их просто расстреливали на месте. Просто за это время произошла страшная метаморфоза и с епископатом и со священством — они не захотели сами отделиться от государства. То, что государство не захотело отделиться от церкви, — это, конечно, тоже антиконституционно, но это понятнее, чем обратное. Потому что, если государство хочет сохранить свое влияние на церковь, — это объясняется легко и просто, это естественно. Но то, что сама церковь, сами религиозные деятели хотят

как-то прилепиться к правящему классу — это абсурдно и антицерковно. И в этом, я считаю, главная беда нынешних коллизий между церковью и государством. Не отношение государства к церкви, а отношение нашей иерархии к государству. Мы очень легко отказываемся от принципиально важных для церкви позиций, очень легко с них сходим, даже тогда, когда от нас этого не требуют. Я не хотел касаться этой темы, но все-таки ее коснулся, чтобы в дальнейшем повествовании было ясно мое отношение к этой проблеме. Хотя я должен заметить, что наряду с безусловной гадостью этого Собора 61 года, который поставил духовенство в очень унижительное положение, там были и свои положительные стороны. До 61 года всеми средствами церкви распоряжалось духовенство, почти бесконтрольно. И когда же этот поток денег, этот кран, был перекрыт в 61 году, то церковь одновременно очистилась от очень многих людей, которых, кроме денег, ничего в церкви не интересовало. Тогда была волна отступничества, масса отречений (Дорманский, Дулуман — наиболее знаменитые имена). То есть произошел процесс очищения. В церкви стало служить невыгодно. И они из нее ушли. То есть, что Бог ни делает — все хорошо: может быть, так и было нужно. И заговорив об этом, упомяну еще об одном щекотливом моменте. О том, что я считаю одним из главных соблазнов духовенства сегодня: о деньгах.

Мне пришлось служить в разных приходах. И в такой епархии, как Виленско-литовская, самой бедной в Союзе, и в такой вполне благополучной, как Ленинградская митрополия. И в разных церквях — разных по доходу. Я не знаю никаких рецептов против этой болезни, но она, безусловно, в церкви существует. Имя ей древнее — симония: по имени Симона-волхва, который предложил продать ему благодать, посвятить его за деньги, то есть подарить ему благодать за деньги. Продажа благодати за деньги с тех пор называется в церкви грехом симонии. И она существует сейчас крайне откровенно. Если, скажем, в той же Литве не существует какой-то таксы на церковные требы (человеку предлагают заплатить сколько он считает нужным, сколько он может), то сейчас в некоторых церквях уже вывешен прейскурант: крещение — такая-то сумма, отпевание — такая-то сумма и так далее. Я слышал, что мера эта вызвана, опять же, тем же самым 61 годом, чтобы было легче контролировать доходы церкви и соответственно взимать поборы: в фонд мира и другие всевозможные фонды. То есть понятно, что при наличии таксы на требы финансовым органам легче контролировать доходы церкви и облагать соответствующей данью духовенство. Но постепенно в обиход вошла совершенно оскорбительная, антихристианская церковная терминология, например: «А сколько стоит крещение?». Таинство, которое называется «великое причастие», определяется какой-то суммой. Неважно, какая она, высокая или малая (причем обычно эта такса очень низкая), но дело не в том, какая она, а в том, что она существует: это уже оскорбительно для таинства. Однажды я приехал причащать умирающую женщину, и когда я закончил свое дело, то родственники, ее дочка, спросили: «Сколько это стоит?». Я понимаю, что люди хотят меня отблагодарить за труд, за то, что я приехал, — то есть все совершенно нормально, и ничего в этом унижительного ни для священника, ни для таинства нет: в конце концов — это способ моего существования... Но

именно так жестко сформулированное «Сколько это стоит?» покорило. Ну, я не удержался и схамил, спросил: «А сколько ваша мама стоит?». И я часто ловил себя на мысли о том, что многие люди относятся к церкви как к своего рода комбинату бытового обслуживания, только духовного ведомства: прийти, заплатить в кассу 2.50, получить квитанцию, и на эту сумму получить благодати. И сама церковь еще порождает вот этими установлениями 61 года такое отношение. И это, конечно, совершенно ненормально и абсурдно. При той ситуации, которая существовала раньше, когда человек просто, когда совершалась какая-то треба, по своим возможностям, так сказать, от души, какую-то сумму жертвовал и церкви и священнику — это было нормальнее. Ну а теперь священник становится прямо материально зависимым от числа совершаемых им треб, он хочет, чтобы их было больше, — и это великий соблазн. Наверное, самый большой соблазн духовенства, существующий сейчас. Есть церкви более доходные, менее доходные... На своем предшествующем приходе (моему нынешнему) у меня было другое положение: там у меня был достаточно скромный доход, но при этом я был полным хозяином церкви — староста и казначей считались с моим мнением, и не только считались, а оно было для них обязательно. Но тем не менее сейчас, если положить руку на сердце, я бы не захотел вернуться на свое прежнее место, хотя сейчас я служу именно как наемник, как служитель какого-то вот именно комбината. Потому что вот эти деньги, которые таким образом приходят, — к ним привыкаешь, принимаешь их как должное, и уже дальше не хватает сил, чтобы от этого отказаться и стать именно священником, пастырем. Таким требо-исполнителем, оказывается, быть проще и доходнее. Конечно, есть еще (мы же говорим о деньгах) путь, который дает очень много денег. Но эти деньги приходят к людям, которым они уже практически не нужны. Это такая особая категория людей, истинные священники, которые стали известны в народе. Всякий священник, который ведет жизнь действительно подвижническую, — он становится известен. И дальше, где бы он ни служил, к нему приезжают со всей страны, платят деньги. Он на эти деньги возводит, ремонтирует церковь, делает очень много церковных работ. А так ему деньги не нужны: они все уходят на церковь. Но наряду с этими людьми существуют еще люди, которые принимают такую личину. Одного такого я знал, имени его называть не буду: он ныне здравствует, служит — это просто неэтично. Человек этот просто сделал себе репутацию праведного. Я хорошо знаю, чего стоит его праведность, но он такую репутацию себе создал. И к нему приезжают люди со всей страны, жертвуют ему деньги. Он человек очень умный и поэтому не все деньги забирает себе, а какую-то толику этих денег он пускает на ремонт церквей, на чисто церковные дела. И от этого его слава еще более ширится. И вот этот соблазн деньгами — он самый большой, который существует. Мы все ими развращены, деньгами. Когда встречаются священники, то первый разговор о доходе: о деньгах, об отношениях со старостой — ущемляет он доход или не ущемляет, — но ни в коей мере ни о каких духовных проблемах. Эти разговоры возникают уже позже, и как бы уже вторично. Но первое — это всегда (так было десять лет назад и так сейчас) о доходе. Никакого лекарства я не вижу против этого.

Можно отменить таксу, просто чтобы таинство не хулить. Но это совсем не избавит духовенство от этой болезни. А она существует. И я не знаю, как

можно от этой болезни избавиться, и кто должен заниматься ее исцелением. То, что я сказал, это вообще не принято говорить людям нецерковным (да и очень многое из того, что я говорю, не принято говорить нецерковным: у нас, как и во многих ведомствах, не принято выносить сор из избы, хотя это, наверное, единственный способ, чтобы избу сделать чистой, — но, тем не менее, этого не принято). Кроме того, рассказывая о слабостях духовенства, в первую очередь о своих собственных, надо всегда помнить богословское отношение к этим недостаткам: разделение церкви на земную и небесную. Иоанн Златоуст говорил, что таинство, которое совершает священник, — это печать: и какой бы печать ни была — глиняная или золотая, — оттиск ее совершенно одинаковый. Порою, когда приходилось крестить (обычно) детей каких-нибудь своих знакомых, которые меня знали не с лучшей стороны (ну, скажем, сидели со мной, священником, за одним столом), то я всегда чувствовал, что крестил я или крестил какой-нибудь святой — это никакого значения не имеет для того, кого я крестил; это точно такое же таинство, это — оттиск печати; пусть у них она золотая, а у меня глиняная, но оттиск одинаковый. И важно, чтобы, слушая рассказы обо всей этой не самой красивой жизни духовенства, это понималось. Это очень важно.

Ну вот, и заговорив о деньгах, такой плавный переход. Однажды в Литве ко мне подошел человек с просьбой покрестить его сына. Причем просил, чтобы это крещение было при закрытых дверях, при полной конспирации. Я очень удивился, потому что в Литве это делается все свободно, открыто, никто никаких документов не требует... И вся эта боязнь, опасения — они показались странными. Я говорю: «А почему, собственно говоря, такая конспирация? Что, у вас какая-то работа особая?». Он сказал: «Да». — «А чем вы занимаетесь?». Он говорит: «Я сотрудник госбезопасности». — «Ну а чем вызвано ваше желание ребенка крестить? Что это — внутреннее убеждение или что-то еще?». Он помялся, помялся и говорит: «Просто теща сказала, что не будет сидеть с ребенком, пока он некрещеный». Поставила им такие жесткие условия. «А я не могу, — говорит, — по работе, жена — тоже, а она, теща, отказывается... Если он будет крещеный, тогда будет сидеть». Он пытался ее надуть (он мне рассказал): сказал ей, что покрестил; но она съездила в эту церковь и узнала, что не крестили; их отношения еще больше усложнились... «Ну хорошо, — говорю, — ради вашей тещи я ребенка покрещу». И, действительно, я покрестил ребенка при закрытых дверях. Дальше он меня спрашивает: «Что я вам должен?». «Ну, — думаю, — Василий, у тебя раз в жизни возможность деньги с КГБ поиметь». Говорю: «Пятьдесят рублей». Он удивился, спрашивает: «А почему так дорого?». Я отвечаю: «А за конспирацию». Это отдает Ильфом и Петровым, но вот такой анекдот в моей службе был.

Кстати, в первый раз (если не считать встречи в военкомате) с работниками этого ведомства была еще встреча в монастыре, когда, вскоре после моего посвящения, ко мне в монастыре подошел человек и сказал, что он хочет со мной поговорить. Ну, в монастыре это обычная ситуация: там масса туристов, масса любопытных — монастырь, как же! — беседовать интересно, и я совсем не удивился. Я говорю: «Пожалуйста, поговорим». Он сказал: «А не могли бы мы отсюда выйти, в городе побеседовать?» — «А чем здесь плохо?» Тут он мне открывает удостоверение, показывает, кто он такой. «А,—

говорю,— так бы сразу и сказал. Подожди, сейчас я переоденусь, выйду». Переоделся, вышли мы... И он мне пропел такую песню, которая, как в дальнейшем я от коллег услышал, очень традиционна и почти одними словами поется всем. Дескать: вы человек верующий, и это ваше частное дело, и Конституцией позволено, никто вам не мешает, верьте во что вы хотите, соответственно исполняйте обряды и так далее; но вот есть люди, которые, дескать, каная под верующих, на самом деле враги нашего общества, государства, и приносят только вред; мол, и для церкви, и для государства было бы очень полезно некоторых людей... как бы заложить (ну, другие слова, но идея такая: что вот этих людей, которые внедряются в церковь, а на самом деле преследуют другие интересы,— вот их бы нужно заложить). «Да, — говорю, — всё... Понял... Хорошо. Если к нам в монастырь придет шпион, я тут же скручу и притащу к вам». Ну, мужик был неглупый такой, видит, что... И говорит: «Это все, что вы можете сказать?». Я говорю: «Всё». Ну и расстались.

Но тут мне бы опять хотелось вернуться к тому времени, когда я получил свой первый приход.

Продолжение следует.

ИМЯ НЕСВОБОДЫ

I

Что такое «судьба национальной литературы»? В большинстве случаев литература обслуживает локальные интересы нации, являясь периферийной, провинциальной по отношению к мировому литературному процессу. Но иногда, и подчас совершенно неожиданно, та или иная национальная литература приобретает статус мировой, начинает переводиться на многие языки, привлекает пристальное внимание критиков и читателей, но потом, через десятилетие, опять возвращается в свои пределы, становится литературой узко национальной, периферийной, решающей местные социо-культурные задачи.

Попробовать ответить на вопрос, каким образом та или иная литература привлекает мировой интерес, можно, вероятно, лишь в самом общем виде, скажем, основываясь на представлении, согласно которому мировая литература так или иначе связана с историей Человека как такового, творения Божьего или природы, который родился некогда, живет и, в соответствии с эсхатологией Человека, когда-нибудь обязательно исчезнет как земное существо, как биологический вид — это уж точно! Если это так, то процесс приобретения тем или иным произведением (и еще шире — национальной литературой) мирового значения и определяется тем, насколько связана эта самая литература с историей Человека как такового, не имеющего, конечно, национальных отличий, как Божье творение или биологический вид, хотя и имеющего их, но только (если можно это представить себе) в виде последовательных изменений, переходов из одного состояния в следующее. Так мировая литература и является историей рождения, стремлений, желаний, любви, надежд, разочарований, предчувствия смерти, гибели Человека, творения Божьего или продукта природы, это уж кому как. Причем, конечно, приобретение литературой статуса мировой не предполагает какого-то определенного, условного, притчевого жанра, условного, обобщенного языка. Как раз наоборот, наиболее часто то, что называют мировой классикой, самым кровным образом связано с конкретным местом и временем, с национальным становлением. При этом для национальной культуры значение произведений, имеющих узконациональное значение, может быть не меньшее, чем произведений, имеющих мировой статус. Так, если обратить внимание на русскую

литературу XIX века, то значение для нас творений Пушкина или Гоголя, так и не обретших мирового звучания, но лежащих в основании как русского языка, так и проблем национального становления, не меньше, чем творчества Толстого или Достоевского, вошедших в XX веке в золотой фонд мировой литературы. Последнее обстоятельство, кстати, тоже заслуживает внимания: хотя и Достоевский, и Толстой биографически и онтологически принадлежат XIX веку, как справедливо утверждают, именно в XX они стали частью истории Человека, но века все-таки не своего, века надежд и прозрений, а следующего, века сбывающихся пророчеств и разочарований.

Одно из краеугольных утверждений, на котором основывается данная статья, и состоит в том, что именно в XX веке русская литература сначала впервые за всю историю приобрела мировое значение, а затем постепенно потеряла его, став опять литературой периферийной, провинциальной, узконациональной, хотя до сих пор не может согласиться с изменившимся статусом, почти поневоле, по инерции отстаивая амбиции, ни в коем случае не подтверждаемые реальностью и во многом дезориентирующие.

К сожалению, до сих пор не существует адекватного языка для описания такого события, как Русская революция, во многом благодаря которой наша отечественная литература сначала и вышла на мировую арену, а потом опять вернулась в национальные рамки, связывая себя с событиями, имеющими исключительно региональное значение. И это понятно, ибо процессы, как вызвавшие Русскую революцию, так и вызванные ею, до сих пор не завершены, и Русская революция, пока так и не став историей, не способствует, таким образом, выработке понятий и словаря описаний, имеющих объективное значение.

Очевидно, однако, если рассматривать Русскую революцию как апокалиптическое событие из жизни Человека, то вряд ли будет уместен политический подход (когда революция рассматривается в рамках ее программы осчастливить человечество) или нравственный (когда она осуждается за принесенное в мир зло), а более подходящим будет метаисторический (почти археологический) взгляд, согласно которому Русская революция — это испытание из прошлой жизни Человека, им уже преодоленное и пройденное. Хотя при этом нельзя забывать об асинхронности восприятий таких эсхатологических событий, как революция, когда в одном месте, скажем, в Восточной Европе, идея Русской революции может быть уже дезавуирована, исчерпана и держится на уровне инерции и традиции, а в других местах, скажем, в Латинской Америке, эта идея, пусть и в редуцированном виде, еще только начинает будоражить умы.

Кому-то может показаться (хотя другие это сочтут кощунственным), что для русской литературы Русская революция явилась чем-то вроде фантастического рекламного шоу, ибо не просто привлекла к ней всеобщее внимание, но и вывела ее из национального обихода к мировому употреблению. Поэтому неудивительно, что Толстой и Достоевский, ставшие для русского интеллигента великим и суровым предостережением против использования зла и насилия для блага переустройстваемого мира, в Европе стали рассматриваться как предтечи Русской революции, как вершины русского духа и интеллектуального сознания, подготовившего и осуществившего эту революцию.

Для русской литературы революция, очевидно, явилась водоразделом. Однако в данном случае нам представляется неинтересным деление литературы по географическому признаку (на советскую и эмигрантскую), как, впрочем, и по сугубо политическому. Вернее будет делить по отношению к Русской революции, как к эпизодическому или эсхатологическому событию из жизни Человека. Так, скажем, для Бунина Русская революция — это нечто вроде болезни «грязных рук», дизентерии: расслабит, полихорадит, пройдет как и не было, только бы хватило горького лекарства. А для Набокова — это рок, макфатум и, как для продолжателя пушкинской традиции, — «бунт, бессмысленный и беспощадный»; но ведь для него и Достоевский — не властитель дум, даже не серьезный писатель с мировым именем, а «бойкий журналист, автор детективов, полицейских романов, наравне с Морисом Лебланом и Эдгаром Уоллесом». И это вообще-то понятно и даже естественно для неэсхатологического сознания (к тому же, благодаря своему интеллектуализму, отвергающего такой примитивный механизм объяснения переворота, как борьба классов и экономические интересы) посчитать все делом случая, которым воспользовалась «наглая шайка насильников и демагогов под вульгарным именем "большевиков"».

Что там говорить, и для нас, родившихся и выросших «под большевиками», очень трудно метаисторически относиться к Русской революции, забывая обо всем том, чему она стала причиной, и прежде всего о невиданном уничтожении личности, когда отказ от личностного и гибель личности воспринимались обществом и самой гибнущей личностью как общественное торжество. И это при том, что теперь сама марксистская критика, желая вырваться из порочного круга, ссылается на тех же «основоположников», которые первыми предупреждали о возможном «перерождении пролетарской революции», когда у власти может оказаться группа демагогов и начетчиков, управляющих «от имени народа» и «во имя народа» так, чтобы под покровом теорий и фраз скрыть факт своей бесконтрольной власти. То, что подобный поворот заранее был учтен, как бы говорит, что все «грехи Системы» носят не безусловный, фундаментальный характер, а есть лишь частность, ложное, боковое, случайное ответвление на здоровом стволе теории революционного переустройства общества, неизбежно предполагавшей гибель старого и торжество нового.

Но что переустраивалось? Что гибло? Почему? Что такое старая Россия? Троя, превращенная в руины по воле Рока? Рим, погибший от рук варваров? Или Иерусалим, обреченный на смерть за свои грехи? Грехи? Какие грехи? Неужели опять об этой самой социальной несправедливости, вправе задать нам вопрос неведомый оппонент. Кстати и это, согласимся мы. Ведь ощущать или не ощущать свою вину, ощущать или не ощущать свою греховность — дело того, кто ощущает, испытывает вину, а ведь русская интеллигенция, глубокое ощущение вины которой и вызвало во многом Русскую революцию, ощущала себя ответственной и за то, что иным (особенно негодующим на варваров или оплакивающим Илион) кажется несущественным, второстепенным, случайным, — и в частности за эту самую социальную несправедливость как часть просто несправедливости, несправедливости как таковой, всегда присущей жизни и обществу. Но самое главное, конечно, не в социальной несправедливости, — она была, есть и будет, и не

только в России (а Русская революция пришлось в пору только ей), — а в необычайном оскудении духовного начала русской жизни, начала особенного, отличного от других христианских стран Европы и основанного на соборном принципе, ключе православной веры.

Так бывает и бывает часто*: есть тело, тело жизни, а дух уходит из этого тела. Дух слабеет, оскудевает, и хотя это еще долго незаметно, но тело уже поражено, оно разрушается, а затем гибнет, гибнет сразу, словно подпиленное дерево, ибо поддерживающего духа нет. Гибнет Илион, гибнет Рим, гибнет Иерусалим, гибнет Россия.

Но почему именно Россия, а не Германия, также проигравшая войну? Россия, а не Франция? Россия, а не, скажем, Швейцария (как, кстати, долгое время предполагал основатель первого пролетарского государства), где также был кризис христианской веры (был и есть), оскудение духовного начала и падение нравов? Почему именно Россия, если призрак коммунизма, не зная политических и географических границ, давно бродил по всей Европе?

Потому что Россия была подготовлена, настроена на приятие идей Русской революции, идей марксизма, и подготовлена, настроена не чем иным, как Церковью, русским соборным принципом веры, русским православием.

Русское соборное понимание веры не оставляет за отдельной личностью права воспринимать духовную истину самой, а предполагает соборное, коллективное, хоровое восприятие истины, неделимой на истины личные, частные,— и это не случайность, не условность, не механистичность, а глубинная сущность нашей русской духовной жизни, русского национального характера. Можно говорить, что русское государство было, как никакое иное, подточено изнутри тем чувством вины, которое переполняло душу русской интеллигенции (вины, в частности, и за социальную несправедливость), но это чувство вины и было потому таким сильным и яростным, что нигде человек не ощущал себя частью, частью организма, частью общей жизни, общей души, как это было в России. И вот, с одной стороны, ощущение, чувство вины, социального и духовного греха, не дающее жить, а с другой — кризис духовного начала, выветривание, оскудение веры, духа,— и в то же самое время неумение, невозможность отказаться от того, что присуще русской душе изначально: от хорового, соборного чувства, способа восприятия жизни.

И вот наступает кризис, и на подготовленную (что там подготовленную,— готовую) почву в момент выветривания старой веры, сохранившей, однако, наиболее косный и основательный механизм восприятия веры как таковой, падают семена новой веры, дающие сразу, почти одновременно, почти везде обильные всходы.

Ведь что такое марксизм, что представляют из себя идеи Русской революции, если посмотреть на них русским глазом и понимать под Русской революцией, конечно, не то, что началось (а вернее, закончилось) в 1917, а всё то движение, которое берет начало еще в середине XIX века? О борьбе классов нечего и говорить, — это как раз совсем не то, что поднимало, что

* Вспомним Баратынского: «... свой подвиг ты свершила прежде тела, безумная душа».

наполняло верой, давало ощущение правоты, ибо в Русской революции, носящей отчетливо религиозный характер, — особенно поначалу, у народников и народолюбцев, — главным было жертвенное начало (вознаграждаемое, как и во всякой религии, за подвижничество только после смерти), но поднимало, восхищало именно жертвенное начало, и оно, конечно, было. Самое основное: 1) отказ от «я» во имя «мы» (или, иначе говоря, отказ от частного, личного, индивидуального во имя общего); 2) отказ от материального во имя духовного («идеологического») и 3) отказ от настоящего (сегодняшнего) во имя рая будущего. Но ведь здесь же жертва, здесь подвижничество, ведь это же основание веры? Да и какой веры, какое основание? Где личностному началу отказывают в праве судить и воспринимать истину и преклоняются перед коллективным, соборным восприятием веры и истины? Где личность стоила так мало, что и сравнивать почти не с чем? У кого материальное всегда чуть ли не грех, не скверна, то, что хоть и манит, но больше отталкивает и пугает? Вот почему нигде Русская революция не могла произойти, как только в России. Везде, конечно, жертва пленит и притягивает, но нигде, как в России, революция не готовится Церковью, нигде антиматериальный пафос не является определенной чертой национального характера, нигде личность не значит так мало, как на Руси.

А марксизм? Будто специально, посмотрев в конец задачника, к ответу подгоняли решение. Будто специально для России создавалось это учение, только для нее одной и подходящее, ей одной точно впору и пришедшееся, сшитое будто по ее меркам, учение, выкройка которого лишь потом пошла по рукам. Не религия, конечно, марксизм, но очень похож, да и на веру, как религия, основан. Маркс — ветхозаветный Моисей, даже Иегова, Бог-отец, вседержитель; Ленин — пророк, мессия, Христос, Бог-сын; коммунизм — светлое будущее, рай; партия большевиков — ангельский чин; политбюро — апостолы; пролетарии — праведники, которых гнали и унижали при старом режиме; крестьяне — маловеры-инородцы, ибо сказано: «но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их»; интеллигенты — язычники, которых крестить надо огнем и мечом; и даже Сталину место было заранее обеспечено — лже-пророк, дьявол, прикинувшийся агнцем, Антихрист, Сатана — как без него? А революция — катарсис, реформация, очищение, последний Суд, переходящий в Апокалипсис, каждому воздающий за грехи его.

Была Русь, стоявшая на православии, стала Советская Россия, покоренная марксизмом. Вытек мед старой веры, но соты остались, и — свято место пусто не бывает — заполнились соты новым медом. Не до конца, конечно, мед старой веры вытек, оставалось много оставалось на стенках (оставалось и осталось), но пустот возникло столько, что новый мед, под напором, под давлением (обстоятельств и ярости неопитов) проник в соты, смешавшись со старым и там забродил.

Конечно, марксизм — не религия, а то, что называется «кумир», но уж слишком впору пришелся, и это, понятно, не случайно.

А что же литература? Она разделилась, раскололась, как и вся жизнь. Для того, чтобы понять, что Русская революция не трагическая или нелепая случайность, а событие из жизни Человека, причем событие неизбежное, обусловленное, предрешенное, необходимо было обладать эсхатологическим виденьем, духовной беспощадной зоркостью и честностью, безразличием к вере, пониманием, что Россия, старая Россия — не что иное, как Иерусалим.

И те, кто ненавидел старую веру, стали неопитами новой веры, стали ломать, разрушать Иерусалим. Те, для кого Русская революция и Россия — Рим, погибший от рук варваров, стали бороться с варварами. А те, для кого Русь — Троя, стали горевать или, недоуменно пожав плечами, ушли в сторону, храня Илион в душе как мираж.

Но труднее всех пришлось тем, для кого Россия — Иерусалим, Рим и Троя одновременно. И как Трью — ее жалко, жалко до слез. Как Рим — ненавидишь варваров, разрушивших святое, бестрепетной рукой сеющих кровь и горе. А как Иерусалим — знаешь, что гибнет она за грехи свои, за истощение веры, гибнет иступленно, отрешенно, ибо простерся над ней Божий гнев, и большевики — не варвары на мохноногих лошадаках, а следствие Божьей кары или исторической необходимости, пришедшей не с горящими молниями в руках, а со словами о смене одной социально-экономической формации другой.

Троя, Рим, Иерусалим — вот триада, определившая суть русской жизни в XX веке. Тот Бермудский треугольник, в котором пропал (и пропадает до сих пор) не один кораблик русской интеллигентской души. Боже мой, как ясно и просто «троянкам» или «римлянам», им можно относиться к Русской революции с презрением или ненавистью, осуждая ее за безнравственность и кровь, за унижение личности и права. Но если Иерусалим, то как быть с русской интеллигенцией, жертвенностью, ощущением вины, подточившим основание «Приамова скворешника»? Как быть с народом, нашим народом, который долго запрягает, но быстро ездит, и который поднялся, расправил плечи и принял новую веру как свою, молчаливо соглашаясь на то, что делалось от его имени, делалось и творилось, и, конечно, не потому, что экономические интересы, а потому что душа приняла как свое новые идеи, ставшие почти калькой со старых: не «я», но «мы», не «брюхо», а общее счастье, не сейчас, а в далеком прекрасном далеке. Мужички-богоносцы (а пролетарии — вчерашние мужички) увидели в предлагаемом им — старый крестьянский мир с круговой порукой и властью схода над каждым, только мир более яростный, жертвенный, прекрасный, и приняли его, почти не раздумывая.

Так было. Так Русская революция стала событием из жизни Человека. Так вынесенная ее потоком русская литература, и раньше привлекавшая к себе внимание, стала мировой.

Тут возникает вопрос: как понять, что русская литература стала мировой? Что, вся русская литература прошлого и настоящего стала мировой? Или какое-то отдельное произведение (и тогда какое, какой критерий отбора) приобрело мировой статус?

Конечно, о таком процессе, как приобретение национальной литературой мировой славы, надо говорить очень осторожно. Тем более, если такой процесс отстоит от наблюдателя всего на какие-то несколько десятилетий, и относительно того или иного произведения судьба еще не сказала своего последнего слова. Сложно понять, в чем здесь дело, даже если речь идет о литературе прошлого, отношении к которой уже отстоялось. Вспомним Пушкина, который, несмотря на свою «всемирную отзывчивость», так и не стал мировым поэтом, таким как Шекспир, Байрон, Гёте. И в чем здесь дело? В том, что поэзия (и особенно русская) непереводаема? Или различны сами функции поэта национального и мирового? Но как быть тогда с Лесковым, не менее, а может, более пронзительно и точно описавшим русскую душу, открыв в ней именно то, что и привело к Русской революции, но так и не сравнившимся по своему влиянию с тем же Достоевским или Тургеневым, национальное героев которых меньше их универсальности, всеобщности, всечеловечности?

А ведь выдвинутая вперед Русской революцией русская литература привлекла к себе внимание именно в особом разрезе: прошлое русской культуры должно было ретроспективно объяснить настоящее, а настоящее — будущее. И, конечно, Лесков, куда точнее и беспощаднее описавший русского человека на перепутье, куда прозорливее Тургенева, но упорно до сих пор остается во втором ряду, заслоненный более европейскими и более условно выстроенными книгами, более сюжетными и менее русскими. Конечно, тут можно снова сказать, что мировой литературой становится то, что напрямую соотносится с историей Человека, но кто таков этот Человек? Ведь разговор идет не о гении, чувствительном к самым первым выплескам интеллектуальных прозрений, но, конечно, и не о дебиле, и даже не о середнячке, а о Человеке — Божьем создании, который, естественно, всегда с веком наравне, но, с другой стороны, не может и не должен реагировать на преждевременные пророчества, не может отдать ему должное и по достоинству оценить случайное прозрение. Хотя не надо представлять себе дело таким образом, что он, этот Человек, вообще не в состоянии оценить великие и пророческие явления духа. Может и ценит, но — в свое время, не самый первый, ему некуда торопиться, он не может бежать впереди себя, не может обогнать свою мысль и судьбу. Именно поэтому его бессмысленно предупреждать о таких опасностях, скажем, как Русская революция; и бессмысленно проклинать (скажем, как Бунин или Мережковский), бессмысленно указывать на ее очевидную несостоятельность, — как бессмысленно ругать дорогу, идущую в гору, а потом с горы («вот, ведь я говорил, что все равно придется спускаться?»), — Человек не слышит того, чего не может услышать. Он даже впоследствии не сможет оценить тех, кто умничал раньше времени, ибо скептические, презрительные предсказания о неизбежной гибели варваров, разоривших Рим, не могли быть услышаны, как и не могли быть оценены позднее, т.к. погиб не Рим, а Рим, Илион и Иерусалим вместе взятые, а это уж дьявольская разница, как говорил поэт. Да и вообще, если что-то не достигает цели, то самое главное, что цель не достигнута, а почему — это вопрос второй.

Но так или иначе человек, Человек как таковой, в 20-е, 30-е годы нашего века стал русским, или русским по существу, почти русским, русским по

преимуществу. Почти по пословице, стал чем-то средним между русским евреем, крещеным в Тамбове, и уроженцем Калуги, из биографии которого известно только, что, объехав пол-Европы, он в конце концов обосновался в Париже. Став русским, он стал читать русские книги. Конечно, он русский, хотя и не чисто русский (скажем, как у Лермонтова, в нем намешано разных лагинско-скандинавских кровей), да кроме того, он давненько из дома и говорит с легким (а когда волнуется или сердится — с сильным) акцентом. Уехал еще до японской, поэтому разницу между «большевиками» и «меньшевиками» нащупывает не сразу. Экономически независим. Как истинный путешественник, все свое носит с собой. В меру любит историю, крестится по привычке, читать обучен бессонницей пульмановского вагона. Но — самое главное: несмотря на нрав «вечного скитальца» из пушкинской речи Достоевского — у него русская — навечно? — душа. И он читает. Что? Это мы знаем с вами лучше него. Что нравится? Опять же нетрудно догадаться. Для чего читает? Ну, с одной стороны, как все — потому что душа требует. А с другой, уже по-русски, чтобы понять. Литературу прошлого — почему Русская революция произошла. Литературу настоящего — когда она кончится и что вообще ожидать в будущем.

Сколько длится русский медовый месяц в Париже, как долго русская литература была центральной в мире? Ответить на этот вопрос трудно. Уже во второй половине 30-х русские черты начинают тускнеть, перемешиваться и заменяться другими, обрусение Человека кончается, ему опять приходится грассировать, Русская революция перестает ощущаться как Событие, Человек опять становится больше французом, чем кем бы то ни было еще, может быть, служащим франко-американской компании в Аргентине или Алжире. И хотя то, что пришло на смену русской литературе, все эти Камю, Сартр, Г.Марсель и т.д., вряд ли существовали без опыта Русской революции, именно период, связанный с творчеством экзистенциалистов и характеризует выход, уход, исчерпанность для Человека события, ставшего перекрестком литератур. Именно середина 30-х годов становится развилкой, после которой русская литература сходит с магистрального пути мировой литературы, расходится с ней, по-разному оценивая дальнейшее значение Русской революции, которую мировая литература прошла, прожила как апокалиптическое, катастрофическое событие из жизни Человека, развиваясь теперь дальше, в то время как русской литературе было суждено опять вернуться в национальные пределы, по сути дела поневоле развивая, углубляя (для мировой литературы, очевидно, тупиковое) ответвление, ибо история Русской революции с этого времени уже не история Человека, а история народа, нации, история погружения, вынужденного заблуждения, выход из которого стал намечаться лишь в 50-е годы*.

Нагляднее всего влияние утраченного авторитета и самой роли русской литературы можно проследить на примере не советской (с ней все как раз

* Здесь и в дальнейшем мы не рассматриваем возможность метаморфозы, превращения того, что представляется тупиком, болотом, погружением — в трамплин, то есть провиденциальность, предопределенность погружения, требующего сначала мобилизации всех потаенных сил для последующего преодоления, являясь таким образом благотворным и необходимым для последующего взлета. Эта идея требует специального рассмотрения.

понятно), а эмигрантской, на которой прежде всего отразилось изменение отношения к Русской революции как к событию хотя и апокалиптическому, но уже прошедшему, оказывающему влияние лишь в виде последствий опыта, что и выразилось в невероятном обесценивании эмигрантской литературы, ибо ей, оторванной от национального потока, было невозможно вернуться к сугубо национальным проблемам (как это и сделала советская литература 50—60-х), а положение мировой было утрачено. Именно поэтому в конце 30-х годов такой писатель, как Набоков, оставляет русский язык и становится англоязычным писателем; многие другие вообще перестают писать, а, скажем, такой писатель, как Ремизов, в большей степени, чем какой бы то ни было другой, именно в эти годы пишущий историю человека, Человека как такового, остается не только без читателя, но даже и без издателя.

Подобного рода парадоксы совсем нередки в истории мировой литературы; примерно в такой же ситуации оказались те, кто в те же 30-е годы стали одним из высших и последних достижений русской литературы метрополии, а именно обэриуты, и прежде всего Введенский, несомненно предвосхитивший тот период развития французской литературы (Беккет, Ионеско и т.д.), который определил вступление французской литературы в мировую в 50—60-е годы. В данном случае не имеет значения, почему Введенскому и остальным обэриутам не дано было быть услышанными читателями, это уже национальные проблемы, назовем суть: история Человека, описанная преждевременно, не узнается им как свое будущее. Любопытно и то, что французская литература 50—60-х — это опять же следствия события по имени Русская революция, ибо однажды уже наработанный опыт, закрепленный в поэтике, языке и проблематике Введенского, Хармса и других обэриутов, неожиданно довыплотился в другой литературе и в другое время.

Важнейшим результатом отпадения национальной литературы от магистрального пути мировой литературы является приобретение ею признаков провинциальности, периферийности, инфантилизма. Всё это в полной мере характерно для русской литературы 50-х; конечно, имеются в виду лучшие образцы, нацеленные на осознание национальной ситуации, в то же самое время обреченные, несмотря на самые лучшие намерения, остаться в истории лишь национальной литературы, благодаря не только отключенности от литературы мировой, но и нахождению внутри тупиковой национальной ситуации, ситуации, давно уже ставшей историей, а тут продолжающей оставаться не просто реальной повседневностью, но повседневностью катастрофичной, хотя и не лишенной налета инфантилизма из-за невозможности осознания завершенности события, исчерпанности в философском, метафизическом, концептуальном плане. И существующего как частный случай, как атавистическое ответвление, выполняющее для общего организма роль аппендикса.

В этом и заключается основное противоречие советской литературы 50-х годов — противоречие между частным и общим, национальным и всемирным, иллюзорным и реальным. Проблемы жизни, стоявшие перед человеком в России 50-х, были реальные и невыдуманные проблемы, но они в меньшей степени были проблемами Человека, а куда в большей степени проблемами Системы, проблемами длящейся Русской революции, приговор которой был уже произнесен, и существующей для остального мира как ужасное недоразу-

мение, как еще один парадокс, противоречие между Временем и Вечностью. Однако те, кто находились внутри Системы, отключенные от Вечности, ощущали только свое Время: они видели жизнь, жизнь была реальной, поддавалась описаниям, хотя и не вполне адекватным Времени, ибо приходилось описывать жизнь, избегая прикосновений к Системе, к которой можно было прикасаться лишь опосредованно, — не к ней, а лишь к ее отдельным, вторичным проявлениям и отражениям. И использовать при этом явно неподходящий инструмент «психологизма», дающий естественные сбои, заикающийся, зашкаливающий при приближении к Системе. И оттого совершенно непонятный для читателя, не имеющего сходного опыта существования внутри Советской Системы, и потому неперевожимый для мирового читателя. Как раз в этот момент проступило очень интересное противоречие не просто между русской (советской) и мировой литературой, но между русским, советским, внутренним и внешним, общечеловеческим, мировым жизнеощущением. Дело в том, что каждая из сторон в этой ситуации начинает снисходительно относиться к другой, считая, что определяющей слабостью в позиции оппонента является инфантилизм.

Понятно, почему внешнее пространство оценивает советское жизнеощущение как пусть искреннее, пронзительное и т.д., но инфантильное: советский человек — ребенок, потому что знает все, кроме того, что знать, как ребенок, не может и не должен: тайны взрослых людей, скрывающих от него свои секреты. Советская жизнь — это жизнь детей, ибо они не догадываются, что они дети, а уверены, что не отличаются от взрослых людей именно потому, что не знают, чем взрослые отличаются от них. Еще шире, советская литература — детская литература, во-первых, потому, что описывает детскую жизнь и предназначает свои произведения для детей, во-вторых, по уже указанной выше причине, потому что не догадывается, что существует в тупиковом ответвлении, что поезд хотя и движется, и в вагоне происходит жизнь, но движение уже давно (после развилки 30-х годов) идет по запасному и тупиковому пути, по инерции и традиции, с отцепленным паровозом.

Инфантильность советского опыта для внешнего пространства очевидна, но вот что интересно: человек внешнего пространства, просто человек, попадающий внутрь Системы, ощущается, воспринимается ее обитателями опять же как ребенок, попавший в мир взрослых людей и не знающий того, что знают все окружающие. В чем здесь дело? С одной стороны, изнанкой периферийности, провинциальности всегда было ощущение себя центром мира, снисходительное восприятие всех, кто не принадлежит указанной периферии. И потому снисходительное отношение ко всем, кто из более широкого мира попадает в узкий, но не знает его законов — это свойство самой периферии, свойство провинциализма. Но, с другой стороны, ситуация, когда человек из внешнего пространства попадает внутрь Советской Системы, воспринимаемой им как искусственный, гигантский анахронизм, а сам невольно приобретает в глазах аборигенов налет инфантилизма, почти не связанный с его интеллектом и психологическим уровнем, имеет реальное основание.

Парадокс как раз и заключается в том, что Система, представляемая извне давно омертвелой, оскотеневшей и искусственной, внутри не только

представляется живой, сильной, хищной и опасной, но и на самом деле, при всей своей неповоротливости и кажущейся неподвижности, — жива, функционирует и наполняет настолько катастрофическим, апокалиптическим смыслом жизнь, что вполне противостоит ощущению неестественности, искусственности, немыслимости этой жизни, любой лишенный опыта существования внутри этой системы представляется в достаточной мере инфантильным, представляется ребенком, которому просто невозможно объяснить, как по существу живут взрослые люди, а сможет он это понять, только если сам станет частью этой системы.

Вот этот «объективно» существующий инфантилизм советской жизни, советской литературы, который существует наравне с «субъективно» воспринимаемой инфантильностью окружающего мира, лишенного катастрофичности и уникальности опыта проживания внутри Советской Системы, и является принципиальным обстоятельством для понимания интенций советской литературы 50—60-х годов.

Здесь, возможно, нелишним будет остановиться на тех немногих, кто отпал вместе с остальной русской (советской) литературой от магистрального пути мировой, и посмотреть, как на них сказалась общая инфантилизация литературы, замыкание ее рамками узконациональных задач. Тут не имеет смысла перелистывать хрестоматию и перечислять всех тех, кто писал историю Человека в 20-е и 30-е годы, остановимся на немногих и зададимся вопросом: случайно ли очевидное «опрошение» поэтики таких поэтов, как Пастернак или, скажем, Заболоцкий? В чем причина того, что они впадают. (весьма точно), «как в ересь, в простоту» в 50-е годы? Действительно ли это только потому, что «под конец»? Официальная советская версия: старение-мудрение, объективная необходимость приспособиться к реально существующему издательскому механизму — не исчерпывает, а возможно, даже не затрагивает важную причину. А именно: несомненное ощущение теми, кто до литературно пустых 40-х писал историю Человека, переключение русской литературы на национальную проблематику, перемена ее статуса, что сказало, конечно, на всем и прежде всего на перемене внутреннего адресата: если до 40-х годов это был мировой читатель, Человек как таковой, то в 50-е — это просто советский человек, оторванный от мировой истории и как бы начинающий жизнь сначала после глотка пустоты. Для Пастернака, Заболоцкого и других — 50-е годы весьма показательное время: с одной стороны, в них сохранился потенциал поэтов, причастных к созданию истории Человека, с другой, на них не могло не влиять изменение общественной атмосферы, весь пафос национальной литературы, полностью сосредоточившейся на своих национальных проблемах существования русского человека внутри Советской Системы. Здесь корень противоречий между долгом и ролью национального поэта, призванного одновременно Вечностью и Временем. В 50-е годы они катастрофически не совпадали, что и являлось причиной неизбежных издержек, чреватых отпадением от Вечности тех, кто правильно оценивал свой долг перед своим временем и писал «честные, простые книги», принадлежащие своему национальному времени и не попадающие во времена исторические.

Здесь, возможно, будет небесполезным попытаться ответить на вопрос: так что же, выходит, что у честной книги, написанной просто, от души, как

говорится, без затей и оглядки на мировую литературу, нет шанса «привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов» и оказаться на «золотой полке» мировой литературы? Да, как нам кажется, можно утверждать, что, по крайней мере в обозримом будущем, у написанной просто, душевно, без оглядки на мировую литературу честной книги нет шанса впоследствии перейти из истории национальной литературы в литературу мировую, и на это есть несколько причин.

Дело в том, что поэтический язык, артикулирующий якобы принадлежащий только автору взгляд на мир, поэтическая система, поэтика, лежащая в структурном основании любой книги, — это далеко не частное дело, это отнюдь не опознавательные знаки отличия одного произведения от другого, как и не следствие оригинальности либо ординарности натуры, как, впрочем, и не результат отличия одного взгляда на порядок вещей от другого (хотя, конечно, и это: и знаки, и оригинальность, и результат). Главное, однако, в том, что языка как такового, замкнутого поэтическим или нормативным словарем, представляемым как, скажем, груда камешков, из которой одни постоянно отсеиваются (устаревают), а другие подкладываются (возникают новые), такого языка не существует, вернее, существует, но как абстракция, ибо язык, поэтический язык — не словарь, а постоянно меняющаяся, движущаяся параллельно времени система, которая может быть уподоблена телескопической антенне, которая как бы ни выдвигалась, какие бы новые сочленения на ней не появлялись, все они связаны с предыдущими и на них опираются. А поэтика, создаваемая лежащим в ее основании языком, может быть уподоблена оптической системе, которая настраивается на резкость не чем иным, как Временем, и настраивается именно так, чтобы увидеть Человека, человека исторического и всегда принципиально нового, не одинаково приспособленного к тому, чтобы нести на себе отпечаток Времени, и попадающего далеко не в каждый объектив, а соответственный ему, построенный с учетом его, Человека, истории.

Если посмотреть на поэтику, поэтическую систему, имея в виду разницу между национальной (периферийной) и мировой литературой, то поэтика — это та оптическая система, которая позволяет (либо не позволяет) увидеть не просто то, что видит автор в соответствии со своим кругозором и т.д., а опять же Человека, соответствующего своему каждый раз разному положению в собственной истории. И совершенно очевидно, что как человек (герой, рассказчик), меняясь, зависит от всех своих предыдущих состояний, так и оптическая система, позволяющая увидеть не просто человека-современника (по принципу, что любой человек — это целый мир), а именно того, кто наиболее точно несет на себе печать Времени, должна также зависеть, нести в языке описания связь с предыдущими состояниями языка, быть неразрывной, непрерывной, единой поэтической системой, как непрерывная, неразрывная, раздвигаемая подозрная труба, состоящая из бесчисленного количества соединенных звеньев. Разрыв в языке — род клинической смерти, существование после него — частное, национальное дело, уводящее в сторону от истории Человека, истории мировой литературы.

Здесь, вероятно, уместным будет упоминание о существовании и функциях эстетической цензуры, которая во многих случаях куда строже, нежели цензура политическая, следит за недопущением внутрь Системы книг, пред-

ставляющих для нее особую опасность. Действительно, если функции политической цензуры понятны,— это недопущение внутрь Системы книг с отрицательным отношением к Русской революции и ее последствиям (иначе говоря, стоящих на позиции Рима, погибшего от рук варваров), то функции эстетической цензуры, на первый взгляд, неясны. Какую, казалось бы, опасность представляют для Русской революции произведения таких (никакого отношения ни к Русской революции, ни к созданной ею Системе не высказывающих) авторов, как, скажем, Сартр, Беккет, Ионеско, Джон Барт, Набоков, Бёрджесс и т.д.? Но в том-то и дело, что Система знает, как относиться к оппозиции типа: Россия и Русская революция, Рим и варвары, ибо эта оппозиция односторонна, неверна и вполне поддается критике и описанию. Но совсем не ясно, как относиться к позиции, причисляющей Русскую революцию к событию из жизни Человека, но событию уже прошедшему и реализованному. Иначе говоря, именно произведения, относящиеся к истории Человека, человека, пережившего Русскую революцию как событие (а теперь продолжающего жить с опытом Русской революции в крови, но духовно живущего уже п о с л е, преодоленно), что и заставляло рефлекторно срабатывать механизм эстетической цензуры. Действительно, ситуация проникновения произведений мировой литературы, синхронных национальному литературному процессу, представлялась для эстетической цензуры немислимой, ибо такие произведения пусть опосредованно, но совершенно отчетливо говорили о тупиковом ответвлении, в котором существует замкнутая национальная литература, и почти неизбежно разрушали бы инфантильное незнание своей инфантильности, ибо несли в себе раскрытие тайны, скрываемой от детей взрослыми. тайны существующего взрослого мира, существующего не по национальным, а по историческим законам. Для эстетической цензуры проникновение такого произведения на внутренний рынок представлялось, очевидно, проникновением развратного волка в стадо невинных овец.

Здесь, возможно, надо упомянуть вот о чем. У любого произведения, даже ставшего классическим, — свой жизненный цикл, свои отношения с читателями. Совсем необязательно, чтобы такое произведение сразу после своего создания стало страницей из книги истории Человека, оно становится (если, конечно, вообще ему суждено стать) историей Человека в свое время и на определенный срок, пока в эту книгу не будут вписаны новые страницы и Человек как таковой не приобретет новые черты. Дальше происходит по-разному: одни произведения, оставшись в памяти яркой вспышкой, фейерверком, надолго забываются, к другим приходится постоянно возвращаться, третьи вообще почти не сходят со стола, но в любом случае у каждой такой книги есть, так сказать, свой период наибольшей жизненной активности, когда книга производит наибольшую работу в умах, причем в умах именно тех читателей, которые и представляют вместе обобщенный образ Человека как такового. И, понятно, именно этот период и является наиболее важным.

Конечно, и в дальнейшем произведение будет работать, но уже с другими частями читательского спектра, более отдаленными, периферийными, менее в историческом плане активными и важными. Так вот наша родная эстетическая цензура, располагая непонятно откуда взявшимся тончайшим чутьем,

если и пускала внутрь Системы такие произведения, то именно и обязательно в период наименьшей их жизненной активности, в период полного и катастрофического спада интереса к нему в мире, словно обладая точным и уникальным прибором, высчитывающим биологический цикл (ритм) жизни произведения (знаете эту синусоиду: $\min\text{-max}$), и всегда, исключительно всегда, допуская к внутреннему употреблению произведения, находящиеся в глубоком мировом минимуме. Более того. Почти всегда автор (не только привлечший к себе «любовь пространства», но и любой автор) — это не одно произведение, хотя у него всегда есть основные или основное произведение — оно-то и есть он; но есть, конечно, и периферийные, менее его выражающие. Так вот, когда доходило дело до ввода во внутренний обиход такого автора с мировым именем и мировым влиянием, то его почти всегда представляли совершенно особой подборкой его произведений, подборкой не то чтобы дискредитирующей, но сбивающей с толку, с правильной ориентации, дезориентирующей — это уж несомненно. Причем, это именно правило, закон, Основной закон эстетической цензуры; если давать, то в самый неподходящий момент и именно так и в такой последовательности, чтобы главное, центральное произведение автора оказалось дезавуированным.

Все, что говорилось здесь об эстетической цензуре,— это не отступление (хотя мы и не затрагиваем все функции эстетической цензуры, и в частности, ее отношение к произведениям, создающимся «тут», а не «там», а это важнейшая функция, во многом объясняющая сущность самой Системы), мы лишь рассматриваем эстетическую цензуру как границу (которая всегда на замке) между национальной и мировой литературой, как инструмент принудительного отделения одной литературы от другой. Ибо эстетическая цензура — есть пояс невинности (и куда в большей степени пояс невинности, чем цензура политическая).

Нужны примеры? Пожалуйста. Возьмем, скажем, Кафку. Основные вещи написаны в 20-е годы, пик популярности, жизненной активности — конец 40-х, 50-е; первая советская публикация — середина 60-х, а самое основное произведение «Замок» — только в этом году. Борхес — период онтологического проявления — 30—40-е, период максимальной жизненной активности — 60—70-е, допуск к советскому читателю — в конце 80-х, сначала тощей, дезориентирующей книжкой из библиотечки «Иностранной литературы», а затем, под сурдинку, объёмный том. Сартр, экзистенциализм, новый роман, литература абсурда, черный юмор. Беккет, промелькнувший пьеской и до сих пор недоступный в прозе. Ремизов — один из немногих русских писателей, вписавший, как никто другой, много страниц в книгу о Человеке,— с пониманием составленный, искореженный сборник, где Ремизов подстрижен под Катаева, и почти не дающий никакого представления, чем на самом деле является этот писатель. Это первые хрестоматийные пришедшие на ум имена, но так и со всеми остальными, без исключения. И здесь еще раз хочется подчеркнуть, что существование строгой эстетической цензуры — это еще одно подтверждение того, что в поэтике, в поэтическом языке заложен исторический опыт как существования Человека, так и языка, его описывающего, опосредованно растворенный в поэтике, в герое, но реально существующий и заставляющий с ним считаться. Это еще одно подтвержде-

ние, что поэтика — не одежда, не костюм, не оперение, а единственный способ для искусства явить истицу, истину о Человеке, человеке как таковом.

Однако, если в результате данной статьи создается впечатление такого снисходительного, даже уничижительного отношения к национальной литературе, к русскому писателю, решающему задачи, связанные с существованием его «малой родины», или описывающему, воссоздающему генезис советского человека в трудных обстоятельствах его становления, то это совсем не так. Не так не просто потому, что писатель не виноват, что под колпаком находится он сам и под колпаком литература, а просто потому, что не существует такого закона, по которому роль национального писателя ниже роли писателя мирового; даже более того. Если бы у писателя был, скажем, выбор: решать задачи национальные или мировые, быть писателем национальным или всемирным (так сказать, экспортным), то, конечно, выбор национальной стези более благороден, скромнее, даже правилен, как вообще куда честнее заботиться о ближних, самых ближних, а потом уже о дальних, тем более абстрактных дальних. Но в том-то и дело, что никакого выбора нет, никто из писателей не выбирает себе писательскую роль, а просто пишет то, что считает важным, делает то, на что способен он и никто другой. А уж то, что получается в результате, по сути дела, не зависит от писателя, ибо он ограничен собственным опытом, собственным дарованием и степенью самооценки, как и осознанием степени собственного включения в мировой литературный процесс и мировую историю (историю нашего Человека).

Если вернуться к литературе 50—60-х, то и здесь основной ее темой является описание человека в условиях очередного этапа развития Русской революции, причем концептуально 50-е годы представляются большинству писателей в виде ситуации выхода из тоннеля, когда свет уже виден, но еще перемешан с тьмой. И именно ситуация «просветления» и становится (вне зависимости от творческой манеры, стиля, места действия, авторской честности, глубины и т.д.) единственным сюжетным основанием почти всей последующей литературы, имеющей, однако, точкой отправления именно 50-е годы. Концептуально описывается один типологически сходный герой, в одной и той же ситуации, но только в разных жизненных обстоятельствах и обстановке: не раздвоенный, а прямодушный человек XIX века, по-своему честный, но до поры до времени не задумывающийся о многом, и вот этот человек сталкивается или попадает в новую для себя жизненную ситуацию, которая как бы раскрывает ему глаза на то, чего он до сих пор не знал. Далее, после просветления героя, уже ничего не происходит, ибо что делать с просветленным героем писатель 50-х (да и последующих) годов не знает. Именно поэтому действие никогда не начинается с «просветления», а напротив, начинается с описания, условно говоря, невинности героя, который теряет ее к концу повествования, а на то, что делает, вернее, собирается делать «просветленный» герой, писатель лишь смутно, неясно, глухо намекает. Но именно — смутно, глухо, неясно, — ибо, во-первых, не знает сам, и, во-вторых, описав «просветление», уже выполнил свою задачу. Таким образом, это «просветление» 50-х годов равно свадьбе, смерти, отъезду героя классической литературы. Продолжение, если и намечается, то иллюзорное, в большинстве же случаев оно даже не подразумевается. Дело в том, что жанрово (вне зависимости от того, роман ли перед нами или

рассказ, повесть) любое прозаическое произведение 50-х годов — это роман воспитания или даже точнее: образования*. Герой взрослеет по ходу действия (хотя большей частью взросление — это прозрение, озарение, вспышка), но повзрослев, уже ни на что не годится, ибо писателю интересен и важен только момент взросления, потери социально-идеологической невинности. И именно поэтому, повзрослев однажды, в одном рассказе, герой все начинает сначала в другом, ибо взрослому герою нечего делать, просто нет места в мире, где возможен только процесс взросления, не имеющий конца, ибо взрослость находится уже за границей этого мира, за пределами той литературы, которую мы рассматриваем.

В эту схему укладываются, по сути дела, все честные писатели, пытавшиеся описать ситуацию выхода из тупика, из тоннеля, приветствующие национальное оздоровление, докапывающиеся до причин случившегося, ставящие своих героев перед жизненными проблемами (о других — стоящих на охранительных позициях, необеспокоенных, речь вообще не идет), но несмотря на разницу стиля, таланта, на пресловутое «лица необщее выражение» (как, скажем, действительно, не похожи Тендряков и Казакевич, Солженицын или Некрасов), несмотря на различие психологических, интеллектуальных, нравственных физиономий своих героев, они, эти герои, делают одно и то же: попадают в незнакомую для себя жизненную ситуацию, которая способствует их «просветлению». Сами «просветления», конечно, отличаются друг от друга, образуется целый спектр различных «просветлений», от частного, как, скажем, у Тендрякова или Некрасова, до общего, как у Солженицына. Однако общая схема остается прежней: герой попадает в новый колхоз, на Сталинградский фронт, в лагерь или в онкологическую больницу, он может быть тоньше или грубее, интеллигентнее, начитаннее или проще, но он всегда не готов правильно оценить общий смысл того, что происходит; он может быть умен, может обладать житейским и даже философским опытом, но при этом концептуально, принципиально наивен, невинен и взрослеет только в самом конце (опять же в зависимости от степени обобщения, на которую решается писатель, формулируя либо не формулируя свое новое «послепросветленное» состояние).

Почему же так получается, что при всей непохожести героев «Оттепели», «Звезды», «Окопов Сталинграда», «Ивана Денисовича», «Ракового корпуса», «Подёнки — век короткий» и т.д. писатели позволяли жить своим героям только до взросления, до момента осознания ими частной либо общей истины, но ни разу не попытались продолжить повествование после «критической точки» очередного взросления? А дело в том, что герой, используемый ими как инструмент осознания жизни, принципиально (ментально) инфантилен, и состоявшееся взросление означает для него смерть, настоящий, а не романский конец, его просто не существует после точки взросления, ибо после взросления это совершенно другой герой, герой иной писательской

* Иначе говоря, речь идет не о *bildungsroman*, а об *educational novel*. Нужно ли говорить, что здесь не ставится под сомнение сам жанр романов воспитания (*bildungsroman*), сыгравший в свое время решающую роль в развитии классической литературы, а лишь рассматривается его применение в изменившихся и несоответствующих ему обстоятельствах.

установки, герой принципиально иного творческого метода, основанного уже не на психологическом поэтапном взрослении, а на онтологическом знании изначально того, что нашему герою открывается всегда только в самом конце.

По сути дела, это издержки психологического метода изображения человека, который познает мир, словно поднимаясь по лестнице, когда каждый шаг — поступок, вызывающий определенную реакцию окружающих и определенные последствия для него самого. Если метод изображения или создания романного пространства — психологизм, то герой неизбежно должен проходить через последовательные стадии событий и поступков, меняющих его, разделяющих его как бы на два состояния: до и после, до взросления и после него. Именно поэтому читатель всегда чувствует, что писатель неизмеримо умнее своего героя, ибо знает конец, знает то, что открывается герою, лишь когда он поднимется на вершину сюжета, и, значит, все романное построение условно, писатель — демиург, а герой — его создание — принципиально инфантилен, ибо не знает того, что знает взрослый человек, его создатель*.

Как бы ни старался писатель быть честным, как бы ни был он умен и талантлив, какой бы жизненной зоркостью и опытностью он ни обладал, когда он в 50-е, 60-е годы писал роман, используя психологический метод изображения и инфантильного героя, которому не позволялось с самого начала знать то, что знал писатель и знал условный средний советский человек, — он, этот писатель, был обречен остаться внутри — пусть пронзительного, трагичного, умного — но в чем-то специфически условного и инфантильного мира. По большому счету этот герой был героем XIX века, ибо не знал именно того, что было известно советскому человеку, но не в конце книги, а в начале.

В этом смысле особый интерес представляет рассмотрение казалось бы такой несущественной детали, как концовка произведения, общий тон и фон заключительных сцен, вопрос о пресловутом оптимистическом либо пессимистическом конце, о чем так долго яростно хлопотала советская критика. Казалось бы, так ли это важно? Так вот, в той системе, в которой создавались произведения 50-х, 60-х (да и, конечно, последующих) годов, концовка носила, действительно, концептуальный характер. Ведь то, что мы назвали «взрослением», «просветлением» в романном пространстве, чаще всего предстало как столкновение, неожиданное открытие героем темных сторон — но не жизни вообще, а именно Системы. К примеру, герой узнавал, что секретарь парткома, директор завода или какой-нибудь другой функционер — подлец, что, оказывается, у него расходятся слово и дело, и можно, выходит, произносить правильные лозунги с трибуны, а в жизни быть бесчестным подлецом, махровым притеснителем и лицемером. В этой ситуации финал произведения приобретал принципиальное значение: ведь если

* Еще раз отметим отличие от психологических романов XIX века, где герой, взрослея вместе с автором, познает жизнь и ее законы, познает будущее, что полностью соответствует историческому периоду века надежд, в то время как в советском психологическом романе герой познает Систему, созданную ранее, сознает нечто заранее известное, двигаясь таким образом не вперед, а назад. Понятно, что «инфантилизм», о котором идет речь, это не общечеловеческий инфантилизм, а инфантилизм «системный», советский.

герой разочаровывается в одном конкретном человеке, в той или иной стороне действительности, но у него хватает силы и мудрости увидеть за деревьями лес, понять, что частное не есть выражение общего, что сбóит только вместо плохого функционера поставить хорошего либо просто сообразить, что именно от него-то и зависит, быть или не быть, верить или не верить, — то это и есть социалистический реализм.

Напротив, плохой конец, мрачность произведения, трагическая неопределенность, темный колорит последних страниц переключали стрелку и приписывали произведение к школе уже другого реализма, критического.

Методу социалистического реализма совершенно необязательно принадлежали и принадлежат произведения конъюнктурного характера, совершенно необязательно (хотя мы вместе с критикой и понимаем, как важна тональность, смысл концовки). К методу соцреализма, таким образом, принадлежат и такие, кстати, произведения (уже не 50—60-х, а самых что ни на есть «перестроечных» 80-х), такие бестселлеры 87, яростно разоблачающие пороки нашей истории, общества, тех или иных деятелей партии, как «Дети Арбата», «Белые одежды», «Плаха» (несмотря на признаки «магического» реализма, все-таки по большому счету этот реализм не «магический», а социалистический), «Новое назначение» и т.д. Ибо в них во всех не знающий ничего дурного, зазорного, дискредитирующего Систему, наивный, простодушный, по-своему честный и желающий блага герой делает в результате одно и то же: взрослеет, взрослеет, проходя через страдание, через потерю невинности и наивности, но это взросление, просветление приводит его не к тупику, не к безнадежному осознанию, что плетью обуха не перешибешь, что выжил он благодаря случайности и как раз блаженной для него инфантильности, как раз напротив. Герой возвращается из ссылки и становится воином-победителем, спасает ценный сорт картошки, и, даже умирая от рака или в результате жизненной катастрофы, все равно не теряет веры в Систему, и это самое главное.

Плохой или хороший конец (пусть не безусловно, но по большей части) не просто относит произведение к школе критического либо социалистического реализма, но и является дополнительным, вынесенным за скобки сигналом, демонстрирующим лояльность либо неопределенность, неочевидность позиции по отношению к Системе как таковой.

Однако и «просветления» критического реализма не выводили героя (а вслед за ним и читателя) за границы инфантильного мира. Эти «просветления» отличались разной степенью обобщения, но все равно делали героя бессильным для последующего существования.

Новый герой появляется уже в 60-е годы. И хотя он почти одновременно появляется у разных писателей, однако здесь, возможно, имеет смысл остановиться на одном, наиболее характерном из них — А.Битове. Дело в том, что он вводит не только нового героя, но и в одном из двух развиваемых им направлений прозы сводит до минимума расстояние между героем и рассказчиком и выходит за границы условной психологической прозы, тем самым давая возможность герою с самого начала знать то, что знает о себе автор. По сути дела, это одна из немногих попыток дать в качестве героя действительно реального советского человека: принципиально инфантильного, раздвоенного, интеллектуального, нравственно озабочен-

ного, но прежде всего бессильного. В отличие от литературы 50-х годов, где герой как бы не догадывается о своей инфантильности, а всеми силами пытается быть героем XIX века, помещенным в новые советские обстоятельства (и от этого еще более инфантильный, как ребенок, пытающийся доказать, что он взрослый, и играющий роль взрослого), здесь инфантильность героя вносится в число изначально заданных свойств, способствующих ощущению самоосознания героя (а за ним и читателя) и его естественности.

Но, конечно, центральным событием литературы тех лет стало появление историографической эпопеи Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Это было как раз то исключение из правил, когда писатель, полностью принадлежащий национальной литературе, чисто объективно обреченный решать узконациональные задачи, выходит — неожиданно для себя и литературы — за рамки национальной литературы как таковой и описывает Русскую революцию как событие из жизни Человека, делая то, что, конечно, мог сделать только русский писатель, а именно: описать Русскую революцию в жанре древне-русских летописей, исторической хроники, историографии. Отказавшись от беллетризованного сюжета и психологического повествования, в русле традиций, идущих от «Повести Временных лет» и исторических сочинений Карамзина, современный повествователь-летописец сконцентрировал всю художественность в языке, естественно соединившем его как с предшествующей ему русской литературой, так и литературой мировой. Не только благодаря масштабности, полноте и последовательности позиции, но и вследствие точного соответствия материала и художественных средств «Архипелаг» сыграл очистительную роль для русской литературы, освободив ее от необходимости повторять свой путь, полностью поглотив возможность отношения к Русской революции, как к Риму, гибнущему от рук варваров, святому Илиону и Иерусалиму, но прежде всего именно как к Риму, он не то что закрыл тему Русской революции (хотя после него любая русская книга так или иначе сравнивалась с «Архипелагом»); но сделал невозможным, вторичным, эпигонским отношение к старой России и революции как к Риму и варварам, сам полностью воплотил его, и тем самым открыл шлагбаум для нового взгляда на Русскую революцию как необходимое и закономерное событие из жизни Человека, осознающего ее как свой уникальный и неповторимый опыт.

III

Говоря о Русской революции как о явлении прежде всего духовного порядка, своим отчетливо религиозным оттенком более всего напоминающем реформацию, нельзя обойти вниманием и такое глобальное следствие Русской революции (усилению культивируемое ею самой и определяющее социальное поведение русского постреволюционного общества), как обострение чувства социального греха и вины, долга перед обществом, характеризующее советского человека.

Для того чтобы понять, что ощущение вины — совершенно естественное, характерное свойство советского человека, а отнюдь не искусственное, не навязанное (хотя и культивируемое обществом), надо вернуться к началу

нашей статьи, где мы говорили о процессах, подготовивших восприятие идей Русской революции, о том уникальном соответствии их русскому обществу в целом, благодаря соборному, хоровому, коллективному началу, присущему русской духовной жизни. Русская революция вполне соответствовала представлениям национального характера о справедливости, ибо во главе угла своих идей ставила не интересы личности, а интересы общества, сразу заняла в сознании нового общества место религии, являясь по существу, разумеется, не религией, а идеологией, но идеологией, построенной по религиозному принципу, соответствуя ей как в частных деталях, так и в общем.

Возьмем для примера такую весьма характерную для любой религии оппозицию: грешник — святой и рассмотрим, каким смыслом наполняют эту оппозицию христианство и марксизм. Для советского человека (как и для христианина) чувство собственной греховности — естественное чувство, определяемое его нахождением в миру (в обществе) и невозможностью полностью соответствовать представлениям об идеальном человеке (строителе коммунизма или святом). Любой советский человек ощущает, что полностью никак не соответствует «моральному кодексу человека будущего» (кодексу строителя коммунизма), который, если присмотреться, базируется на тех самых трех китах, о которых мы уже говорили: отказ от «я» во имя «мы» (или частного во имя общего); отказ от материального во имя духовного; отказ от настоящего во имя будущего. Ни один советский человек не может сказать о себе, что уже полностью отказался от собственных интересов во имя общественных, что живет только духовным, а не материальным, что живет только будущим, а не сегодняшним днем, и, значит, — виноват перед обществом, перед самим собой, ибо не стал идеальным членом общества, или святым.

В этом, кстати, кроется причина отлаженности механизма политических процессов 37-го и других годов, до сих пор вызывающая недоумение многих: почему крутые, суровые революционеры, прошедшие царские тюрьмы и ссылки, так легко становились игрушками в руках следователей? Но убежденному коммунисту ничего не стоит доказать, используя только логику, что он виноват перед обществом, ибо виноват всегда, т.к. он не святой, а раз чувство вины изначально есть, то также естественно возникает желание искупления вины. Ложь, с одной стороны, и пытки, с другой, — это не более чем вспомогательные приемы, которые бы повисали в воздухе, если бы сломленный человек не ощущал своей изначальной и искренней вины перед обществом. Любой человек, принявший Русскую революцию, принимал на себя и чувство вины вследствие невозможности полностью соответствовать ее идеалам.

Однако у естественного чувства греховности, присущего советскому человеку, есть не только внутреннее соответствие основным принципам Русской революции, есть и собственный генезис, связанный с зарождением этого чувства в недрах дореволюционного общества и последующим развитием в условиях разворачивающейся революции. Здесь пора сказать, что советскому обществу совсем не безразлично: испытывает или не испытывает рядовой член общества чувство долга, вины перед ним за неполное ему соответствие; и если это чувство не развито, не присуще душе, у него есть

способы развить его (уже в чисто прагматических целях), напомнив рядовому члену о целом ряде обстоятельств. Каких именно? О долге перед теми, кто подготавливал Русскую революцию, перед теми, кто совершал ее, и теми, кто защищал ее. Иначе говоря, о долге перед русской интеллигенцией, которая, благодаря чувству вины перед народом и обществом, подточила основы Русского государства, о долге перед теми, кто погиб во время гражданской, а затем и во время Отечественной войны. Или, если переходить в параллельный ряд, перед святыми, праведниками и отцами Церкви, на которых стоит и держится правоверный мир. Теократический отгиск Русской революции очевиден. А ее идеи — и в этом уникальность совпадения и соответствия — по сути дела в равной степени принадлежат как ей, так и соборному, хоровому началу русской православной веры, тем более что эти начала (как и сама вера) никогда не исчезали из недр русской духовной жизни, а достаточно парадоксальным образом смешивались, смешались, образовав особый состав теократической идеологии.

Именно поэтому характерны и естественны такие приемы, как канонизация святых и сакрализация многих понятий духовной жизни. Именно поэтому, если внимательно присмотреться к тому, что в обществе называется «воспитанием» (характерно, что оно не зависит от возраста — воспитывается как подрастающее поколение, так и зрелые члены общества), на деле это является педалированием, развитием и так изначально имеющегося чувства вины, греховности, долга, ответственности человека перед обществом.

Надо ли говорить, как важно это обстоятельство. Возвращаясь в 30-е годы, можно заметить, что именно здесь истоки фанатизма, одержимости, непримиримости, правоверности, категоричности, иступленности, постоянного обыгрывания оппозиций: «свой — чужой», «наши — враги», ощущение несомненного морального и идейного превосходства, характерных для наиболее радикального и идеалистического периода Русской революции.

Надо ли говорить, что именно здесь и пролегает невидимая граница, разделяющая национальную и мировую литературу, т. е. последняя, восприимая Русскую революцию как событие из жизни Человека, свободна от чувства идеологического греха, вины перед обществом. В то время, как национальная литература, даже доходя до понимания, что это чувство вины и создает тот уникальный комплекс несвободы, который отличает советского человека от всех других, она (национальная литература) в большинстве случаев не в состоянии избавиться от естественно присущего ей чувства собственной греховности, что и замыкает контур, отделяющий ее от литературы мировой. Также безуспешны попытки редуцировать это чувство, проецируя его в конечном итоге на кажущееся близким ему чувство долга, ответственности перед Родиной. Кажется, это действительно сопряженные понятия: вина, грех, долг, ответственность, Родина, общество, народ, Человек. Однако не только можно, но и должно дифференцировать такие понятия, как долг перед Родиной и редуцированная вина перед обществом из-за неполного соответствия его идеалам. Здесь, кстати, кроется и принципиальное различие между (кажущимися похожими) русским православным сознанием и идеологией Русской революции, которая во многом является теократической и похожей на религиозную систему и совершает однако (среди прочего) одну существеннейшую подмену: вместо онтологически присущего

человеку (и подчеркиваемого религией) греха перед Господом, она в качестве краеугольного камня поставила принципиально присущую члену общества вину перед собой.

Здесь так и просятся слова о «замене Бога кумиром». Более того, так и ожидается хула на «кумира», тем более что для хулы, притом самой красноречивой, есть множество оснований. Но как тогда быть с народной душой, совершившей некогда исторически очевидный выбор?

Стоит ли сейчас говорить о роке, о Трое, о Риме, забывая при этом Иерусалим? В чем здесь дело: в кризисе веры или в прельстительности социальных идей? В уникальном соответствии идеологии народной души или в этой душе? В исторической миссии России или в ее обреченности? Вот какие вопросы стояли и стоят перед национальной литературой.

А станет ли когда-нибудь русская литература вновь мировой? Бог весть.

ЛИБЕРАЛЫ И РАДИКАЛЫ

Оппозиция «радикал — либерал», понимаемая, конечно, не в буквальном, каноническом, «английском» смысле, а в русском, переносном (как почти все у нас имеет переносный, фигуральный, опосредованный смысл), всегда существовала в жизни русского общества. Существовала, являя собой условное обозначение полюсов того или иного состояния общества; в зависимости от этого состояния обозначая разные, подчас даже противоположные позиции, соответствующие силе общества в настоящий момент, влиянию его на правительство, которое Пушкин когда-то назвал «единственным у нас европейцем» (добавляя и поясняя при этом, что только от одного правительства зависит, стать ли ему еще хуже или улучшиться). И дело здесь не в том, что общество не могло придумать, найти точные названия для тех или иных позиций и взглядов, а в том, что в обществе, которое пользуется минимальным влиянием на единственного своего европейца — правительство, невозможны конкретные, открытые, совершенно определенные общественные позиции, и поэтому для определения той или иной позиции идут в ход такие весьма условные понятия, как «либерал», «радикал», «консерватор».

Однако иногда, когда европейец-правительство затевает очередные реформы и поневоле обращается к обществу, без которого осуществить свои реформы не может хотя бы потому, что именно его оно и реформирует, в обществе начинается кристаллизация, поляризация, различные социальные группы определяют свое отношение к предполагаемым или идущим реформам. И вот тут все эти весьма условные категории начинают приобретать более конкретный смысл. «Либерал» — это тот, кто ищет максимальных позитивных изменений в пределах существующего порядка вещей. «Консерватор» — тот, кто не хочет каких бы то ни было изменений, опасаясь за устойчивость этого порядка вещей. И «радикал» — уверяющий, что какие бы то ни было существенные изменения при этом порядке вещей невозможны и изменять нужно сам порядок.

При такой расстановке сил очевидно, что либерал занимает промежуточное положение между устойчивыми, почти неподвижными позициями консерватора и радикала, озабоченными, в первом случае, сохранением принципов, лежащих в основании настоящего порядка вещей, во втором — коренным

изменением этих принципов, а затем и самого порядка, — позициями, мало или почти не зависимыми от состояния общества в данный, настоящий момент, ибо обращены главным образом к его основам. В то время как либерал принципиально апеллирует именно к конкретному состоянию общества, ибо всегда, в любой момент настроен на внутреннее улучшение общества в пределах данного его состояния. Либеральная позиция, таким образом, становится, с одной стороны, наиболее естественной, объяснимой, позицией здравого смысла, эволюционизма, просвещения, культуртрегерства, позицией внутреннего движения. И, понятно, становится наиболее сильной именно в период реформ, в период постепенных, неторопливых изменений, ибо и является реформистской по существу. В то время как позиции консерваторов и радикалов, напротив, становятся наиболее слабыми в период реформ, ибо отрицают эти реформы и связанные с ними надежды, в одном случае, не желая и боясь реформ, опасаясь за порядок вещей, в другом — считая любые реформы при данном порядке вещей недостаточными, мало что меняющими, камуфлирующими невозможность настоящего и принципиального изменения; и поэтому оцениваются восторженными, ожившим благодаря реформам обществом как одиозные, категоричные, неконструктивные. И по большей части — по крайней мере, в данный момент — таковыми и являются. Однако, с другой стороны, и либерализм имеет определенный изъян, ибо всегда, при любом порядке вещей принимает этот порядок и только стремится к его улучшению. И наиболее он уязвим в моменты ослабления влияния общества на власть, ибо всегда, доходя до допустимых пределов, не в состоянии перешагнуть через них.

Интересно и то, как оценивают либералов консерваторы и радикалы, для которых эта позиция является в равной степени неприемлемой, но совершенно по разным причинам. Если для консерватора либерал — это (пользуясь терминологией XIX века) фармазон, карбонарий, вольнодумец, потрясатель основ, то для радикала либеральная позиция — выражение слабости, нерешительности, непоследовательности, которой, конечно, радикалы не отказывают в добропорядочности, в лучших устремлениях, ибо сами радикалы по большей части выходят из недр либерализма, но негодуют, на либералов за их недостаточную критичность, доверчивость, зависимость от объявленных реформ, реформ, всегда с радостью и надеждами встречаемых либералами и с настороженностью и недоверием консерваторами и радикалами.

Однако что представляют из себя современные либералы, радикалы и консерваторы? Каков тот порядок вещей, который пытаются сохранить консерваторы, коренным образом изменить радикалы и улучшить либералы? Попытаемся разобраться.

Любое общество (любой порядок вещей) достаточно точно характеризуется следующими параметрами: 1) осмыслением его конкретного состояния в настоящий момент; 2) его «золотым веком», детством (порой надежд и эйфории); 3) историей становления и 4) идеальным представлением, идеальной моделью, к которой общество стремится и с которой постоянно сравнивается (обуславливая этим сравнением существование общественных потенциалов). Рассмотрим, как раскрывается либеральная позиция по отношению ко всем этим параметрам.

Современная либеральная позиция, достаточно полно реализованная в многочисленных и детальных статьях, опубликованных в последнее время, строится на противопоставлении неудовлетворительного состояния современного общества и негативного отношения ко многим пунктам его становления (его истории), с одной стороны, и «золотого века» общества, его детства и идеального представления об обществе — с другой. Достаточно резко характеризуя «застойные» и «административно-командные» времена, причем все более и более расширяя пределы и границы этого понятия, включая в него в отдельных случаях чуть ли не всю «последленинскую историю» общества, либеральная критика противопоставляет «застойным временам» «золотой век», первые ленинские годы советской власти и период нэпа, приблизительно определяя границу этого времени 28-29-м годами. Критика всей последующей истории общества, особенно сталинского периода, уравновешивается сожалением и по поводу того, что не было выполнено известное ленинское завещание съезду, не были реализованы его идеи, сформулированные в последних работах, и ленинские представления о будущем общества, которые нашли выражение в его книге «Государство и революция». Но давайте по пунктам.

Наиболее последовательно либеральная позиция раскрывается в отношении и критике сталинской эпохи. Если при первых протесках либерализма все «негативные последствия» увязывались с культом личности и самой натурой Сталина, его мнительностью, подозрительностью и властолюбием, но при этом обязательно подчеркивалась его положительная роль во 2-ой мировой войне и, соответственно, необходимость коллективизации, индустриализации и централизации власти как неперемennого условия победы, то последующие и более последовательные либеральные выступления ставят под сомнение не только всю деятельность Сталина, всю его политику, пока только внутреннюю, но даже протестуют против того, чтобы вся ответственность за «дискредитацию социализма», «массовые репрессии и беззакония» вваливались на одного Сталина, подчеркивая, что «моральные качества одного человека сами по себе не могли привести к столь роковым последствиям в масштабах всей страны». Так пишет А.Нуйкин в статье «Идеалы и интересы» и добавляет: «Сталина призвала и подняла на пьедестал приказная административная система управления, идеология волевого построения социализма сверху, оказавшаяся, к сожалению, ближе и понятнее тем социальным силам, которые определяли и определили выбор на переломе истории, на развилке путей».

Что представляют из себя силы, определившие этот самый выбор на «развилке путей»? Почему они могли совершить выбор, противоречащий интересам народа в государстве, где власть принадлежит народу? Почему впоследствии, когда стало ясно, что путь выбран неверный, что самая «бескровная из революций» превращается в «кровавую баню», у народа не оказалось возможности отозвать «представителей народа», вынести им вотум недоверия и заменить силами, которые бы повели страну по «правильному пути»? На большинство из этих вопросов либеральная критика ответов пока не дает, но, не объясняя, каким образом у власти, которая именуется народной, оказались силы, проводящие неконтролируемую народом политику, она, эта критика, описывает ту систему, которая сложилась и во многом

без изменений существует по настоящее время. Наиболее интересное описание этой системы, называемой автором Административной системой управления, дает Г.Попов в своей статье в 4-м номере «Науки и жизни» за 1987 г., основывая свой анализ на романе А.Бека «Новое назначение» и оговариваясь при этом, что имеет в виду не систему, выведенную в данном только романе, а ту Административную систему, которая существовала и существует поныне в нашей стране. Административная система у профессора Попова — это система, построенная на принципах «недемократического централизма», когда централизовано всё: власть, экономика, общество, но прежде всего именно власть, построенная по строго иерархическому принципу, согласно которому решения, принимаемые на самом верху, не обсуждаются и должны быть выполнены обязательно на всех последующих (более низких) уровнях власти. А для того, чтобы обеспечить бесперебойное исполнение принятых наверху решений, Административная система обладает «подсистемой страха» в виде репрессивных органов «госбезопасности», «тайной полиции», необходимость которых определяется внутренней логикой Административной системы. Не объясняя, как такая система возникла (и могла возникнуть), автор достаточно подробно и убедительно показывает на примере романа, как эта Система работает, как начинает давать сбои, как снимается личная ответственность с исполнителей приказов, идущих сверху, как доводит самое себя и жизнь до абсурда. Доказывая и неоднократно повторяя, что «сама внутренняя логика Системы требует «подсистемы страха», и необходимость этой подсистемы, репрессивного аппарата, «заложена в сути Административной системы», Г.Попов подчеркивает, что реализовываться «эта возможность может и в относительно культурном, и в наиболее варварском виде». В «варварском виде» — в сталинскую эпоху, в «относительно культурном» — в «послесталинскую». Оставляя на совести автора уклончивое сведение функций и роли Сталина к функциям администратора, посмотрим, как либеральная критика объясняет то, что Административной системе (будем пользоваться этим обозначением не потому, что оно безусловно верно, а потому, что наиболее точно выражает либеральную позицию) удалось добиться поддержки народа, без которой эта Система не смогла бы существовать.

Вот как это объясняет В.Гроссман в своем только что («Октябрь», №1-4,1988) опубликованном в СССР романе «Жизнь и судьба»: «...мобилизовав и раздув ярость масс, Сталин проводил кампанию по уничтожению кулачества как класса, кампанию по истреблению троцкистско-бухаринских выродков и диверсантов. Опыт показал, что большая часть населения при таких кампаниях становится гипнотически послушна всем указаниям властей. В массе населения есть меньшая часть, создающая воздух кампании: кровожадные, радующиеся и злорадствующие, идейные идиоты либо заинтересованные в сведении личных счетов, в грабеже вещей и квартир, в открывающихся вакансиях. Большинство людей, внутренне ужасаясь массовым убийствам, скрывает свое состояние не только от близких, но и от самих себя. Эти люди заполняют залы, где происходят собрания, посвященные истребительным кампаниям, и, как бы не были часты эти собрания, вместительны залы, почти не бывало случая, чтобы кто-либо нарушил молчаливое единогласие голосования. И, конечно, еще меньше бывало

случаев, когда человек при виде подозреваемой в бешенстве собаки не отвел бы глаз от ее молящего взора, а приютил бы эту подозреваемую в бешенстве собаку в доме, где живет со своей женой и детьми».

Надо ли говорить, что приведенное выше объяснение, вызванное эмоциональным неприятием насилия, слишком поверхностно сводит все к «гипнотическому влиянию», массовому психозу. Консервативная критика не преминула бы заметить, что здесь неслучайно «народ» везде заменен «массами» и «частью населения», «большинством людей», то есть толпой, что, конечно, не одно и то же. И было бы весьма унижительно (да и принципиально неверно) сводить роль русского народа в послереволюционную эпоху к роли «кролика, загипнотизированного удавом». Народ никогда не «кролик», он скорее тогда уж «удав», он никогда не пассивен, а если даже кажется пассивным, то это то молчаливое согласие, которое уже само по себе есть форма соучастия. Консервативная критика, выразив максимально точно и искренне свою позицию, могла бы многое тут поставить на свое место, но она молчит, смущенная происходящими реформами, так изменившими весь общественный климат, что наиболее сильной выглядит именно либеральная линия, а если и говорит, то весьма неубедительно, постоянно прокашливаясь, вынужденная подстраиваться под либеральную позицию, что делает еще более слабой ее партию в дуэте-диалоге, в котором сейчас заглавная партия принадлежит либеральной критике.

Не получая достойного, убедительного отпора, либерализм захватывает одну позицию за другой, осваивая пространство общественной жизни и истории общества, причем осваивая таким образом, чтобы наделять занятое пространство импульсом с определенным знаком, устремляющим общественное понимание в нужную ему сторону, в сторону достаточно расплывчато понимаемой и формулируемой либерализации.

Но дадим еще раз слово цитируемому автору. Дело в том, что Гроссман в своем романе (опубликованном в 88-м, а написанном в 58—60-х), развивая инвективу Административной системе, делает ответственное сравнение, называя Административную систему сталинской поры — тоталитарной и объединяя ее по результатам жизнедеятельности и функциям с фашизмом. Это сравнение ответственно, ибо для либерализма нет общественной системы хуже, чем тоталитарная система, не оставляющая места для либеральной позиции, тоталитаризм — это смерть для либерализма как такового. Нас, однако, не должна смущать смелость этого сравнения, намекающего на мужество автора, сделавшего его якобы первым, ибо радикальная мысль сделала это намного раньше в выдержанных, обстоятельных, доказательных работах и куда в менее нервическом тоне. Но дело как раз в том, что либеральная критика не может позволить себе как ссылку на радикальные идеи, высказанные более сорока лет назад и носившие прогностический характер, ибо они отвергали основные черты Системы и ее будущее, так и цитирование более поздних работ, основанных на анализе реальных фактов функционирования Системы, работ, принадлежащих тем, кто принципиально Систему не принимал, находясь вне ее, что для либерализма, принципиально поддерживающего Систему и не мыслящего себя вне ее, и делало эти идеи неприемлемыми. Отсюда же этот эмоциональный, припод-

нятый, нервический тон большинства современных либеральных статей (особенно в сложных местах), который и объясняется тем, что либеральный автор должен сделать вид, что сам только что додумался до очередного откровения, что он прозрел, что с болью должен отрешиться от собственных (и одновременно общественных) заблуждений, что артикулируемое им — это искренний порыв, просветление, отрешение от сладких и болезненных иллюзий. В этом эмоциональном тоне сублимируется страх либерального автора, он потому и переходит на повышение тона, что боится собственной смелости, хотя на самом деле сообщает то, что ему хорошо известно, но не может сослаться на то, откуда ему это известно, а делает вид, что выстрадал, додумался до этого сам. Неслучайны эти частые переходы на «мы» в трудных местах, указания на то, что «мы все виноваты», что «нам всем требуется покаяние». Дело в том, что это не смиренное, искреннее, христианское осознание собственной вины, ответственности за все, что происходит в мире, как раз нет, это не скромность, а уловка, увливание от ответственности и страх перед ответственностью за собственную смелость, которая и приводит к перекладыванию вины на некоторое неопределенное «мы». И не случайно, что этот приподнятый, эмоциональный тон, это «мы», появляющиеся в ответственных местах, так понятны, так легко доходят до либерального читателя, который тоже испытывает страх (и радостное, щекочущее избавление от страха), когда перед ним инсценируется процесс эмоционального прозрения, освобождения от иллюзий. Не случайно, а весьма характерно для либеральной мысли стремление уравновесить свою инвективу, приводя доводы и «против», и «за», причем в большинстве случаев это не «диалектика», не желание всесторонне и объективно рассмотреть сложную ситуацию, а обязательное оставление себе лазейки, возможности отхода, оправдания, даже отказа от собственной позиции, которая принципиально противоречива и концептуально непоследовательна.

Но посмотрим, как это делается. В уже указанном отступлении в романе Гроссмана говорится, что первая половина двадцатого века будет отмечена не только как эпоха великих научных открытий, революций и грандиозных социальных преобразований, но войдет в историю человечества как невиданное доселе истребление огромных масс людей, истребление, «основанное на социальных и расовых теориях». Отмечая, что «одной из самых удивительных особенностей человеческой природы, вскрытой в это время, оказалась покорность», Гроссман задается вопросом: «О чем она говорит? О новой черте, внезапно возникшей, появившейся в природе человека? Нет, эта покорность говорит о новой ужасной силе, действовавшей на людей. Сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух. Человеческая душа, ставшая на службу фашизму, объявляет зловещее, несущее гибель рабство единственным и истинным добром. Не отказываясь от человеческих чувств, душа-предательница объявляет преступления, совершенные фашизмом, высшей формой гуманности, соглашается делить людей на чистых, достойных и нечистых и недостойных. Страсть к самосохранению выразилась в соглашательстве инстинкта и совести. В помощь инстинкту приходит гипнотическая сила мировых идей. Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели — грядущего величия родины, счастья

человечества, класса, мирового прогресса. И инстинктом жизни наряду с гипнотической силой великих идей работала третья сила — ужас перед беспредельным насилием могущественного государства, перед убийством, ставшим основой государственной повседневности. Насилие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического, религиозного преклонения, восторга».

Не случайно, что тяжелые упреки Административной системе предваряются здесь признанием эпохальности и грандиозности «социальных преобразований», не случайно все указанное отступление построено на перемежении абзацев, касающихся сталинских репрессий и истребления фашистами евреев, но ни одна фраза не дает возможности поймать автора за руку, в каждой фразе подготовлена возможность отступления на заранее подготовленные позиции. По сути дела «заранее подготовленные позиции отступления» — это и есть принцип либеральной мысли. Мы опять же не задаемся здесь вопросом, насколько вообще справедливо то, что высказано либеральным автором (а о том, насколько это несправедливо, мы скажем в своем месте).

Но продолжим анализ развития либеральной позиции, постепенно осваивающей пространства и тезисы, некогда определявшие радикальную позицию. Конечно, не случайно для либерализма сравнение сталинской тоталитарной системы с фашизмом, более того, современный либерализм идет дальше, уязвывая само возникновение фашизма с существованием тоталитарной Административной системы Сталина. «...Есть достаточно оснований утверждать, что не будь 1929 года, не было бы и января-февраля 1933», — утверждает А.Нуйкин в уже цитированной статье, также появившейся в январе 88-го года: «Я имею в виду, что пойдя мы в сторону, намеченную нэпом, — и вся мировая ситуация могла быть иной, фашизм в Европе (и в Германии) вряд ли одержал бы победу». И продолжает: «В печати уже высказывалось суждение, что в 1928—1929 годах у нас «произошел фактический государственный переворот, подготовленный группой Сталина» («Век XX и мир», 1987, №7, с.37). Какими именно бывают перевороты там, где состоялась революция, всем известно — контрреволюционными. И когда они имитируют при этом величайшую революционность, это ничего не меняет в сущности. И в этом случае возникает дополнительный сюжет, ведущий к дезориентации революционных сил в мире, путанице умов и прочим бедам, которые в данном случае и помогли фашистам в Европе одержать верх и над коммунистами, и над социалистами, и над демократами, не сумевшими, даже не пожелавшими создать единый фронт против общего врага».

Что здесь имеется в виду? А то, что фашизм в Италии и Германии возник как реакция на воплощение «идей всемирной революции в жизнь», что левый тоталитаризм своей непримиримостью и непривлекательностью для Западной Европы вызвал правый тоталитаризм, и не будь этого левого тоталитаризма, возможно, не было бы и фашизма, и 2-ой мировой и 60-ти миллионов жертв.

«Консерватор» должен ужаснуться такому предположению, в то время как радикал не преминул бы добавить о естественном сращении «правого» и «левого» тоталитаризма, о пакте Риббентропа-Молотова, о разделе Европы и вытекающих отсюда последствиях. Но консервативная позиция не прием-

лет не только радикальную, но и либеральную, даже более того, именно либеральная вызывает у нее наибольшее раздражение, как раздражает больше то, что находится ближе к нам, а не дальше.

Вопрос о фашизме и войне для консервативной позиции наиболее важен, ибо, соглашаясь в той или иной мере с допущенными Сталиным просчетами, которые объяснялись, исходя из позиции наиболее консерваторов, условиями, в которых приходилось существовать государству, то есть «враждебным окружением», с одной стороны, извне, и скрытым сопротивлением — с другой, изнутри, Сталин прежде всего превозносится как организатор сопротивления фашизму и освободитель народов Европы от коричневой чумы. Эта позиция достаточно известна: не будь коллективизации, индустриализации, не победы жестокие методы управления, взявшие верх в 30-е годы, не утвердись централизованная верховная власть, не были бы заложены основы экономической мощи нашей страны — и не было бы победы над фашистской Германией. Иначе говоря, именно благодаря культуре, благодаря централизации и единению вокруг нерушимого авторитета и удалось победить в тяжелейшей войне. Этот тезис, который долгое время казался незыблемым, сейчас подвергается сомнению либеральной критикой. Не благодаря, а вопреки, говорит либеральная критика. Не благодаря тоталитарному типу социализма, а вопреки ему, несмотря на него удалось победить в экстремальных условиях войны. Ибо эти экстремальные условия способствовали взлету «самодеятельности, децентрализации, инициативы народных масс, компенсировавших (но какой кровью?) нелепости сверхцентрализованности предвоенных лет... Только очень неискушенный в социологии человек может отождествлять демократию, самоуправление, свободу дискуссий с анархией, пустым митингованием, отсутствием четкости и дисциплины. Даже в смысле единоначалия глубокая демократия создает такие возможности, о которых самый ретивый фельдфебель и мечтать не смеет. Если люди заинтересованы в своем деле, они за четкость и за порядок, за оперативность решений двумя руками голосуют».

И — развивает либеральную позицию радикал — «не тоталитарный социализм победил в войне, а русский человек, который в экстремальных условиях войны ощутил себя ответственным за свою родину, патриотизм которого сильнее обид на жестокую власть». Справедливости ради тут надо отметить, что консервативная позиция в данном случае опять совсем не так неправда, как кажется либералам, но так как консервативная позиция сейчас слаба более, чем когда бы то ни было, нам придется защитить ее самим.

Но, конечно, и либеральная критика права, говоря о несомненном моральном уроне, нанесенном стране и армии сталинскими репрессиями и, в частности, репрессиями против армии.

А с коллективизацией и индустриализацией либеральная критика расправляется самым неприемлемым для консервативной позиции способом, а именно: привлечением цитат и высказываний Ленина. Здесь все просто: Ленин ввел нэп, Ленин утверждал, что «действовать насильем» в деле социалистических преобразований — «значит погубить все дело», ратовал за «неспешность и за добровольность», за экономические методы.

В общем, либеральная позиция достаточно выкристаллизовывается. Либеральная критика выносит приговор, по сути дела, всему существованию

системы, начиная с 1929 года, и объясняет, почему вместо «ленинского социализма» возник «сталинский тоталитарный социализм», сталинская Административная система, по сути дела без изменений просуществовавшая до наших дней, — зияющим отсутствием Ленина на политической арене, тем, что «социальным силам, которые определили выбор на переломе истории, на развилке путей, приказная административная система управления, идеология волевого построения социализма оказалась ближе». То есть некоторым социальным силам, стоящим у власти, ближе оказался не Ленин, не «ленинское завещание», а «казарменный социализм». Но каким силам? Когда был сделан этот выбор? В 37, 29 или в 24-м году? И почему, почему так произошло? Либеральной критике, понимающей, что такие вопросы неизбежно возникнут, главное — снять какую-либо ответственность с Ленина; что она, эта критика, и делает, давая понять, что Ленин знал о подобных возможных метаморфозах социализма, предостерегал против них, предупреждал о возможных последствиях.

Вот перед нами образец современной либеральной позиции, пьеса М.Шатрова «Дальше... дальше... дальше», где все действие построено таким образом, чтобы дать возможность Ленину, с одной стороны, подтвердить правомочность упреков нашему «реальному социализму», а с другой — снять с Ленина какую-либо ответственность за то, что произошло после его смерти. Прибегая для этого к достаточно простому приему: раз Ленин подтверждает правомочность критики «реального социализма», значит, он сам не хотел этого, не допустил бы, будь он жив, он верил и надеялся, что социализм пойдет по другому пути.

Вот что говорит Роза Люксембург, предъявляя счет «реальному социализму» (приведем эту цитату полностью, потому что нам еще не раз придется к ней возвращаться): «...Советы тоже не смогут избежать прогрессирующего паралича. Без общих выборов, свободы печати и собраний, свободной борьбы мнений в любом общественном институте жизнь затухает, становится лишь видимостью, и единственным активным элементом этой жизни становится бюрократия. Общественная жизнь постепенно погружается в спячку: управляют всего лишь несколько десятков очень энергичных и вдохновляемых безграничным идеализмом руководящих партийных деятелей. Истинное руководство находится в руках этого десятка руководителей, а рабочая элита время от времени созывается лишь для того, чтобы аплодировать выступлениям вождей и единогласно голосовать за заранее заготовленную резолюцию, таким образом, в сущности, это власть клики: конечно же, их диктатура — это не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков. С моей точки зрения, диктатура пролетариата — это самая неограниченная и широчайшая демократия. Социализм без политической свободы — не социализм. Без свободы не будет ни политического воспитания масс, ни их полного участия в политической жизни. Свобода только для активных сторонников правительства, только для членов партии, как бы многочисленны они ни были, это не свобода. Свобода — всегда и единственно — для тех, кто мыслит иначе. Опасность для большевиков начинается там, где временная отвратительная необходимость превращается в постоянную добродетель».

По сути дела это, с одной стороны, предсказание, обращенное к нашему времени, с другой, это приговор. Но кому? Как отвечает Ленин: я знал, что так может быть, я предупреждал, меня не послушали. Говоря: «Браво, Роза!», Ленин как бы продолжает сказанное своим оппонентом, как учитель продолжает сказанное учеником, ибо ученик в свою очередь лишь повторил не раз им утверждаемое и очевидное. «Если мы не вовлечем народ в управление государством, останемся властью для народа, а не самого народа, отдадим страну на откуп бюрократии, политику подменим политиканством, если будем как черт от ладана бежать от демократии, если класс будет подменен партией, партия — аппаратом, а аппарат будет смотреть в рот вождю, и оригинальное, отличное от вождя мнение будет преследоваться как государственное преступление, если бурлящая жизнь будет убита страхом и заменена казармой, мы столкнемся с самым страшным вопросом: «зачем?». Это реальная и грозная опасность, такая возможность есть,— Роза права!— но этот результат абсолютно необязателен, он не запрограммирован! Я в этом убежден! Каждый человек, который умеет читать и мыслить, надеюсь, разберется, где программа Октября, а где ее искажение и дискредитация. Я совершенно согласен с Розой: опасность в том, чтобы не возвести необходимость в добродетель».

Не случайно Ленин у либерального автора — либеральный политик со всеми свойственными либеральной позиции слабостями и приемами. Не случайно он, так же как любой либеральный мыслитель, в трудных местах переходит на повышенные, эмоциональные тона (восклицательные знаки, «Роза права!», «Я в этом убежден!», «Каждый человек...» и т.д.). Внешне позиция Ленина кажется выстроенной безупречно. На любые упреки, в том числе и вложенные в уста Сталина: «Я действительно только развил ваши методы и средства применительно к новой исторической ситуации», Ленин вправе ответить: «Это неправда и вы это отлично знаете! Сделать методы и средства, применяемые исключительно в условиях открытой гражданской войны, универсальными методами строительства социализма — это тягчайшее преступление против социализма!»

Но о каких именно методах и средствах идет речь? Для этого нужно вернуться к самому началу. К революции. Дело в том, что революция и есть та развилка, на которой определились те общественные позиции, которые с малыми изменениями просуществовали до наших дней, причем эта развилка интересна еще и тем, что в очередной раз доказала опосредованность таких наименований, как «либерал», «консерватор», «радикал», ибо как раз в этот момент неожиданно оказалось, что те, кто до революции считались «консерваторами», стали «радикалами», те, кто считались «радикалами», стали «консерваторами», а вот позиция «либералов» рекрутировала своих сторонников из сторонников всех трех дореволюционных позиций.

Но давайте проследим историю возникновения и использования этих обозначений в России; проследим, как меняется смысл этих понятий в зависимости от меняющейся общественной ситуации.

Все три слова, имеющие в основе латинский корень, произошли, впервые появились примерно в одно и то же время, на границе XVIII — XIX веков. «Консерватизм» (от латинского *conservo* — охранять, охраняю), введенный в обиход Шатобрианом, появляется несколько раньше; потом «либерализм»

(от лат. *liberalis* — свободный), обозначая движение сторонников парламентского строя и «естественных свобод» в экономической и политической сферах; а затем «радикализм» (от позднелат. *radicals* — коренной, лат. *radix* — корень), обозначая комплекс идей и действий, направленный на решительное изменение существующих общественных институтов, разрыв с признанной традицией, и впервые употребляется противниками Билля об избирательной системе в Англии.

Почти тогда же эти термины начинают употребляться в России. Однако в каноническом смысле употребляется лишь термин «либерал», да и то только в «декабристский период» (в то время говорили не «либерал», а «либералист»), когда идеология «декабризма» и была воплощением идей «либерализма» с устремлением к парламентскому строю, конституции, «естественным свободам». Характерно, что только в период «декабризма» и в отношении к декабристам этот термин употребляется не только канонически, но и наделяется положительным, утвердительным смыслом, в то время как впоследствии этот термин употребляется не только в переносном, но и в снисходительном, уничижительном, презрительном, осуждающем смыслах. Что при этом важно? Что, начиная по сути с 40—50-х годов, деятели, стоящие по существу на либеральных позициях — Белинский, Герцен, впоследствии Чернышевский, Добролюбов и т.д., считаются «радикалами», в то время как «либералами» называют как тех, кто стоит на позициях конституционной, просвещенной монархии, так и тех, кто вообще проповедует аполитизм, свободную эстетически-этическую позицию в жизни. «Современник», «Отечественные записки» считались радикальными журналами, «Русская мысль», «Русское богатство» — либеральными. Но вот что интересно: те, кто считались «радикалами» (и уважались общественным мнением) — народники, народовольцы в 60-х, 70-х, 80-х годах, — в 90-е годы уже считаются «либералами» и оцениваются весьма критически теми, кто стоит на более радикальных позициях. Для Михайловского, позднейшего идеолога «Народной воли», было страшным ударом то, что Плеханов и Ленин стали называть его «либералом» в 90-х годах. Для «эсдеков» «либералы» — народники, народовольцы, для большевиков — меньшевики, для «эсеров» — «эсдеки». Это еще раз указывает на то, что все эти термины носили оценочный, переносный смысл, что дополнительно подтверждается и тем, что в русском языке не было найдено аналогов этим терминам, и иностранное, переводное, калькированное звучание еще раз напоминает об опосредованности этих понятий.

В очередной раз трансформация, переосмысление, переориентация этих терминов произошла во время и после революции. Действительно, «большевики», стоявшие на позициях «радикальной» перемены существующих в России порядков, добившись своего, тут же вынуждены встать на охрану новых порядков, занять охранительную по отношению к ним позицию, и становятся «консерваторами». Те, кто занимал «консервативную», охранительную позицию по отношению к старым порядкам, как и те, кто стремился к парламентскому строю, занимал либеральную по существу, а не по названию позицию, стали «радикалами», ибо считали необходимым изменение новых порядков в плане приведения их к парламентаризму, Учредитель-

ному собранию, к реальному существованию демократических свобод. И так далее, до наших дней.

Каково отношение современных «либералов» и «радикалов» к Октябрьской революции (или, согласно радикальной терминологии, к Р-17)?

Если либералы середины прошлого века — это сторонники просвещенной, конституционной монархии, то нынешние либералы — сторонники просвещенного, конституционного социализма, «социализма с человеческим лицом», и поэтому революцию, конечно, принимают, с одной стороны, как историческую необходимость, с другой — как основанную на идеях о более справедливом и демократическом обществе. Своеобразным пороком, через который приходится перешагивать либеральному сознанию, является вопрос о «насилии», ибо либерализм принципиально отвергает насилие, но для революции (Р-17) делает исключение. Это то самое хрестоматийное исключение из правил, которое не отменяет само правило для «либералов», но которое служит постоянным источником противоречивости либеральной позиции. Именно по вопросу о «насилии» и расходятся с «либералами» современные «радикалы». Их отношение к революции более сложное, ибо, даже понимая историческую неизбежность революции, они не могут простить ей принесенного в мир «насилия». Концептуально позиция «радикалов» близка позиции и отношению к возможным революциям Достоевского, его общеизвестному утверждению, что общество, имеющее самые лучшие устремления, но построенное на крови, «на слезинке даже одного ребенка», не может быть справедливым, здание, построенное с использованием раствора, в состав которого входит кровь, обязательно когда-нибудь разрушится, кровь кинется в голову, кровавый круговорот неизбежен. Понятно, что такая «нравственная» позиция является одновременно и антиисторической, противоречивой, отчего «радикалы» и стараются не педалировать тезис об исторической неизбежности революции, даже понимая, что она действительно была неизбежна, акцентируя внимание на тех последствиях, которые возникли в результате внесения принципа «насилия» в социальное мироустройство.

В свою очередь, и современные «либералы», понимая, что «насилие порождает насилие», пытаясь оправдать свою позицию, стараются постоянно определить ту грань, ту границу, до которой «насилие» являлось исторически неизбежным и после которой становится исторически неоправданным. Однако как это трудно — определить эту грань! И, понимая это, понимая скорее всего невозможность сделать это, говорят о постепенном переходе от «насильственных», административных способов и методов руководства к экономическим, более либеральным, конституционным. Но ведь в основе любого метода управления лежит механизм осуществления власти, а механизм обладает жесткостью, конструктивностью, и переход от одного механизма к другому не может быть эволюционным; для того чтобы один механизм заменить другим, надо, по крайней мере, на какое-то время приостановить действие механизма, произвести его реконструкцию, переориентацию и только затем запускать вновь. И современные либералы считают, что это и было предложено Лениным, когда он вводил нэп. Но почему тогда нэп был насильственно приостановлен в 29-м году? Потому, отвечают, что он не сопровождался демократизацией общественной жизни. А мог ли он

сопровождаться демократизацией общественной жизни, и если мог, то до какого предела? Это и рассмотрим.

Для начала разберем, каким был механизм управления до нэпа. Вот одна из первых характеристик новой власти, данная бывшим либералом, З.Н.Гиппиус, которая до самого отъезда из России в 1920 году вела чуть ли не ежедневный дневник происходящих событий: «большевизм — это следующее, это факт, над ним вывеска, которая есть ложь по отношению к факту». Так ли это? Так ли это, если даже заменить кое-какие обороты из этой гневной тирады и сказать осторожнее, что вывеска над фактом общественной жизни не вполне соответствовала самому факту этой жизни? Возьмем известный лозунг: «мир — народам, власть — рабочим, земля — крестьянам».

А.Нуйкин в своей статье в «Новом мире» приводит следующий интересный факт, объясняющий многочисленность и озлобленность наполненных крестьянами белых дивизий, причем оговаривается, что сам раньше объяснял, как это и было принято, указанное обстоятельство «только полной темнотой крестьянства, которое обманули, настроили против новой власти, которое только поэтому и не хотело упрямо понять собственного интереса». Однако как-то ему попала в руки книга И.Тепера, изданная в 1924 году, когда, по словам Нуйкина, «статистика еще обладала качествами полноты и правдивости». И вот в ней он прочел, что на Украине (но, очевидно, и в других местах) государство оставляло за собой 65% (?) бывших помещичьих земель и в конце концов оставило за собой 1700 бывших помещичьих экономий с площадью свыше миллиона десятин и лишь остальное отдало крестьянам, о качестве отданной и оставленной за собой земли не говорится. То есть крестьянам, которым на словах отдавали землю, всю землю, на самом деле отдали лишь малую часть, остальное предполагали использовать для «социалистического землепользования и строительства на ней с.-хоз. коммун и артелей», что шло, конечно, вразрез с интересами крестьянства, которое пыталось получить всю без исключения помещичью землю, и знать не хотело о «коммунах», и, естественно, за эту землю и воевало. Напомним, что из 120 миллионов жителей около 100 миллионов были тогда крестьянами.

«Власть — рабочим». Вспомним опять пьесу Шатрова, монолог Розы Люксембург: «... управляют всего лишь несколько десятков очень энергичных и вдохновляемых безграничным идеализмом руководящих партийных деятелей. Истинное руководство находится в руках этого десятка руководителей, а рабочая элита время от времени созывается лишь для того, чтобы аплодировать выступлениям вождей и единогласно голосовать за заранее заготовленную резолюцию, таким образом, в сущности, это власть клики: конечно же, их диктатура — это не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков».

Но как можно пользоваться в качестве доказательства, в качестве характеристики эпохи, времени текстом пьесы? Однако монолог Люксембург — это почти точное воспроизведение выдержки из известных «Писем из тюрьмы», написанных Р.Люксембург в то же время, когда З.Гиппиус писала свой «Черный дневник», в 18-19-м годах. Что отвечает Розе Люксембург Ленин (имея в виду, что и почти все реплики Ленина в пьесе — это «просто раскавыченные цитаты из разных томов Полного собрания его

сочинений, соединенные крайне скупыми авторскими связками»*): «Если мы не вовлечем народ в управление государством, останемся властью для народа, а не самого народа, отдадим страну на откуп бюрократии, политику подменим политиканством, если будем как черт от ладана бежать от демократии, если класс будет подменен партией, партия — аппаратом, а аппарат будет смотреть в рот вождю, и оригинальное, отличное от вождя мнение будет преследоваться как государственное преступление...» То есть: рабочий класс подменен партией, партия — аппаратом, а аппарат зависит от вождя. И вот, говорит Ленин, если это положение не будет изменено, если мы не «вовлечем народ в управление государством», тогда... Но можно ли было изменить это положение? Ленин пытается. Вводит нэп. Но что такое нэп? По сути дела — это двоевластие. Откроем журнал «Москва» №8 за 1987 год и прочитаем в «Жизнеописании Михаила Булгакова» М.Чудаковой, как выглядела Москва в самом начале нэпа. Открываются лавки, магазины, издательства, журналы, кооперативные и частные артели, рестораны, ателье, но открываются те же самые магазины, рестораны, издательства, что и были раньше, на тех же самых местах, с теми же владельцами, теми же работниками, теми же редакторами, с теми же товарами и изделиями. Как можно представить, что такое нэп? Действительно ли это — «новая экономическая политика»? Да ничего подобного. Власть во время революции и «военного коммунизма», чтобы победить, взяла старую жизнь за горло и стала душить; однако по тому, как быстро стало мертветь, ослабевать тело жизни, стало ясно, что таким образом можно сохранить власть над мертвецом, который, когда он умрет и начнет разлагаться, неизбежно приведет и к омертвлению тех рук, что держали тело старой жизни за горло. И тогда, чтобы не удушить окончательно, чтобы не одержать пиррову победу, не властвовать над мертвецом, новой власти пришлось несколько поотпустить горло старой жизни, — и опять началось кровообращение, запульсировала жизнь, появился первый румянец.

Но запульсировала именно старая жизнь, по старым каналам и артериям жизни, со старыми привычками и приемами, а то, что эта жизнь называлась «новой экономической политикой», ничего не меняло: эта жизнь существовала не по каким-то новым, а по старым-известным законам, по экономическим законам старой жизни. Нэпа для законов этой экономической жизни не было, нэп лишь объявил сам себя окружающим, а по существу лишь только снял жесткую хватку с горла старой жизни. И, конечно, хватку сняли не до конца, оставив политическую власть за собой, допустив таким образом двоевластие. Могло ли это двоевластие быть вечным, могло ли оно прижиться? Конечно же, нет. Кто-то из двух должен был победить. Ибо существовало два, по сути дела независимых, механизма жизни: один механизм экономической жизни, другой механизм политической, механизм власти; и существовали они по разным, не сопряженным законам. Если бы естественные экономические законы возобладали, то они сделали бы ненужным, мешающим механизм данной политической власти, ненужным весь аппарат власти, который все это время, не снимая рук с горла старой экономической жизни, занимался своими делами, а именно: создавал теорию, оправдываю-

* «Неподсудна только правда». — «Правда», № 46, 15.02.88 г.

щую бесконтрольность своего существования, и одновременно, внутри себя, выделял лидеров, способных удержать впоследствии эту бесконтрольную, не подчиняющуюся экономическим законам власть. Мог ли Сталин не придушить нэп? Нет, не мог. Тогда он сам должен был бы уйти. Либо он, либо экономические законы. Могло ли так получиться, что вместо Сталина оказался бы другой лидер, другой администратор, более либеральный, подчинившийся экономическим законам, противопоставив эти экономические законы законам политической жизни, по которым существовал аппарат Административной системы, системы власти? «Время звало Ленина!» — восклицает либеральный автор, считая 29-й год — годом перелома. Нет, время не звало Ленина. Как это ни ужасно было бы представить либералам, время бы отшвырнуло Ленина, старого Ленина или нового Ленина, попытайся он стать у него на дороге, попытайся он, этот неведомый добрый гений, противопоставить себя, экономические законы тому механизму власти, той Административной системе, которая и была создана с его помощью. Так что же, виноват Ленин, как считают радикалы? Нет, к сожалению, и не Ленин, это было бы слишком просто, а та железная историческая логика, которая с ужасающей последовательностью доводит до конца все те громадные идеи, которые совсем не случайно на протяжении тысячелетий смущают и прельщают человеческие умы.

Ну а все-таки, спросит кто-нибудь, не желающий расстаться с последней надеждой, неужели-таки не было шанса, нельзя представить себе, что нэп с самого начала сопровождался бы не только «демократизацией экономической жизни, но и демократизацией общественной жизни»? Что ж, рассмотрим и такую возможность. Вот Е.Драбкина в период предыдущей оттепели описывает время начала нэпа: «В тот же день, 1 декабря двадцать первого года, когда был опубликован декрет об ответственности за ложные доносы и создание ложных доказательств обвинения, Ленин внес в Политбюро предложение преобразовать ВЧК, сузить круг ее деятельности и ее компетенции, сузить право ареста, повысить роль судов, усилить начала революционной законности, провести через ВЦИК общее положение об изменении в смысле серьезных умягчений»*. Либеральная критика отмечает, что это, конечно, не случайно, что вместе с развитием нэпа начались поиски и в области права, что Ленин был рад, увидев возможность резко сократить роль насилия в управлении обществом, укрепить законность, т.е. так или иначе «демократизировать общественные отношения в стране». Ну, а до какой степени Ленин собирался снизить роль насилия в управлении обществом? Ну хорошо, пусть Ленин, в угоду современным либералам, собирался снизить ее до такой степени, чтобы общество стало бы управляться не административными, волевыми, а экономическими методами. Представим себе развивающийся нэп: частные и кооперативные магазины, рестораны, лавки, небольшие производства (хотя небольшие сегодня — завтра уже большие, объединенные в синдикаты); крупные заводы, конечно, государственные, они национализированы; общественные отношения под стать экономическим. На что похож такой нэп, развившийся, сильный, уверенный, с достоинством граждан — так ведь это, пардон, капитализм? Да, да,

* Е.Драбкина. «Зимний перевал». — «Новый мир», 1968, №10, с. 85.

обыкновенный госкапитализм, когда государству принадлежит крупное национализированное производство, тон задают синдикаты, а вся остальная мелочь отдана частникам. Это уже получается какая-то Франция, Германия с социал-демократами у власти. Но куда тогда девать «моральный кодекс строителя коммунизма»? Куда «светлое будущее всего человечества»? Куда идею мировой революции, только-только набирающую силу и готовую перехлестнуться в другие, закосневшие в покое государства? Куда, наконец, партию нового типа? Что же это, взять и отступить, когда еще ничего не ясно? Ведь ничего страшного еще не произошло. Это легко нам быть умными задним умом. А так, что получается: против чего боролись, на то и напоролись? Опять вернуться к разбитому корыту? Стать благопристойными буржуазными лягушатниками с кургузой демократией и вечным сомнением обиженной нации? Ведь давайте вспомним, как народ принял нэп? А ведь он его принял совсем не так на «ура», как это представляют современные либералы, он действительно принял его как временное отступление, как попытку реставрации капитализма, и пусть так нэп был воспринят не всеми, но по крайней мере теми, в умах которых бродили дрожжи идеи, а таких было немало. Так что, конечно, Сталин опять же не на пустом месте стал сворачивать нэп, отнюдь не только потому, что боялся за свою власть и был бы сам свергнут, заменен другим, поведи он себя иначе, как несомненно бы и было, но и потому, что нэп не вписывался в контуры идеи, противоречил ей и уводил в смысле развития этой идеи не вперед, а назад. Да и невозможно все это себе представить, что вдруг здесь, не пережив ничего, опять возродится, появится благопристойная низкорослая демократическая жизнь. Даже чисто внешне этого не могло получиться, потому что надо было бы опять проходить через Учредительное собрание. А история дважды ни к чему не возвращается.

Разве это не Ленин сказал, что «советская власть в миллион раз демократичнее самой демократичной буржуазной республики»? Если в миллион, то какое тогда Учредительное собрание? Разве это матрос Железняк сказал: «Караул устал»? Это Ленин сказал. Ленин как принцип. Ленин как выразитель идеи. Разве это не Ленин сказал: «Землю — крестьянам!», а на самом деле в том же 19-м году, то есть почти сразу, еще при Ленине, дали этим крестьянам с гулькин нос, не больше. Разве не при Ленине «класс был заменен партией, партия — аппаратом» и т.д., а называлось все это «рабоче-крестьянская власть»? Разве не при Ленине возник этот удивительный сфинкс в виде двуликого Януса: с одной, внешней, стороны все якобы как у других, все те демократические институты, которые должны быть в любом демократическом государстве, а тем более в таком, которое в миллион раз демократичнее любого; и эти институты работают: происходят выборы, имеются избиратели, кандидаты, имеется выборная законодательная власть и назначаемое ею правительство, имеются суды, законодательство, перед которым все равны, право, юриспруденция, конституция; а на самом деле, если посмотреть на этого Януса с другой стороны, изнутри, то оказывается, что все это работает совершенно или почти вхолостую, работает ровно настолько, чтобы была видимость работы, хотя на самом деле вся жизнь определяется работой другого механизма, основанного на невыбираемой, недемократически централизованной власти Админист-

ративной системы. Этот Янус прост, открыт, у всех на виду, но никто не может разгадать загадку этого сфинкса. И все это придумал Ленин. Так значит, во всем виноват Ленин, как считает радикал? Да причем здесь Ленин? Не будь одного Ленина, был бы другой, не будь одного Сталина, нашлась бы и ему замена. Ну а если даже можно себе представить, что правы либералы, и Ленин действительно решил реформировать идею, демократизировать ее, так ведь это совсем не случайность: болезнь и смерть Ленина. В истории не бывает таких случайностей. Раз случилось, значит, должно было так или примерно так случиться и нет ничего глупее, чем гадать, а что было бы, если?

Да и что такое Ленин? Посмотрим, каким он предстает, в зависимости от взгляда на него. Великий тактик, гений практики — это для либералов. Человек, который допускал одну роковую ошибку за другой и именно тогда, когда побеждал, — это для радикалов. Человек, который идеально решал конкретную тактическую задачу сегодняшнего дня, но при этом стратегически ошибался, заблуждался, ковал страшное оружие, которым воспользуется другой. И каждый раз, преодолевая очередную преграду, находя возможно единственный выход из казалось бы безвыходной ситуации, решая одну за другой неразрешимые задачи, а в результате окончательно, бесповоротно — с точки зрения радикалов — проиграл. Вот этапы пути, побед и заблуждений. Создал партию нового типа, действительно, партию, которой не было в истории, с железной дисциплиной, основанной на принципе «демократического централизма» (который почти мгновенно стал «недемократическим»), единственную партию, оказавшуюся способной взять власть — и создал основу для тоталитарной Административной системы управления. Воевал против фракционности, против всякой оппозиции в партии, затем, придя к власти, разогнал все остальные партии, ибо это был единственный способ удержать власть — и создал условия, атмосферу нетерпимости к чужому оппозиционному мнению, неприятие принципиального спора, невозможность дискуссии, хотя сам был диалектиком. Наконец, оформил идею мировой пролетарской революции, идею диктатуры пролетариата, создал в «Государстве и революции» теорию будущего общества, основанную на отмирании государства, — а на самом деле сам диктатуру пролетариата заменил диктатурой партии («партии — аппаратом») и вместо отмирания государства привел к такому его укреплению, которого еще не было. Так что же, во всем виноват Ленин? Да причем же здесь Ленин, единственное, что можно ответить.

Ничего не могут объяснить ни либеральная, ни радикальная позиции, заиклившись на Ленине, одни видящие в нем доброго, другие — злого гения. Ленин здесь играет такую же роль, как Наполеон для французской революции, как любой другой исторический деятель, попавший в историю, ставший ее рычагом, частью развития идеи.

Могли бы, должны бы объяснить многое консерваторы, но сейчас, как никогда, слаба их позиция, они боятся за идею, за себя, не понимая идеи, связаны охранительством, обеспокоены реформами, а тут нужно говорить, не боясь раскрыть, дезавуировать, осознать, выставить на всеобщее обозрение то, что считается священной наготой.

Есть неуклонная логика истории — доводить до конца великие идеи. Не было в истории идеи более громадной, чем великая Утопическая идея. Что

такое исторический подход? — Это понимание логики истории. Если у истории и есть мораль, то своя мораль — вывод: почему все произошло так, а не иначе, но мораль открывается в самом конце. Историю не интересуют кровь и жертвы, кровь и жертвы занимают людей. Есть великие и малые народы. Малые живут как все. На великих история проверяет свои идеи. Как не увидеть мессианскую роль русского народа, как не увидеть огромность утопической идеи, связанной с судьбой народа, смысл которой не постигнуть человеку, пока история длится. И логика этой идеи, логика разворачивания судьбы народа — это не логика отдельного человека, это не логика Ленина, не логика нас с вами, а все вместе взятое и пока не имеющее конца.

Вспомним, что было. Вот либерал Гроссман объяснял то, что народ принял Сталина, принял его репрессии, «гипнотическим влиянием», «массовым психозом», страхом. Народ не может так бояться, почему в других случаях не боялся русский человек, а тут проявил покорность? Народ может не уметь высказать, осознать свою роль в истории, но она проступает сквозь него, а упрекать в страхе русского человека или сводить все к сведению личных счетов, к желанию поживиться, занять освободившуюся вакансию — это поверхностно, если не сказать, неверно.

Вот современные радикалы хлопочут о том, чтобы доказать, что народу нужна демократическая свобода. Но была бы нужна — была бы. Кому нужна, у тех есть. Нужна она французам, англичанам, итальянцам — у них и есть. Не в поиске свободы, значит, народный путь, иная идея одухотворяет его судьбу.

Ищет либерал оправдание тому, что с человеческой точки зрения оправдания не имеет, а с исторической — в оправдании не нуждается. Надеется либерал на реформы, на перестройку, на демократизацию, но история пока еще не окончилась и идея не осуществилась.

Боятся, дрожит консерватор за свою шкуру, боится потерять то, что имеет благодаря идее, которой не понимает. И не только консерватор не понимает, потому что вообще человеческой природе свойственно надеяться на лучшее, несмотря ни на что. Все нам хочется, чтобы конец был хороший, чтоб все разъяснилось. Чтоб, если урок жестокий, то на пользу. А ведь чаще всего бывает наоборот. Умирает человек, исчезают народы, и если это и имеет смысл, то для другого мира. А у истории совсем не обязательно должен быть хороший конец, да и редко бывает.

Так что же нас ждет, какое будущее? Об этом в следующей статье.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Степанов

КУДА МЫ, МОЖЕТ БЫТЬ, ИДЕМ?

Понятия язык и народ некогда совпадали. Жизнь и плодотворное развитие общества немислимы без жизни и развития языка. Ролан Барт справедливо заметил, что литература, отказывающаяся приписывать тексту закреплённые, категорические значения, высвобождает эти значения, высвобождает деятельность, и что пространством, в котором собрано и разрешается множество разнообразных культурных начал, вступающих между собой в диалог, в соперничество, в пародирование, являются одновременно книги и читатель. Не только искусство определенной эпохи в целом, но и каждое подлинное произведение в отдельности представляет собой не только и не столько фиксированную стадию пути, но и сам этот путь, или, как его еще иногда называют, «живой процесс». Всякие попытки выделить и закрепить — мысленно или, тем более, на практике — любую фазу этого пути неизбежно приводят к зеноновскому парадоксу: стрела утрачивает способность лететь, процесс утрачивает движение, а значит — и жизнь.

70 лет назад наше общество подверглось радикальному обновлению. Революционные общественные процессы предварялись и на протяжении короткого периода сопровождались революционными переменами в искусстве. Затем идеология и агеластическая мораль совершили насилие над естественным эстетическим процессом, навязав искусству догматическую монополию соцреализма. Вряд ли будет преувеличением сказать, что подавляющее большинство наиболее ярких и талантливых произведений нашей литературы начиная с 30-х годов не только не было своевременно напечатано (что само по себе нанесло непоправимый ущерб как литературе, так и всему обществу), но и их авторы подверглись ожесточенным преследованиям и репрессиям, вплоть до физического истребления. Совсем по Бердяеву: «Тьма и невежество укрепляют волю и усиливают аффекты». Конфликт художника и общества, по всей вероятности, лежит в природе вещей, но каковы конкретные формы этого конфликта, считает ли себя общество вправе прибегать к весьма жестким, исключительным методам контроля или же рамки его вмешательства заведомо ограничены и оставляют возможность независимому писателю существовать как писателю и как человеку — вопрос другой.

После того как многообразие и соревновательность самобытного эстетического процесса были в значительной степени подавлены, в официальном искусстве на десятилетия воцарились эстетический пессимизм и идеологическая образцовость. Наряду с ними расцвело псевдоморалистическое — мелодраматическое по своей природе — искусство, опирающееся на вульгарную схему: герои «плохие» и «хорошие», плохих не минует разоблачение и общественная кара, хороших в конце ожидает обязательная награда. Нет ничего более далекого от действительности и, возможно, нет ничего более милого консервативности идеалов и сентиментальному сердцу обывателя. В литературе — вопреки ее собственной природе — закрепились именно установившиеся, категорические значения, лишавшие ее подлинного драматизма и динамической напряженности. Атавистические хвосты прежних подходов, автоцензурная робость в поисках альтернативных путей свойственны большинству произведений официальной литературы и поныне. Это иллюзия, что общество без ущерба для себя может обойтись даже без одного — отдельно взятого — действительно живого произведения. Пусть даже оно до времени и остается внятным лишь немногим, но неким трудноуловимым, едва ли не провиденциальным образом именно ему, может быть, суждено послужить оправданием целой эпохе, хоть на волос отклонить общество в сторону от роковых шагов. Это опасная и безответственная ложь, что проблемы языка суть всего лишь проблемы формы высказывания и, как таковые, касаются только горстки профессионалов и ценителей. Если народ и язык неразделимы, то движение к нервным узлам языка в то же время оказывается движением к наиболее важному, корневому средоточию общественной жизни, движением к подлинному бытию общества. Поскольку же носителем языка являются не абстрактные, не ведающие себя массы, а всякий раз конкретные, отдельные люди, каждый из которых — несводимый ни к чему иному микрокосм, постольку найденное одним индивидом-художником должно иметь реальную возможность становиться личным достоянием многих непосредственно, без посредующей мясорубки бюрократического аппарата.

Основными принципами нашей государственной формации длительное время казались надежность ряда социальных гарантий, предсказуемость, централизация и планирование. Автоматическое перенесение этих принципов на сферу культуры выразилось, в частности, в создании централизованных, построенных по административному образцу творческих союзов, в том числе ССП, с одной стороны — «на входе» — обеспечивающего своим членам режим наибольшего благоприятствования в публикациях и экономических условиях, а с другой — «на выходе» — позволяющего требовать от произведений присяжной идеологической благонадежности. Общество одним махом материально обеспечило своих писателей и заодно оградило себя от их своеволия, иначе способного, мол, завести невесть куда.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».

— Кому не дано, а деятели советского истеблишмента до сих пор питают полную уверенность в собственных прогнозах и даже в планировании результатов. Так состоялся обмен художественного первородства, с одной стороны, на чечевичную похлебку престижных и экономических благ, а с другой — на принцип зарегулированного производства и пайкового

распределения продуктов культуры. Однако торжество оказалось преждевременным, победа оказалась пирровой, купленной чересчур дорогой ценой. Номенклатурная организация культурного процесса с фатальной неизбежностью привела к засилью массовых стереотипов, духовной и языковой усредненности. Дефицит остроты и откровенности языка, усугубленный тотальной идеологизацией, деятельностью средств массовой информации и ведомственной структурой издательств и Союза писателей, вызвал глубокое отчуждение этого языка от человека. Нормативный язык превратился в неотвратимое орудие порабощения и автоматизма безмыслия. Аналогичные — хотя и никогда столь далеко не заходившие — процессы давно отрефлектированы на Западе (искусством абсурда — например, пьесами Ионеско, да и не только им). Адекватная реакция русской литературы появилась более полувека назад (по крайней мере начиная с обэриутов и вслед за ними, иначе, чем у них, в последние десятилетия), однако она до сих пор практически полностью изолирована от широкого читателя.

Если верно хайдеггеровское определение языка как «дома бытия», то нынче этот дом оказался душевно неуютным, чужим, а не то и казармой. Бегство из лишившегося смысла, поросшего фальшью, опустевшего дома, восстание против духовного рабства и нищеты, путь к обретению нового соответствия языка и действительности — не единственное ли, что оставалось? Рабская зависимость от нормативного языка порождает и социальное рабство, власть обезличенного языка порождает духовную импотенцию, и они вместе — моральную низость. Без стихии внутренней и внешней свободы невозможно обеспечить плодотворность творческого процесса, его подлинную результативность. Специфической формой ответственности писателя перед обществом является его ответственность прежде всего перед словом — даже если эстетические идеалы, на первый взгляд, и противоречат общественным. В противовес детерминации и обезличиванию нормативного языка и сознания литература призвана высвобождать присущую им драматическую напряженность, имплицитный трагикомизм, спонтанную откровенность. Великий исход, начатый нашими художниками более полувека назад, загнанный было в глухое подполье, продолжается и поныне, привлекая к себе все новых и новых участников. В послевоенный период и особенно начиная с «хрущевской оттепели» сформировался весьма важный, все более крепнущий общественный феномен, получивший название культурно-демократического движения. Литературе — до сих пор главным образом непечатаемой — по праву принадлежит в этом движении одно из центральных мест.

Как можно вкратце охарактеризовать это движение? Древние философы находили в полете стрелы подразумеваемого стрелка и мишень, как альфу и омегу полета. Подобно этому, культурно-демократическое движение, как собственно движение, имплицитно содержит в себе побудительные мотивы и цели и в то же время, как движение непрерывное, никогда этих целей окончательно не достигает. Смысл движения утверждается в самом движении, а достижениями в данном случае оказываются не только пройденный путь, но и энергетика смены стадий. За время существования послевоенной русской литературы возникло множество замечательных явлений. Свое место в русской культуре еще предстоит занять произведениям Иосифа Бродского, Всеволода Некрасова, Леонида Аронсона, Венедикта Ерофеева,

Дмитрия Пригова, Евгения Харитонов, Леона Богданова, Саши Соколова и ряда других. Но речь сейчас не об этом, далеко не полным перечне первоклассных имен; и хотя тексты целой плеяды до сих пор не опубликованных авторов несомненно заслуживают самого широкого признания, но я далек от намерения их канонизировать. Здесь мне хочется подчеркнуть лишь следующее. Во-первых, в стороне и под поверхностью внешне более или менее благополучной, а по сути во многом беспомощной нормативной литературы сформировался мощный организм полнокровной языковой культуры — весьма разнообразной в эстетическом отношении, интенсивной в духовном и творческом плане, питаемой целым спектром отечественных и мировых традиций. Во-вторых, неформальный характер названного литературного процесса, — а только таким и может быть действительно полноценный художественный процесс, — не только позволил ему избежать собственной стагнации, но и — что не менее важно — способствовал выработке механизма противодействия тотально-регламентирующей функции нормативного, массового языка. Благодаря этому читатель названной литературы может найти в ней оазис психологической и экзистенциальной свободы, неотъемлемой от свободы в языковом континууме. И, наконец, в-третьих, в лучших произведениях новой литературы читатель обнаружит отнюдь не только упомянутую альтернативу голой свободы (которая сама по себе может быть и разрушительной), но и — исходя из высокой ответственности писателя перед словом — нечто и более важное. Здесь исход из царства стертого, нормативного языка, ставшего чужим, ставшего орудием порабощения человека, — это не просто жест отчаяния, не слепое бегство Мцыри из защищенной каменной клетки монастыря; это и не результат той неумной «охоты к перемене мест», свойственной не знающим кровной связи с родным очагом и духовной почвой вечным кочевникам. Это и не проклятое, неведающее цели блуждание Агасфера, с которым иногда — и неточно — сравнивают всех художников. Нет, если здесь и уместна вообще какая-нибудь аналогия, то наиболее близким мне представляется именно ветхозаветный Исход. Сознательное и бессознательное бегство из ставшего чужбиной края к обетованной земле. Бегство не с родины, а на родину. Бегство из царства фальши, лжи, порабощения в царство подлинности, правды и свободы. На родину современного языка и сознания или, что в данном случае то же, построение нового царства языка и культуры. Как тут не вспомнить известный архетип: путь к родине вечен, обретение ее возможно только посредством пути. Никогда не видевший собственной «земли», тем не менее стремится к ней, ибо ее образ живет в его сердце. Общество и художники, не находя в окружающей действительности, в нормативном языке и культуре столь необходимых и близких черт, обращаются к образам, скрытым в их собственных душах, в подразумеваемых ценностях, и стремятся к ним вопреки многим трудностям, противодействию заинтересованных в сохранении *status quo* властителей, вопреки голосу собственного благоразумия и страха, вопреки статусу подъяремности в нашем бытии и сознании. При этом ни один из художников, участвующих в названном исходе, не может считаться единственным и полномочным репрезентантом всего движения. Множественность функций, разделение труда согласно личным способнос-

тям и темпераменту свойственно всякому большому и коллективному делу, и каждый здесь по-своему нужен и незаменим.

Вместе с новой литературой рождается и ее читатель. Практически, невозможно определить, что здесь первично: общественная потребность в подобных произведениях или же профессиональная деятельность писателя. Ясно одно: длительность существования и масштаб феномена новой литературы не позволяет считать ее очередным казусом на историческом пути нашего общества, и затянувшиеся попытки продлить ее блокаду со стороны истеблишмента обречены на бесповоротный провал. Не настала ли пора отказаться от пороков прежней культурной политики, исправляя то, что еще удастся исправить? И, с другой стороны, не наступили ли сроки и нам — не только в литературной, но и непосредственно общественной практике — заставить считаться с реальностью, отстаивая коренные и перспективные интересы свободного художника в обществе, а значит, и общества в целом?

Обновление языка литературы и общества — это не только изменение господствующих форм сообщений, но и обновление языка мыслей, языка чувств. Избавление от гнета нормативной культуры одновременно означает и ликвидацию его последствий: того шизофренического расщепления общественного сознания, когда правда всех и правда каждого суть совершенно различные, взаимно непересекающиеся миры. Двойная правда, двойная мораль, раздвоение самого существования превратились в спутников догматизма и демагогии, порождая лицемерие, ханжество, конформизм, равнодушие и прочий аморализм в реальности. В противовес этому новые писатели развязывают для публичной жизни те языковые субстанции, в которых нет неодолимых барьеров между показным и внутренним лицом, в которых духовные начала, вырастая из непреложных прав и интересов личности, являются в то же время и выражением наиболее глубоких коллективных интересов. Здесь сплетены в один тугой узел тайны рода и индивида, тайны рождения и смерти, природы и человека, тайны существования и развития. При этом художественный язык наводит коммуникативные мосты не только между отдельными людьми, но и между различными областями бытия, сознания и культуры, выступая в качестве мощного холистического стимула, без которого невозможно плодотворное и динамически-противоречивое развитие.

Новация в языке достижима прежде всего на материале запретных (или полузапретных) тем и мотивов, выходящих за рамки нормативной культуры. И это не случайно. Именно в сочетании чисто языковой и тематически-экзистенциальной («социальной») свободы осуществляется наиболее полная реализация творческих потенций. Именно здесь наиболее вероятно уйти от клишированности, именно на этом пути происходит высвобождение связанной энергии, тот взрыв табуированного пространства, без которого нет и быть не может подлинного драматизма и откровения. Эффект чисто эстетический (ломоносовское «сопряжение далековатых идей») и эффект психологический, социальный приходят, таким образом, в соответствие. Узнавание, лежащее в основе восприятия продуктов массовой культуры, здесь дополняется совершенно иным — «узнаванием подлинного», которое — несмотря на предварительную настороженность и даже тревогу читателя необычностью — в конце концов позволяет ему кодифицировать это

необычное как трепетно близкое, предвечно знакомое, если не сказать — родное. Преодоление порогов (и пороков) нормативного восприятия становится неотъемлемым свойством поэтики многих из новых художников.

Эстетической и тематической ненормативностью новой литературы в условиях ригористической культурной политики объясняется ее длительное существование в качестве «неофициальной». Сейчас снимается ряд тематических запретов, публикуются многие произведения прошлого. Однако стереотипы современного языкового и эстетического подходов по-прежнему продолжают действовать, опираясь на неизменную структуру культурно-издательских механизмов. Широкий читатель по-прежнему отлучен от целых направлений современной литературы, в том числе тех, которые развивают традиции воскрешаемых ныне писателей прошлого. Ситуация абсурдно повторяется, и это не может оставлять равнодушным.

Создаваемая ассоциация «Новая Литература» призвана стать действенным орудием защиты интересов языкового и эстетического обновления. Обновления языкового и, значит, общественного. Обновления поэтического и, значит, духовного, творческого. При этом статус независимости как самой ассоциации, так и ее автономных групп, отдельных участников соответствует коренной независимости искусства по отношению к идеологическим, социальным, моралистическим и иным общественным институтам. Объединение необходимо, ибо сейчас нет другого пути для того, чтобы во весь голос заявить о коллективной воле неангажированных художников и заставить с нею считаться, для того, чтобы последовательно отстаивать перспективы свободного искусства в перспективно свободном обществе. Град искусства, общественной свободы может быть построен только совместными усилиями.

Мне представляется, что основным стержнем деятельности ассоциации должна стать не конфронтация с Союзом писателей, а «третий путь»: именно независимость. В отличие от Союза, ассоциации пристало быть не замкнутым, герметическим заведением, а сообществом принципиально не замкнутым, открытым, как изначально открытым является само искусство. Солидарность ассоциации перед лицом тех или иных конкретных проблем определяется не иерархической обязательностью, а вопросом совести каждого, поэтому все решения ассоциации должны обладать только рекомендательной, а не повелительной модальностью. Мы не ищем для себя никаких привилегий, поэтому основным правом членов ассоциации станет участие в совместной борьбе за естественный культурный процесс и взаимная поддержка в этом общественном деле. При этом единство ряда общих интересов не только не исключает, но и, наоборот, предполагает плюрализм конкретных подходов, поэтому в рамках ассоциации уместна полная свобода образования постоянных и временных автономных литературных групп (по эстетическим, мировоззренческим, региональным и любым признакам), каждая из которых имеет право представляться самостоятельными изданиями (журналами, альманахами, отдельными книгами). Таким образом, наряду со своим основным назначением и неотрывно от него, ассоциация должна стать тем, что называют «школой демократии», исходя из ответственности перед будущим нашей культуры и общества, способствуя действительной, а не декларативной демократизации культурной и общественной жизни.

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 70—80-х

Одним из парадоксов нашего времени является то, что, как ни затемнена для нас история, о давнем прошлом мы имеем более отчетливое представление, чем о дне сегодняшнем и вчерашнем.

Прежде всего это касается литературы. Даже из специалистов (не говоря уже о широком читателе) мало кто может похвастаться, что знает живую современную литературу так же хорошо, как литературу прошлого, тем более во всей ее полноте. И это понятно, ибо русскоязычная литература нового времени развивалась, разделенная множеством различных барьеров — политических, географических, эстетических и т. п. Барьеров, во многих случаях настолько трудно преодолимых, что редко кому в прошедшие десятилетия своевременно удавалось знакомиться со всем значительным, что создавалось советскими писателями, эмигрантскими и теми, кто, находясь (по разным причинам) во внутренней оппозиции, образовал несуществовавший до нашего времени феномен «второй культуры» — писателями, которые, опираясь на своего, пусть немногочисленного, но преданного читателя, вершили свою художническую миссию, уже не надеясь, что еще при жизни их положение может измениться.

История современной русской литературы будет еще написана, будет по достоинству оценено как то, что уже известно читательской публике, так и то, что ей еще недоступно (примечательно, что до «второй культуры», как и до современной эмигрантской литературы даже самые либеральные журналы еще не дошли). И, конечно, сведение всей русской литературы воедино, с выяснением, кто есть кто, с расстановкой не то чтобы оценок, но выработкой критериев подхода к различным произведениям — задача непосильная не только для одной статьи и для одного автора, но и для многих. Это — задача будущего, ибо современная русская литература, как и мировая, теперь поистине многолика и действительно плюралистична, как многолик современный читатель (которого Борхес некогда назвал потенциальным писателем), чей вкус неисповедим.

Цель данной статьи — попытаться задним числом вычленив из того, что мы называем «новой литературой 70—80-х», всего несколько направлений; найти черты, объединяющие писателей в эти направления (весьма, впрочем, условные, как и черты, разделяющие их); выявить систему эстетических запретов, существующих в каждом из направлений, и определить критерии

оценки текстов различных авторов, исходя из их различных писательских установок. И тем самым попытаться определить, что нового было внесено в русскую литературу за последние два десятилетия.

Не претендуя на полноту, мы остановимся на описании трех (для нас представляющих особый интерес) направлений, которые — для удобства дальнейшего изложения — мы определим как 1) московский «концептуализм» (этот термин возник в 70-х годах сначала в применении к живописному авангарду, а затем был распространен и на литературу); 2) бестенденциозная (или постмодернистская) литература и 3) «неканонически-тенденциозная» (этим дефинициям мы надеемся придать более конкретный смысл в дальнейшем).

Отвергая соблазн широкой доступности, мы будем все-таки рассчитывать лишь на тех, кто хоть в малой степени знаком с произведениями ниже исследуемых авторов и кому не нужно объяснять, кто они такие, откуда взялись, как могли существовать в течение нескольких десятилетий, оторванные от естественного (т. е. в данном случае — доступного вниманию широкого читателя) литературного процесса. Кроме того, мы оставляем в стороне весьма щекотливый момент неизбежных со временем переоценок и изменений восприятия произведений, и прежде всего, вопрос о том, как изменилось звучание произведений, принадлежавших еще несколько лет назад к «золотому фонду» неофициальной литературы*. Ибо современная социо-культурная ситуация (лучше всего определяемая формулой: «не изменилось ничего — изменилось всё») более всего повлияла на распределение ценностей в культуре, привела к переосмыслению многих общественных позиций. Однако прежде чем разбираться, как звучат произведения исследуемых ниже авторов сегодня, рассмотрим, что представляли они из себя вчера, в ситуации их полной реализации, в «момент истины», который, конечно, для каждого произведения свой.

I

Особая сложность восприятия авторов так называемого «московского концептуализма» определяется тем, что их творчество, по сути дела, до сих пор не имеет аналогов среди опубликованных в официальной советской печати как прошлого, так и перестроечного настоящего произведений и по существу в одинаковой степени противостоит не только официальной, эмигрантской, но и неофициальной литературе (особенно ее ленинградскому варианту), которая по-своему традиционна в наименьшей степени, чем литература официальная. Писатели, которые представляют для нас «московский концептуализм» (а это прежде всего Д. Пригов, Вс. Некрасов, В. Сорокин, Л. Рубинштейн), находятся в состоянии, когда все традиционные связи разомкнуты, и, хотя это не манифестировалось никем из них, все они сознательно или неосознанно своим творчеством конституировали «конец литературы».

* После того, как был снят запрет с культурного наследия, составляющего фундамент «второй культуры».

Для исследователя ситуация уникальная: мы сталкиваемся с текстами, которые написаны в ощущении, что литература кончилась. Вне зависимости от того, в какой степени с тем, что литература (в том виде, в каком она представляла в России на протяжении нескольких столетий) кончилась, читатель может согласиться, — установка на постлитературный (или металитературный) статус должна быть учтена хотя бы для более адекватного восприятия этих металитературных текстов. Скажем, как прием, как некая трудная задача, искусственная преграда — писать нечто после того, как здание литературы рухнуло.

Здесь необходимо несколько оговорок и пояснений. Читатель вправе задаться вопросом: что такое «конец литературы»? Читатель вправе усомниться, действительно ли «здание литературы рухнуло»? Читатель всегда прав. Прав, когда берет в искусстве то, что ему нужно, и отвергает то, что ему мешает. Плюралистичный читатель, представляющий весь спектр читательских вкусов (а такой читатель есть теперь в России), не принимает ни одного категоричного утверждения, потому что его восприятие не дискретно, а непрерывно: он одновременно воспринимает всю мировую литературу и находится в тени, которую здание этой литературы (вспомним высказывание Хайдеггера о языке как «доме бытия») отбрасывает. Одновременно читая классический, порнографический и авангардистский роман, Читатель не может согласиться на употребление прошедшего времени по отношению к литературе, ибо он всегда находится в настоящем времени. Даже если какая-то часть читателей может согласиться с тем, что «здание литературы» падает, то для другой части читательского спектра «здание» только строится (особенно сейчас, в период перестройки), и только крайняя часть этого спектра ощущает, что существует среди обломков литературы.

Дело не в том, насколько ощущение «конца литературы» субъективно или объективно, а в том, какие именно последствия вызывает различие в ракурсах взгляда на тень, отбрасываемую литературой, различие во взглядах на состояние предшествующей культуры. «Конец литературы» для авторов «московского концептуализма» не означал, что для них не существовало тех, кого футуристы собирались сбросить с «парохода современности»; как раз наоборот, металитературный пафос определялся ощущением силы и трудно переносимой тяжести предшествующей культуры, которая по сути и являлась единственной средой обитания «металитературных» авторов. «Конец литературы» — это ощущение передолженности. Ощущение заворота литературных кишочек. Литературная непроходимость желудка, который (прежде чем его наполнять вновь) надо очистить. Литературная непроходимость привела к ощущению невозможности дальнейшего описания и интеллектуального постижения мира без рефлексии по отношению к предшествующей литературе. К невозможности ни одной мысли, ни одного серьезного утверждения, серьезно претендующего на то, что такого утверждения не было и что оно важно.

Если ориентироваться на плюралистичного читателя, то совершенно необязательно отвечать на вопрос: действительно ли рухнуло здание литературы (эта Вавилонская башня, распавшаяся в момент обретения наибольшей высоты) или это не более чем прием? Так же неважно: имеет ли явление «московского концептуализма» периферийное (вызванное временной непро-

ходимостью) или глобальное значение. То есть являются ли авторы, которых мы собираемся рассмотреть, неопитами новой культуры, выбивающими почву из-под ног культуры традиционной, или это только «ассенизаторы» новой культурной ситуации, выводящие культуру из застоя? Как не важна причина, по которой здание литературы рухнуло (хотя очевидно, что вульгарно-социологическое обоснование этого процесса неправомерно и он носит не только русско-советский, но и мировой характер). Главное другое: попытаться вывить ту систему запретов, что с течением времени все отчетливее проступает сквозь металитературные тексты, невозможность «лирического голоса» и самоценного словесного образа (ибо образ и есть обозначение своего уникального, лирического положения в пространстве), объяснить пристрастие к стертой речи (выносящей автора с его симпатиями и антипатиями за скобки), обретение себя металитературными авторами только внутри чужой речи, чужой интонации, чужого мировоззрения и отчетливую установку на работу не с живым, а мертвым и чужим материалом, причем не с омертвелой жизнью, а кусками мертвой литературы, которая лежит в руинах.

Продолжая метафору, можно сказать, что металитературные авторы ощущали себя заваленными рухнувшими обломками и неумоимо выбирались, расчищая обвал, на воздух. И вот то, как это делалось, каким образом текст, сам по себе литературный и к тому же обращенный не к жизни, а к литературе, рефлексирующий с ней и, одновременно, сам с собой, входит в соприкосновение с нашим восприятием, воздействует на него и представляется наиболее важным. Иначе говоря, как такой текст работает? Очевидно, у каждого автора по-своему.

Попытавшись развернуть другую метафору, можно сказать, что то, что делал в литературе Пригов, то, как он организовывал свою поэтику, напоминает строительство дома из обломков погибшего корабля. Произошла буря, корабль потерпел крушение, на берег вынесены его останки. Без инструментов, гвоздей, без ремесленных навыков (то есть без сознательно отрицаемого культурного опыта) автор, как новый Робинзон, начиная громоздить чудовищные постройки из того, что есть под рукой. Дверь становится окном, иллюминатор камбуза — унитазом, скатерть из капитанской каюты — простыней, а корабельный флаг — полотенцем для ног. Использование вещей не по назначению, строительство из чужого материала — вот принципы металитературы, которые исповедует автор. «Лирический герой» его стихотворных текстов — это существо (и это характерно для всей металитературы), не умеющее логически мыслить и доводящее до абсурда свои благие намерения. Это как бы сверхусредненный, сверхблагонадежный человек, пользующийся в тех условиях, в которые он поставлен (то есть в условиях идеологической переполненности), только апробированными формулами и старающийся подобрать соответствующий штамп для любого явления действительности, открывающейся перед ним. Хотя автор, формируя поток сознания своего «лирического героя», имитирует для более точного концептуального соответствия поэтику графомана, сквозь любой текст просвечивает достаточно точно характеризующая «героя» высокая тоска по однозначному соответствию явления и его ярлыка, по утерянной гармонии соответствия факта и его определения. Каждый стихотворный

текст таким образом и превращается в примерку перед зеркалом читательского восприятия любого события, которому «лирический герой» подбирает подходящий концептуальный трафарет, парадоксальный штамп, — и текст становится тем более удачен, тем сильнее воздействует на наше восприятие, чем более точно это соответствие.

Не только Пригов использовал штамп, с помощью которого отбирались приметы наваливающегося мира (иначе говоря: вспомнив метафору о разваливающемся здании, штамп — это магнит, притягивающий разрозненные части конструкций, осколки, которые мешают поступлению воздуха), по сути дела все металитературные авторы работали с элементами массового сознания, которое и являлось для них исходным материалом. Так, взглядевшись в тексты Вс. Некрасова, нетрудно заметить, что любое его стихотворение — это круговорот рифм: цепочка голых окончаний, живущих по своему закону. Этот круговорот напоминает танец одних ножек, закрытых по щиколотку и выше непроницаемым пологом. Каждый текст Некрасова начинается с того, что автор то ли дирижерской палочкой, то ли железным прутком какого-нибудь одного — но ключевого — слова ударяет по фонарному столбу или дереву массового сознания (или какого-нибудь его усредненно-представителя). От удара рождается отзвук — новое слово. Палка-слово дружинисто отскакивает и лупит вновь: рождается хоровод рифм, выуженных поневоле из указанного усредненного мозга.

В конструкциях разных текстов есть, несомненно, свои повороты, но принцип эха, образующий стихотворный узор, неизменно проникает из текста в текст, нанизывая слова, как игла звука. Каждый текст как бы потрошит массовое подсознание, вскрывая взаимодействие слов и понятий в переидеологизированном мировоззрении.

Принципиально на другом уровне работают рассказы Сорокина. Элементами его конструирования является чужой стиль. Новая вещь рождается или от простого соединения двух разных вещей, либо путем слома одной из них. Новая вещь для него — это просто сломанная старая. Являясь тонким стилизатором, он поразительно точно воспроизводит стилистику традиционного официального рассказа «застойного времени», который соединяет со стилистикой жестокого натурализма или стилистикой страшного рассказа. Одновременно каждый рассказ является своеобразной реализованной метафорой. Как это происходит? Например, известно распространенное выражение: «Ему наплевать на свое дело», или, если позволить себе более смелое и разговорное выражение, одновременно более приближенное к эстетике Сорокина: «Ему насрать на свое дело». И вот появляется рассказ, первая половина которого есть не что иное, как непосредственная демонстрация этого дела, скажем, дела ответственного чиновника, который мимоходом совершает инспекционную поездку: без всякой иронии, без какого-либо подтекста, так, как это делается в официальной публицистике или документалистике; а во второй части рассказа герой в прямом смысле слова срет на это свое дело с высоты письменного стола. Больше ничего не происходит, автор просто соединяет две вещи и показывает нам, что получается от такого соединения. Он соединяет два реликтовых обломка, пытаясь создать из них самую примитивную и первую (после разрушения священного храма) конструкцию или словесную скульптуру. Первая, стилеобразующая часть — это

идентификация стиля, вторая, дезавуирующая, является дополнением до целого. Первая часть всегда имеет рваную границу, вторая дополняет до гладкого целого, что служит той же цели — выбраться из-под обломков на воздух: а гладкое легче вынуть, не поранившись. Удача — точное соединение частей. Творчество Сорокина не просто, как может показаться на первый взгляд, вскрывает бессовестность советского литературного штампа — это сознательный примитивизм, и ориентирован он на вскрытие внутренней конструкции, формулы, заложенной в старых вещах, являясь таким образом процессом, обратным по отношению, скажем, к примитивному колдовству. Сорокин расколдовывает формулы, заложенные в старых вещах, как бы вынимает из них центральные пружины, после чего они становятся безвредными, и больше, кажется, ни на что не претендует.

На ином уровне работают вещи Л.Рубинштейна, которые представляют из себя реестры понятий, каталогизацию высказываний, просто листы оглавлений ненаписанных романов или несобранных поэтических антологий. Записанные на карточках сентенции анатомируют саму ситуацию возникновения идеологического или поэтического штампа: веером собранные мгновения вместе составляют разложение в пространстве и времени атомарной структуры мировоззренческой молекулы.

Каким образом работают все эти вещи (то есть не только Рубинштейна, но и Сорокина, Некрасова, Пригова и другие, построенные по металитературному принципу), какой ключ может быть предложен для их понимания? Какой критерий оценки — удачи или неудачи отдельного текста — можно ввести, и вообще существует ли он, особенно для тех, кто не согласен с «концом литературы» и считает, что искусство творится непрерывно?

Как психотерапия пытается освободить пациента от комплексов, так и подобные тексты, ничего по сути дела не утверждая и не отрицая (не перекраивая иерархии ценностей общества и не предлагая никакой иной), обладают способностью освобождать наше сознание от спазмов, вызванных ощущением заштампованности жизни и литературы, переидеологизированности и трафаретности сознания. Удачный текст, как при иглотерапии, точно находит нужные точки соответствий и снимает сведенные судорогой части нашей подкорки, освобождая от болевого ощущения. Неслучайно характерное для металитературы пристрастие к массовому сознанию, не просто к чужому материалу, но к материалу банальному, пошлomu, ибо именно этот материал нуждается в том, чтобы его расколдовали, как бы вынули из него отравленные пружины, составлявшие каркас, тем самым разряжая напряженность пространства.

Было бы интересно рассмотреть несомненно существующую связь между «московским концептуализмом» (или, как мы его называли, металитературой) и живописным концептуализмом в лице Э.Булатова, О.Васильева, И.Кабакова, И.Чуйкова, Ю.Дышленко и других художников*, которые также находятся за границей живописи как искусства и создают не изображения, а «изображения изображений», исследуя жизнь слова и идеологических

* Впервые на эту связь обратил внимание один из первых теоретиков «советского концептуализма» Б.Гройс. В официальной печати проблем концептуализма касается и М.Эпштейн.

понятий в зрительном и живописном пространствах, используя для этого только чужие мировоззренческие и живописные интенции. Но это особая статья.

II

Если авторы, которых мы отнесли к металитературе, принципиально существовали за границей, отделяющей искусство от неискусства, ибо своим творчеством конституировали «конец литературы» (здание рухнуло), то авторы постмодернизма (или бестенденциозной литературы) не только ощущали, что здание рушится, но и сами (находясь внутри этого здания) как бы расшатывали его устои, разрушая перекрытия, раскачивая основание, уверенные, что это процесс непрерывный и не имеющий конца. Если генезис «московского концептуализма» неочевиден и не выяснен до конца (связь с поп-артом на уровне приемов и с обэриутами на уровне языка и отношения к предшествующей традиции мало что дает), то бестенденциозная литература несомненно отталкивалась от столпов постмодернизма в лице Набокова, Борхеса, Беккета и других.

Нетрудно заметить приметы сходства между этими двумя направлениями, но так же бросаются в глаза черты отличий. Как и в металитературе, для бестенденциозных писателей запрещены интеллектуальные пассажи, разработка того или иного куска текста «открытым» способом; над бестенденциозным писателем не довлеют никакие моральные нормативы, внеположные ему, ибо бестенденциозная литература не моральна и не аморальна, а имморальна. Бестенденциозный писатель, так же, как автор металитературы, отталкивался от ощущения, что мир интеллектуально переполнен, что ни одна новая мысль и ни одно душевное движение не может быть принято сочувственно, что любое интеллектуальное или метафизическое движение бессмысленно и литература не предназначена для выяснения каких-либо понятий. Перечень можно продолжить: отсутствие утверждений, приговоров, оценок, полное бесстрастие, принципиальный антипсихологизм, обращенность к реальному безобразию мира — все это вместе приводило к знакомому ощущению переполнения и литературной непроходимости, однако способы выхода из состояния заворота литературных кишок у указанных двух направлений принципиально отличаются. Для постмодернизма еще допустимо индивидуальное, личное писательское слово и самоценный словесный образ, который вынесен за скобки в эстетике металитературы. Шокотерапия, алогическая клоунада, жуткая эпатирующая ирония являются естественной реакцией на состояние литературного запора, являются тем слабительным, которое бестенденциозные писатели преподносят читателю. Бестенденциозная литература отличается от металитературы своим «героем» и наличием особой авторской позиции, не отрицающей обязанности демиурга и позволяющей (что запрещено в металитературе) пользоваться не только чужим словом. Экзотический герой, наличие находящегося под запретом в металитературе нелитературного, лирического элемента и уникальная эксцентрическая позиция писателя — вот те обязательные признаки, которые позволяют отличить постмодернистского писателя от другого. Чужое слово перемешивается

в теле его прозы с «собственным», литературная рефлексия пронизывает текст, но не поглощает его; новое литературное произведение пытается не отобразить мир, а создать новый, прибегая к условным и нетипическим формам, и испытывает давящую силу предшествующей литературы, находясь как бы в состоянии неустойчивого равновесия.

К числу бестенденциозных писателей могут быть отнесены Саша Соколов, Б.Кудряков, Е.Харитонов, Вик.Ерофеев, Б.Дышленко, Э.Лимонов, П.Кожевников, В.Лапенков, а также Евг.Попов, О.Базунов, Н.Исаев, отдельные произведения которых недавно появились в широкодоступных изданиях («Новый мир», «Литературная учеба», «Юность» и др.). Все они, конечно, отличаются отношением к литературному пространству, собственным способом его застройки, украшения, декора; но объединяются системой запретов, проступающих сквозь поле рассказа, эксцентричной авторской позицией и обязательным пристрастием к экзотическому герою.

Должен ли критик, сталкиваясь с творчеством сложных и структурно новых писателей, помимо выяснения черт сходства между исследуемыми авторами и признаков различий между ними и эстетически противостоящими им писателями, попытаться дать ответ на вопрос: что, собственно, делает текст, напечатанный на машинке, переписанный от руки или обретший типографское воплощение, текстом художественным? Каким образом этот текст, в отличие от многих и многих других, эти печатные буквы, образующие обыкновенные слова, становятся или пытаются стать искусством или, точнее, вызывают в нас ощущение необычного эстетического переживания?

Возможно, что подзаголовком к прозе Б. Кудрякова и, в частности, к одному из самых характерных для него рассказов «Ладья темных странствий» могло бы быть следующее: вариации в слове о жизни после смерти. Действительно, те вырастающие из жизни слова картины, то, что возникает из потока авторской речи, более всего, пожалуй, напоминает воспоминания рассказчика о жизни, которой он уже не причастен, ибо находится «не по сю, а по ту» сторону существования. Это не металитературный переход за границу искусства для исследования «изображения изображений», это чисто литературная задача: описать жизнь после смерти, то есть жизнь, какой она представляется с той, другой стороны. И вот рассказчик как бы сидит у полупрозрачной, полуматовой стены, что отделяет действительную жизнь от человека, некогда жившего, а теперь переселившегося в мир иной, и вспоминает о том, что было.

Этот рассказ (помимо его чисто индивидуальных художественных достоинств) интересен тем, что в нем представлены почти все характерные для постмодернистской прозы черты, мотивированные особыми обстоятельствами, что делает этот рассказ в некотором смысле хрестоматийным для бестенденциозной литературы. По условиям своего существования (находясь за непроницаемым экраном кончившейся жизни) герой не может логически мыслить; в момент, когда он пересек невидимую для нас границу, его чувства перегорели; и когда он пытается «реанимировать» тишину памяти, единственное, что не отказывается ему служить проводником в покинутый мир,— это поток слов (один из наиболее употребляемых приемов постмодернизма): поэтическая стилизация работы сознания.

В этом потоке слов эксцентричное авторское слово перемешивается (вроде бы помимо желания) с чужим, «массовым» словом. Идиотические поговорки, ходячие выражения, распространенные и клейкие штампы, несколько сдвинутые относительно своих привычных значений («на всякого мудреца довольно семи грамм свинца; время гаечно-аграрных романов — проливной дождь, преимущественно без осадков») — это те осколки рушащегося литературного здания, что попадают в поток авторской постмодернистской речи.

«Мир не изменился, — в момент очередного просветления говорит рассказчик, — не стал чище, но, несомненно, он стал пронзительнее, ибо с последним свидетелем ушло время». Мы уже отмечали обязательное стремление бестенденциозной прозы к независимости от времени. Течение времени ничего не меняет, поэтому движение бессмысленно. Но вместе со временем, — и это еще одна характерная черта, — из мира в новом ракурсе (то есть того мира, который открылся рассказчику за стеклянной стеной) ушло страдание и — как следствие — сострадание. Совершенно очевидно, что рассказчик вспоминает не свою собственную, когда-то им прожитую жизнь, а жизнь вообще, философски, даже эпически обобщенную; и как бы перебирает позвонки основных человеческих ценностей. Тщетно пытается рассказчик понять, что заставляло его так мучиться там, в земном пределе, — и не понимает. Прокручивает наиболее критические в человеческом плане моменты существования — и все лунки оказываются пусты. И весьма характерна та «подходящая цена», которую он находит для девальвированной жизни: цена ей не грош, а стакан воды, вернее, «портрет» этого стакана (известное нам «изображение изображения»).

Не социальные условия, не какое-то конкретное общественное устройство (ибо все конкретное тем или иным способом может быть реализовано или устранено) — жизнь не нравится лирическому герою, который одушевляет то одно, то другое проявление самого себя. Все, к чему прикасается рассказчик за стеклянной стеной, разваливается прямо на глазах.

Можно было бы подробнее остановиться на всех разнообразных видах смерти, представленных в этом рассказе, ибо смерть, тяга к смерти, к разрушению является принципиальной для бестенденциозной прозы, а уход из мира в этом рассказе описывается изобретательно и многократно, но одновременно нам бы хотелось поставить вопрос: за счет чего создается высокий эстетический эффект переживания этой сложной, структурно необычной прозы? Действительно, по сути дела, описывается только одно: разрушение, разложение, смерть всего сущего. Смерть в этой прозе не один из возможных и известных в классической литературе приемов воздействия, а чуть ли не единственный, сплошной прием, так как смертью поверяется истинность любого мгновения или жеста. Аннигилируются все без исключения уровни повествования, но ядрами, из которых они разрослись, являются те «прекрасные мгновения», представленные в тексте пародийными штампами и вариациями пословиц и поговорок, что и составляют квинтэссенцию человеческого опыта. И жизнь, лишенная необоснованных претензий на то, чтобы считаться трагедией, заставляет героя терять право на «подвиг».

Дегероизация, подмена типичного героя психологической прозы, которому читатель мог сопереживать (ибо понимал его и мог поставить себя на его

место), «героем», которому сочувствовать невозможно, ибо на его чертах лежат отсветы мрачной экзотичности, — все это характерно для всей бестенденциозной прозы.

Уже знакомая асоциальность, пристрастие к «запретным» темам, подаваемым не отчужденно, а почти с улиссовским сладострастием, будто автор подсматривает за происходящим через замочную скважину, и почти подчеркнутое пренебрежение к читателю, от которого ожидается только удивление, — вот черты, которые бросаются в глаза уже при первом чтении прозы Вик. Ерофеева, этого современного варианта Петрония. Его рассказы тоже построены на соединении разных стилей, но (в отличие от металитературы) у его прозаических конструкций всегда есть одна и та же подставка, или предоснова. Известно, что лава может застывать, образуя прочную корку на поверхности, а внутри продолжая бурлить. Прозу Вик. Ерофеева можно представить в виде блестящего, гладкого катка, но не из лавы, а из застывшей спермы, по которому на острых фигурных коньках разъезжают его неизменно парадоксальные экзотические герои. Иногда гладкая поверхность лопается, и сперма начинает бить фонтаном, но герои чертят свои фигуры, как будто ничего не произошло. Опять перемешиваются разные стилистические планы, опять в рассказах мы находим приметы сегодняшнего дня, перемешанные с чертами прошлого или откровенно условными и фантастическими деталями. В рассказе «Жизнь с идиотом» мчатся куда-то герой с героиней, чтобы, согласно новой московской моде, выбрать себе дебила или идиота, без которого чего-то не хватает. Рыжий волосатый малый, похожий на обезьяну и интеллигента прошлого века одновременно, с добрыми бессмысленными глазами придурка. Пока хозяева на работе, он без конца пьет томатный сок из холодильника, рвет на части любимого хозяйкиного Пруста и непрерывно мастурбирует. Когда его застают за этим занятием, виновато улыбается несколько раскосыми глазами, разводит руками и картаво говорит: «Эх!». Его борода клинышком кого-то поразительно напоминает. Зовут его Володя. «Я больше не могу», — говорит молодая хозяйка, собирая исковерканные листья. Потом моют его в ванной. Он вырывается. Через неделю он хозяин положения. Ходит по квартире голый, вонючий, весь уделанный спермой и томатным соком, заросший рыжим волосом. Потом у него начинается любовь с хозяйкой. Муж, выставленный на лестницу, слышит леденящие кровь вопли. Жена плачет, убивается, но вскоре отдает предпочтение идиоту. Третий лишний. По утрам она готовит идиоту кофе, подговаривая, чтобы он выставил этого, другого, за дверь. Я так больше не могу, он действует мне на нервы. Неожиданно идиот врывается к лежащему в хвойной ванне покинутому мужу, и начинается новый раунд любви. Жена стонет от ревности, постоянно подглядывает за ними, мешая глупыми слезами их счастью. В конце концов идиот кровельными ножницами отстригает ей голову. Все кончается плохо.

Дело не в том, что за этой историей любви к идиоту проступает (тщательно закамуфлированная и спрятанная в рассказе) история любви «массового сознания» к идолу, который жестоко расправляется со своими поклонниками. Это частная деталь. Для нас важно то, что героями бестенденциозной прозы становятся монстроидальные типы. Чудаки и экзотические личности привлекали и романтическую литературу, которая помещала их

в интеллигентное пространство, сформированное в соответствии с авторской позицией, которая, в свою очередь, соответствовала системе ценностей «высокой» романтической традиции. Здесь же пространство, куда помещены монстроидальные герои, начисто лишено хотя бы подразумеваемой системы ценностей, и поэтому эти герои (в противовес романтической и реалистической традициям) не отбрасывают теней, которые выдают отношение к ним автора; они просто существуют, совершают всевозможные поступки, просвеченные не поощрением или осуждением автора, а лишь его авторским любопытством. Дело не в том, что постмодернистский герой — «маленький человек» (это в литературе бывало), а в том, что сама проза — это рассказ «маленького человека», под которого стилизует свою прозу автор бестенденциозной литературы, подчас совершенно неотличимый от своего героя.

Эффект полного совпадения авторской позиции с позицией героя (но не на уровне внутреннего монолога, а путем стилизации самого рассказа) использует в своей прозе и Е.Харитонов. Он строит свои произведения так, чтобы они вызвали иллюзию подлинного документа, скажем, незаконченных воспоминаний, письма, отрывка из дневника или доноса на самого себя. Доноса, ибо экзотичность героя в данном случае формируется полукриминальным способом, с помощью сообщенной ему гомосексуальности. Соблазнительно представить эротико-гомосексуальный подтекст писаний Е.Харитонova как изысканную мистификацию, разыгранную с блестящим и вводящим в заблуждение правдоподобием, тем более, что страсть к мистификациям и ложным ходам присуща его прозе в полной мере. Но даже если в его повестях есть привкус автобиографического свойства, это мало что меняет; «игра» в героя все равно очевидна. Эксцентричность героя Харитонova уравнивается его почти детской, инфантильной откровенностью. Именно благодаря этому равновесию автору удается столь точно воссоздать щекотливую иллюзию искренности несомненно вымышленных персонажей. И достоверности пронзительно-лирических признаний как раз и служат многочисленные грубо-эротические описания, ибо именно ими автор уравнивает пронзительный и откровенный шепот души героя, без чего хлопья его лирических признаний не смогли бы адаптироваться в поле рассказа. Увеличению достоверности служат и такие писательские приемы, как намеренно неграмотное написание слов по слуху: «миня» (вместо «меня»), «мущина» и так далее, а также косноязычный и прихотливый синтаксис, создающий совершенно уникальную разговорную интонацию прозы Харитонova, ориентированную не столько на просторечие провинциала, сколько на своеобразное дополнение жестом пропущенного слова. Вот это появление жеста, выраженного словом, в моменты «бессилия слов» и является, несомненно, акцентом в этой завораживающей интонации, аккомпанирующей самой себе произвольной мимикой души, помогая толчкам, рывкам, заламыванием рук, чтобы добиться требуемой иллюзии достоверности.

Одной из характерных особенностей постмодернистской литературы является стремление создать свой язык (не просто свой «авторский» язык, несущий в себе индивидуальные особенности стиля), а язык синтетический, искусственный, универсальный, своеобразный аналог первоязыка, первую попытку в создании которого осуществил еще Джойс. В бестенденциозной литературе наиболее полно эта задача решена в романе Саши Соколова

«Между собакой и волком», где языковая стихия как бы сама творит персонажей. Как это делается? Сначала появляется интонация, принципиально мутная, засоренная илом ненужных и случайных подробностей; она течет, не осаяя своих берегов и дна, пока русло не выводит ее на более пологое место, и то, что только что казалось хаосом, приобретает более правильные черты. В этом романе мы видим, как решается поставленная с ног на голову известная писательская задача соответствия персонажа и языка, его описывающего. Здесь не персонаж, как мы привыкли, говорит на свойственном ему языке, а сам язык, как подвижная стихия, сам по ходу текстуального развития лепит более или менее отчетливые лики и биографии. А затем опять, после очередного перелома русла (этот перелом соответствует повороту сюжета в психологическом романе), эти лики и персонажи растворяются в аморфной речевой массе.

Новый язык состоит из старых и известных языков. Очевидно, что автор, создавая тело языка для своего романа, пользовался двумя основными источниками: архаическим слоем словаря Даля и современными жаргонизмами. Два предсердия гонят словесную кровь по телу этого романа, пересекая, смешивая потоки, демонстрируя тонкое языковое чутье, обогащая речь неологизмами и речевыми догадками, постоянно существуя не на поверхностном речевом уровне, а свободно снуя между корнями слов. На первый взгляд может показаться, что это вольная, интуитивная и беззаконная стихия, но при более внимательном прочтении нетрудно ощутить, что у этой стихии вполне определенная и рационально ощутимая конструкция, полностью* соответствующая уже описанному выше канону бестенденциозной литературы.

III

Особенности различных «школ» наиболее отчетливо проступают при их сравнении. То, что может быть названо «неканонически тенденциозной» литературой (В. Кривулин, Е. Шварц, А. Миронов, С. Стратановский), отличается не только от металитературы и бестенденциозной литературы, но и от литературы тенденциозной (о ней речь впереди) отношением к роли и возможностям литературы как искусства, отношением к пространству, в котором строится текст, системой запретов, характерных для этого пространства, и тем «лирическим героем», посредством которого проявляются формообразующие элементы стиха. По сравнению с первыми двумя направлениями «неканонически тенденциозная» литература отличается тем, что строится на поле с заданным традицией рельефом, а сквозь пространство, в котором строится текст, проступает контурная карта вполне определенных ценностей. Недаром в неофициальной критике было принято (возможно,

* Хотя предыдущий роман Саши Соколова «Школа для дураков» обладает куда большей прозрачностью языка и сюжета, и он, несомненно, может быть отнесен к указанному направлению. Главный герой «Школы» принципиально инфантилен и неразумен, это «идиотик», чем мотивируется право на композиционную игру, на отталкивание от жестких ребер рационального мира, на стилистическую эквилибристику и безразличие ко времени, которое течет то в одну, то в другую сторону.

достаточно неудачно) причислять указанных выше авторов к разряду «религиозной поэзии», хотя если сравнить текст с часовым механизмом, то действительно любой «неканонически тенденциозный» текст основан на камнях известных христианских ценностей, рефлексией по отношению к которым пронизывается все тело стиха. Являясь новой литературой, несущей на себе черты перехода от одной культуры к другой, «неканонически тенденциозная» литература ограничена снизу уже названной тенденциозной или целевой литературой, то есть литературой, имеющей определенное направленное движение, заданное традицией, то есть каноническое движение, заставляющее текст совершать нелитературную работу, переходя из литературного пространства в пространство, скажем, идеологическое или нравственное. В то время как «неканонически тенденциозный» текст, имея в виду, возможно, ту же систему ценностей, совершает движение к ним (или около) неканонически, не уходя из пространства литературы и не совершая нелитературной работы.

Если металитература конституирует «конец литературы» и описывает состояние, когда здание литературы рухнуло, а бестенденциозная литература существует в состоянии разрушающегося здания литературы, своими интенциями помогая этому разрушению, то «неканонически тенденциозная» литература, ощущая, что здание литературы качается, продолжает достраивать его, прибегая к приемам наиболее устойчивого и безопасного строительства, возводя башни из слоновой кости, т.е. тексты, которые, по замыслу авторов, способны выстоять при любом землетрясении и катаклизме, не отказываясь при этом от традиций. Целевая или тенденциозная литература (корпус ее текстов составляют основные авторы не только официальной, но эмигрантской и неофициальной литературы), не разделяя апокалиптических настроений, ощущает здание литературы неподвижным и устойчивым (в крайнем случае нуждающимся в косметическом ремонте, в заделке трещин и штукатурке) и продолжает наращивать его, прибегая к традиционным и бесхитростным способам создания текстов, аккумулирующих позитивистские и охранительные тенденции, и опираясь на своего достаточно массового читателя. Отношение к роли литературы и к ее ретроспективному состоянию и определяет выбор фундамента, основания или, даже точнее, рельефа литературной местности, ориентируясь на которую и возникнет пространство текста, ибо текст, конечно, не появляется на пустом месте.

Как уже было сказано, занимая промежуточное, двойственное положение между тенденциозной и бестенденциозной литературой, «неканонически тенденциозная» литература имеет черты сходства с обоими указанными направлениями и одновременно отличается от них. В отличие от бестенденциозной литературы, «неканонически тенденциозная» создает тексты, совершающие движение к подразумеваемым (чаще всего, христианским) ценностям, но по сравнению с тенденциозной литературой не совершает это движение каноническим, ортодоксальным путем, выбирая обходную дорогу, как бы завинчивающуюся вокруг этих ценностей, а не приводящую прямо к ним. «Лирический герой», которому поручается поэтическая манифестация авторской позиции, с одной стороны, «умен» (т.е. это субъект, которому в принципе открыты все истины), совпадая в этом с тенденциозным «лирическим героем»; с другой стороны, эксцентричен, здесь уже совпадая

с героем бестенденциозной литературы. Т. е. неканонический «герой», зная все, что знает «герой» канонический, знает еще «нечто», недоступное последнему, ибо смотрит на все со стороны, сойдя с колеи на обочину. Иначе говоря, если канонический «герой» шагает прямо, выявляя и «открывая» для других ценности (скажем, как это происходит в поэзии О.Охупкина или Д.Бобышева), то неканонический вынужден искать уникальный взгляд на те же вещи, избегая ортодоксального ракурса, как бы скрывая свое «знание» и не позволяя себе пользоваться им традиционно, т. е. как фонарем, поднимаемым над головой. И занимает, с точки зрения тенденциозной литературы, принципиально неортодоксальную или даже «еретическую» позицию (как это происходит в поэзии Миронова, Шварц, Стратановского), что как следствие приводит к появлению своей, эксцентричной системы образности, к пристрастию к индивидуальному, самовитому слову (ибо метафора и есть способ выявления уникального положения «лирического героя» в пространстве) и к использованию «чужого» слова, в основном, как цитаты, то есть традиционным путем.

Ситуация возникновения поэзии в «неканонически тенденциозной» литературе напоминает ту библейскую ситуацию, когда Иаков в крошечной темноте боролся всю ночь с кем-то, кто оказался впоследствии Богом, и выстоял, но с тех пор стал хромать. Отчасти это и реальная борьба (если вспомнить частные упреки в «богоборчестве» таким поэтам, как, скажем, Миронов или Шварц), и фигуральная, т. е. характерная для «высокой» поэзии борьба мистической непостижимой поэзии с рациональным ее осознанием, борьба музы с умом, где победа одной из сторон означает поражение для поэзии, т. е. переход поэзии в тенденциозное пространство.

Сложность представления неканонического «лирического героя», которому поручается осваивать поэтическое пространство текста, в отличие от бестенденциозной литературы, где эксцентричность героя формируется путем соединения ряда парадоксальных и условных черт, заключается в том, что эксцентричность «лирического героя» в «неканонически тенденциозной» литературе должна быть мотивирована, и не только в метафорическом, но и в психологическом плане. Здесь «лирическому герою» не разрешено быть «головным», он должен быть естественно умен и эксцентричен одновременно. Именно поэтому, возможно, «лирический герой» поэзии Е. Шварц — это утонченная и интеллектуальная сумасбродка, пифия-прорицательница, сексуально-озабоченная святая, своенравная и изощренная скандалистка, инфернальница, впадающая то в романтический, то в религиозный экстаз, для которой спровоцированная истерика является патентованным способом освобождения от сдерживающих начал для мистического постижения реальности. Именно «полярность» лирической героини создает заряд напряжения любого текста, в котором обязательно сочетание мощного голоса, уязвленного болезненным своеобразием, с семантической истерикой, что громоздит обильно увлажненные кровью метафоры, раздробленные кости эпитетов, создавая сознательно задуманную картину мистического, спиритуального ужаса. Стихотворное кликушество, несомненно, прием, подсказанный каноном, вернее, необходимостью вернуться от него, от банального ортодоксального ракурса и заговорить раскованно, в полный голос, мешая открывающиеся в горячке образы с пронзительными мыслями. Текст превращается

в поэтически-бессознательный бред, который провоцируется приносившимся автором, умеющим извлекать драгоценные осколки из состояния своего эксцентрически одухотворенного лирического героя.

Если смотреть на поэзию Е. Шварц с канонически тенденциозной стороны, то ее движение к Богу представляется движением магнитной стрелки к полюсу: стрелка стремится к нему, но почему-то проходит к Богу, но проходит как бы сквозь него, как волны сквозь скалу, огибая ее, но не имея возможности остановиться.

Если в систему запретов бестенденциозной литературы входит запрет на ощущение жизни как трагедии и запрет на сочувственное описание любых переживаний без иронического демпфирования, то неканонически тенденциозная литература, также не допуская возможности описания «простых» переживаний, оставляет возможность для одной трагической ситуации — ситуации богооставленности. Именно в эту ситуацию почти постоянно помещает свою «лирическую героиню» Е.Шварц, заставляя ее искать выход из безвыходного положения, что превращает череду текстов в замкнутый круг. Ибо внутри указанной поэтики эта ситуация неразрешима, она разрешима в условиях канона, но сам канон находится под запретом для неканонического поэта — именно это противоречие и создает силовое поле неканонически тенденциозной поэзии.

Концептуально подобным образом формируется отход от целевого тенденциозного канона в поэзии А.Миронова. Изысканно-тонкая словесная связь и просторно сквозящее устройство стиха есть следствие выбора «лирическим героем» экзотического персонажа, который, кощунствуя и греша (то есть испытывая прочность интимной связи с Создателем), помогает автору уходить от тенденциозности штампа, выращивая тонкие и прозрачные стебли текстов, которые, несмотря на нарочитую изощренность, кажутся вполне естественными из-за их мотивированности. Субъект поэзии А.Миронова превращается автором в своеобразного червяка, сидящего на крючке у Бога («Бог мой — смех меня отрицающий»), и автор ведет непрерывную, волнообразную игру, заставляя «лирического героя» демонстрировать то, как жесткая связка «грех—покаяние» легко становится инструментом организации стиха и постижения действительности. Ибо лирический герой набухает от блаженной греховности для того, чтобы разрешиться от бремени в сладостном покаянии. Мистический прокол, что выводит «я» лирического героя за собственные пределы, и становится нервом любого стихотворного текста А. Миронова.

Как уже говорилось, для неканонически тенденциозной поэзии характерно пристальное отношение к традиции; пристрастие к усложненно ассоциативной организации строки с опорой на многосложный словесный образ акмеистов, развитие композиционно-сюрреалистических способов построения тела стиха, примененных Кузминым, использование достаточно технологичного («без тени смысла в языке и слове» → Миронов) приема высвобождения истины посредством обернутского абсурда. По сравнению с бестенденциозной и металитературой, где отталкивание от традиций носит энергоемкий характер, здесь именно тяготение к традициям «высокой» поэзии, несомненно редуцированным, по сути дела очевидно.

Отчетливее всего признаки принадлежности к «высокой» поэзии проявляются в поэтике В. Кривулина. Прежде всего это сам ракурс взгляда «лирического героя»: эпически-пророческая интонация, надмирная, оценочная, лишенная иронии позиция, формирующая традиционно удаленную, объективную точку зрения. Такая установка способствует настройке на резкость текстуальной системы поиска истины, которая (это уже указанное противоречие неканонически тенденциозной поэзии) на самом деле уже найдена, но, чтобы не выводить текст из литературного пространства, это прихотливо скрывать.

Ретроспективное чтение стихов, написанных Кривулиным за последние десять-пятнадцать лет, позволяет заметить, что за этот период мировоззрение автора не претерпело никаких более или менее серьезных изменений. Если сравнить такое положение с каким-либо классическим образцом, то это, конечно, не ищущий и постоянно меняющийся Пушкин, а скорее, мировоззренчески неподвижный Тютчев. Но если для последнего характерна и неподвижность однажды найденной поэтики, ибо его стихи — веером расходящиеся лепестки, что тяготеют к одному центру, то поэтика Кривулина постоянно меняется. По сути дела, автор прошел путь, повторяющий развитие русской поэзии от силлабических созвучий до верлибра, не пропуская ни одной опорной точки, но только, конечно, в более сжатом объеме, сохранив страсть к обновлению по настоящее время. Изменяя формальные приемы, техническое оснащение поэтики и оперение стиха — он как бы имитирует движение, сам оставаясь при этом на месте. Кривулин совершает движение по кругу, создавая иллюзию непрерывного приближения к канону и Истине, но никогда не совершает последний шаг, а невероятно умело балансирует на границе, что придает его поэзии особую силу.

Именно это мимическое обещание «открытия», которое никак не исполняется, но и не берется назад, именно это текстуальное движение по спирали вокруг сакрального стержня куда с большей уверенностью приближает творчество Кривулина к «неканонически тенденциозному» направлению, нежели формальные признаки принадлежности к поэтике западно-европейского авангарда. Возьмем, для примера, хотя бы способ оформления текстов: без заглавных букв и знаков препинания, что должно служить сигналом потоко-сознательного метода или автоматического письма. На самом деле это знаки, призывающие читателя к повышенному вниманию и предупреждающие его о том, что он сейчас столкнется с известной (и характерной для авангарда) сложностью и трудностью правильной и однозначной идентификации текста. Читатель, заметив отсутствие привычных знаков препинания, настраивается на хотя бы частичное понимание текста, уверенный, что столкнется с раздробленной в авангардистской мясорубке заумью, — и с удивлением (и даже легкостью) восстанавливает в воображении грамматически правильный текст. Этот провокационный ложный ход становится первой приманкой для заинтригованного читателя (как бы награда читателю за счет его самого), таким образом уже вовлеченного в достаточно традиционный (в структурном и семантическом отношении) текст, вполне доступный для адекватного восприятия.

С мимическим движением связаны не только приемы поэтики, но и приемы композиционного построения внутри циклов, формирующих, по

замыслу автора, одно цельное высказывание. По сути дела в каждом цикле текстов нетрудно обнаружить одно или несколько христианско-онтологических стихотворений, присутствие которых если не в конце, то в середине цикла обязательно. Почти всегда это текст с облегченной лексикой и упрощенной структурой. Именно в этих стихах Кривулин наиболее близко подходит к границе, отделяющей неканонически тенденциозную от тенденциозной литературы, для которой (особенно, если она религиозная), как ни странно, наиболее скользкой и неочевидной оказывается именно религиозная тематика, приближаясь к которой, автор меняет поэтический костюм на тогу пророка, становясь как бы помощником Бога в уверенности, что здание Веры нуждается в строительной паутине поэтических лесов. Поэзия, не знающая границ, даже пытаясь рассмотреть лоскут звездного неба в духовный телескоп, все равно открывает дверь в другую, нежели религия, сторону, напоминая рыболова, который ловит рыбу в воде, хотя сам стоит на суше. Все дело в точке упора: поэзия, как мы это видим на примере неканонически тенденциозных поэтов, может осваивать и теологические, и политические пространства, если только не переносит на них точку опоры, а остается на своей территории. Это неудобно, ибо приходится тянуться, но именно эта протяженность и создает мост, зависающий над канонем.

Стихотворные тексты Кривулина как бы освещены изнутри лучом религиозного прожектора, но он не дает этому лучу превратиться в указательную полосу. Уход его текстов от прямого следования канону происходит не из-за выбора эксцентричного «лирического героя» и волнообразного движения к каноническим ценностям (как это происходит в поэзии Шварц и Миронова), а путем совмещения голоса «лирического героя» с авторским голосом, который, как уже было сказано, обещая пророческое откровение, либо имитирует движение, совершая мимические пассы на месте, либо совершает движение по кругу или спирали вокруг пронизывающего текст луча.

Те способы, с помощью которых неканонически тенденциозная поэзия уклоняется от целевого канона и от появления в тексте нелитературных категорий, позволяют обогащать текстуальную кровь кислородом пограничных состояний, столь необходимых для появления новой поэзии. Балансируя на границе русского языка, эта поэзия вполне приспособлена к освоению все большей и большей словесной территории, а если вспомнить пристрастие Кривулина к самовитому, как бы саморазвивающемуся слову (поток слов), то вполне можно согласиться с мнением, что именно в этой поэзии русский язык получил максимальное — после Серебряного века — приращение.

Сравнивая различные направления в новой русской литературе, мы были далеки от желания расставлять их по местам, как и от попытки выстроить иерархию авторов внутри той или иной «школы». Целью данной статьи было определение тех силовых линий, по которым сближаются и расходятся наиболее интересные нам авторы, выявление черт отличия и примет сходства, выяснение хотя бы самых общих критериев оценки текстов различных направлений, как и вычленение самих этих направлений. Сам способ изложения не позволил остановиться подробнее на нескольких, весьма важных для современной русской литературы обстоятельствах, не было отмечено влияние «китча» на многие концептуальные тексты; не была широко раскрыта система запретов (которая, создаваясь апостериорно, за

счет разрушения канона, создает новый канон), характерная для пространства текста в каждом из перечисленных направлений.

Перед нами не стояла задача выяснить: кто талантливее — Пригов или Кривулин, Сорокин или Соколов? Более того, мы не претендуем на то, что именно названные, перечисленные в статье авторы полностью покрывают поле современной русской литературы, как и на то, что выделенные нами направления единственно возможные и категорично выделены в новом искусстве. Любое конкретное произведение шире контекстов и категорий, его определяющих и связывающих с другими произведениями, а пирамида критических оценок субъективна и условна.

Что определяет успех того или иного произведения? Почему сама субстанция успеха обладает такой мерцающей природой, и то, что зачитывалось до дыр вчера, неинтересно сегодня, а, кажется, забытый автор прошлого века, не задевший за живое современников, неожиданно появляется на нашем горизонте? Читатель всегда прав, повторим мы еще раз, как и прав писатель, работающий невзирая ни на кого, ибо, как сказал Борхес, «литературные вкусы Бога неведомы».

РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Этот раздел мы начинаем публикацией выдержек из беседы с философом Константином Ивановым, который в течение многих лет был близок к кругу учеников и последователей Л. П. Карсавина — А. А. Ванееву и о.Сергию Желудкову. В своих работах, частично опубликованных в журнале «Аминь», К. Иванов исследует проблему взаимоотношения веры и атеизма, полагая эту проблему ключевой духовной проблемой нашего времени. «Что имеет в виду атеист, говоря: "Бога нет"?» — «Кого нет?» — спрашивает Константин Иванов.

Статью К. Иванова редакция предполагает поместить в одном из следующих номеров.

ВНЛ. Как нам кажется, вы считаете, что сейчас самым важным является вопрос взаимоотношения веры и атеизма в современном мире. В связи с этим появляется целый ряд других вопросов. Почему сейчас? Вера обладает зависимостью от времени? Вера обладает историческим измерением? Христианская вера изменилась за те два тысячелетия, которыми она исчисляется? Почему вы считаете, есть ли у вас основания полагать, что именно сейчас ситуация такова (очевидно, изменилась вера, изменилась Церковь, повлияли какие-то общественно-политические моменты), что этот вопрос — веры и атеизма — стал столь важным? Нельзя ли провести такую параллель: в эпоху раннего христианства одним из важнейших для Церкви считался вопрос веры и язычества, потому что на первых порах вера находилась внутри враждебного пространства язычества, а сейчас — веры и атеизма — ибо Церковь находится внутри враждебного ей пространства атеизма?

К. И. Отвечаю вам. Христианская вера обязательно имеет историческое измерение, иначе она не вера. Иначе это не церковная вера. Это несомненно. Причем это историческое измерение составляет основную проблему, основное содержание проповеди в данный момент. Потому что, если просто так проповедовать и не знать этого измерения, то в Церкви (в церковной

проповеди) не будет самого существа. Это вовсе не исключает «вечного смысла» христианства. Во все нет. Просто таким вот образом оно приобретает живую форму, выраженную в современности. История Церкви сразу же начинается с самого начала: вспомните катакомбную Церковь. Вера катакомбной церкви. Вера, представленная нам в Деяниях апостолов. Это — одна вера. Потом образуется Церковь. Официальная Церковь. И вот тогда начинают возникать новые проблемы. Совершенно новые. Тогда начинает возникать то, что мы называем религиозным учением. Поначалу его не было. Не было никакой догматики. Совершенно особый характер был у веры. Вспомните Деяния апостолов. Нисхождение Духа Святого. Чудо. Мощное, демонстративное — вот на чем стояла вера. И тут же подтверждение и выражение этого в мученичестве, в исповедании — вот в чем была вера. Вера давалась как чудо, сразу ошеломляющее и очень действенное. Понаблюдайте, почитайте Деяния апостолов: кого гнали, кого мучали? В чем выражалась вера катакомбная? Именно в этом. Как она давалась? Как чудо. Из послания языков, из послания сил мощных — это все сплошь таинство. А потом, когда в Церковь хлынули огромные массы народу и образовалась государственная Церковь, то ведь эта Церковь в сравнении с катакомбной — Церковь неверующих. Вы обратите внимание: я не выдумываю историю — история началась давно. Я не говорю о переходе к средневековью, но с момента, когда вообще появляется Церковь в особенном смысле слова, как государственная Церковь, характер веры революционно меняется. Что такое верующий — это представление фундаментально меняется. Церковь опирается уже на святых. Те, кто представлялись раньше типичными верующими, для Церкви становятся святыми. Возьмите церковного человека V — VI века. Он, с точки зрения первообщины, может быть вполне назван просто неверующим. Вот так «неверующие» входят в Церковь. Это мощнейшее, революционное изменение. И оно продолжается дальше. Теперь с язычеством. Реакция на язычество — она сложна, и в Церкви того времени сохранились две традиции, два типа реакции на язычество: с одной стороны, вся языческая философия, вся языческая культура — это соблазн, с другой — что ему надо овладеть. По сути дела, эти два типа так и остались.

А атеизм наш? Ведь это совершенно новое явление. Это небывалое явление. Мы его специфику не понимаем. Мы говорим: атеизм был всегда. Вспоминаем, что в Библии говорится: «Рече безумец в сердце своем: не есть Бог». Так сказано не об атеизме. Имеется библейская и христианская реакция на нежелание иметь дело с Богом. Но наш современный атеизм — он связан с нашей культурой, он связан с нашей наукой. И если вы начнете говорить, что и наука была раньше, то это не совсем так, нашей науки не было. Были зачатки этой науки, но не было ни нашей техники, ни нашей цивилизации, ни нашего образа жизни. Никогда не было искусства такого, как у нас. Никогда не было такой общественной нравственности, которая есть сейчас. Новая культура, и вот с этой культурой атеизм срощен очень глубоко. И религиозные проповедники этот факт не то что не замечают, а и не хотят замечать, потому что очень удобно развернуть пустую религиозную проповедь, основанную на предположении, что атеизм явление случайное. Католицизму свойственен такой подход. Говорят: это недоразумение, это невежество, когда наука ассоциируется в головах людей с атеизмом.

А почему же все-таки она ассоциируется? Начинают нам говорить о великих ученых, которые одновременно и ученые и верующие люди. Однако имеется огромное поле фактов, когда люди ученые, умные, одновременно атеисты. Я могу привести пример совершенно новых понятий. Вот слово «любовь». Каково наше представление о любви? О романтической любви, как говорят социологи. Поставьте этот вопрос перед многими. Вам скажут: ну почему, любовь, она всегда была между мужчиной и женщиной. В Библии мы можем прочитать о любви «Песнь песней»; у всех народов в разных культурах была любовь. А историк вам скажет, что романтическая любовь — явление новое, образовалась в преддверии Ренессанса, связана с культом Мадонны, с поэзией, с рыцарством — вот что такое «романтическая любовь». И если конкретно определять, то можно утверждать, что никогда ее раньше не было и быть не могло, если это явление видеть в его конкретном и специфическом смысле. То есть это очень, очень новое, странное явление. Не только на Востоке, но и в христианстве до определенного (нашего) времени его не было, и оказывается, что оно спровоцировано, выведено из глубины христианства. На это указывает культ Мадонны, культ прекрасной дамы (в рыцарстве).

ВНЛ. Вы потому привели пример исторического понимания любви, что также историческим является и понятие атеизма?

К. И. Ну конечно. В чем проблема атеизма? Она вот в чем. Не там эта проблема выясняется, где мы спорим и говорим: «Бог есть»—«Бога нет». Атеист говорит «нет», мы говорим «да». Но говорим мы на разных уровнях, в разных мирах. Однако что важно? Представление о Боге. Атеизм имеет свое представление о Боге. Здесь мы должны избежать одного подводного камня, одного соблазна, о котором я всегда говорю, т. к. это важно для того, кто думает об атеизме. Надо напрочь отказаться от небрежного к нему отношения и от того, чтобы спекулировать на слабых формах атеизма. Ведь если вы будете изучать веру и будете брать для себя слабые, беспородные, бесхарактерные образцы, вы как наблюдатель найдете вроде бы много материала, но материала, не выражающего существа. А вы должны найти себе такие образцы, такие типы, где эта сущность будет выражена. Так вот, сущность настоящего атеиста, породистый атеизм — это уверенный атеизм. Атеизм — это всегда уверенность. Это не скептицизм. Есть такая манера у религиозных проповедников — искать себе легкого врага. И, действительно, многие атеисты отступают под давлением и говорят: «Вы знаете, я не атеист, я — скептик». Но беда в том, что он на самом деле остается атеистом. Он обманывает и себя, и другого. Атеизм по существу — это уверенность, которая не может себя оправдать, хотя от этого она и не перестает быть уверенностью. Поверхностная религиозная проповедь на этом спекулирует, начинает обрушиваться, говорит: «Ага, ты не можешь оправдать свою уверенность. Откуда ты знаешь, что Бога нет? Откуда ты такое откровение получил? Ах, не получил откровения, тогда твоя позиция ничего не стоит». Но от этого атеизму не становится хуже жить на свете. Все же нет. Эта уверенность продолжает жить в человеке, чем-то питается, идет откуда-то. Вот тут вы впервые становитесь перед проблемой атеизма. У меня сложилось серьезное убеждение, что за многими проблемами, которые стоят перед нами сегодня, стоит эта мистическая проблема. Ведь чем важна проблема

атеизма? Эта проблема — это требование к нам от Бога. То есть, что бы мы ни говорили относительно того, почему у человека появляется вера или отнимается вера (ну вот сейчас перед нами факт целого моря неверия, разлитого по Европе, и не только по Европе, но и у нас), но что ни говори, последнее «объяснение» заключается в одном: Бог это попускает. Вера, последнее ее основание — это Бог. Поэтому поставьте вопрос просто и фундаментально. Откуда появился атеизм? Он появился, потому что Бог взял и перестал давать благодать веры, скажем так. И если Он это сделал, то в этом есть какое-то задание Божьего промысла. Поэтому я говорю вам: пока не будет решена проблема атеизма, промыслом Божиим, по воле Божьей будет уничтожаться вера на Земле. Это абсолютный фильтр, поставленный Господом Богом, и это, по моему глубокому убеждению, можно уже чувствовать в глубине своей души, это — не исторические гадания. В том, что люди не решают для себя проблемы (внутренней) атеизма, именно в этом я вижу самое страшное заболевание Церкви. Не в том дело, что в Церкви мало народу. А в том, что происходит деградация религиозного характера, современной веры, появляется стилизованная вера. Те люди, которые очень любят искать чувство действительной веры, вопиют какие-то лозунги о вере, ищут в старцах, подсматривают друг за другом в этом отношении, — это люди с ущербной верой. В этой вере начинает испаряться самое основное, что всегда было в вере, — уверенность. Понимаете? Сейчас с уверенностью говорят о Боге очень мало. Дело в том, что происходит не количественная деградация Церкви, а качественная. И все это связано с одним: современный человек может верить, быть самим собой только при условии особого рода сознательности. Мы должны иметь такое сознание, которое мы должны иметь, мы должны иметь такую искренность, какую должны иметь, мы должны иметь такую совесть, какую мы должны иметь. А это все — новое. Мы должны любить так, как мы должны любить. Если человек не будет ориентирован на идеал любви, то никакой аскетизм не спасет его от маразма в эротической жизни. Если человек не включит в веру новое осмысление веры, то есть возможность смотреть на свою веру со стороны, то он одновременно не поймет себя и не поймет атеиста. Это осмысление извне. Оно внутренне содержит в себе атеизм. Атеизм и нужен для этого осмысления. Тут есть возможность развиваться дальше и вступать в противоречие с самим собой, со своей верой. Мыслящий о вере человек, он и есть атеист, только в данном случае мы говорим о другой стороне атеизма, т. к. вероотрицание проявляется здесь как выяснение смысла веры. Конечно, вера имеет мистическое, таинственное, невыясняемое содержание, но поставлена новая проблема: оставаясь в этой глубине, вера должна обязательно себя эксплицировать, должна вывернуть наизнанку и явить свой смысл, без этого мы сейчас не можем. Ведь есть еще одно новое чувство, новое, как чувство любви, как атеизм, это чувство личности. Личности никогда раньше не было за Земле. Такие люди, как Ницше, это понимали. Он пишет, предупреждает: имейте в виду — личность это новое образование. Личность — очень новое, хрупкое образование. Никогда прежде не был человек личностью. Мы можем говорить об этом сейчас, ретроспективно глядя на историю и видя, что христианство поставило эту проблему, зачало личность. Но хотя коренится эта проблема в христианстве (а поставлена проблема

личности была еще в Возрождении), но корениться — это одно, а созреть до наших дней — это другое. Так вот, быть личностью — это уже значит быть противоречивым, противостоять себе, своей вере, а значит, и Богу. Личность уже обрекает нас на богоотрицание, обрекает на богоборчество. Попробуйте отказаться от своей личности — тогда вы откажетесь и от атеизма, тогда вы сможете отказаться и от мыслей, тогда вы сможете отказаться и от искренности. Станьте-ка таким церковным человеком, каким только раньше могли быть, когда человек верил церковно и «естественно». Если можно было спросить: «Как ты веришь?», то ответом было: «Что ты меня спрашиваешь? Верю так, как Церковь учит». А сейчас многие люди стилизуют себя под старину. Спросишь такого человека (он очень церковен, он будет, сложив ладони, говорить о Церкви, он будет говорить, что надо гордости ума избегать, что есть таинственные авторитеры, будет Флоренского цитировать) — он доказывает, что мы должны лично признать авторитет Церкви. Присмотритесь: ведь это почти то же самое диссидентство, богомный каприз, своеволие. Нет сейчас таких людей, которые сегодня устроены по-старому и могли бы вот так, искренне и глубоко, оставаясь самими собой, не выпендриваясь, не производя высший пилотаж, без всяких изысков и изощрений, а вот так фундаментально, как раньше, верить, верить, как учит Церковь. Тогда была преемственность, а это и есть жизнь Церкви. Она прервана, вырвана с корнем, а древо Церкви искусственно не насадишь. Тогда воспитывались в вере. Кьеркегор, имитируя вопрос, разыгрывал диалог: «Почему ты веришь?» — «Я верю потому, что так сказал мой отец». Вот так раньше верили. Никто не принял бы нашего вопроса: «Почему ты сам веришь?». Не было таких вопросов. Я открываю не какую-то частную проблему, а, если хотите, я хочу открыть глаза на то, что действительно с нами происходит. Пойти глубже поверхностного взгляда на проблемы, которые кажутся слишком простыми.

ВНЛ. Вы считаете, что проблема атеизма сказывается на всех сторонах нашей современной жизни, на искусстве, культуре, науке, технике, на том, что называется современной цивилизацией?

К. И. Разумеется. Если современный человек имеет новую искренность, новый разум, раз это человек, имеющий личность, он не может верить по-старому, для него вера становится новой. Но что значит новой? Например, мы не знаем, что такое наука. Многим кажется, что очень легко сказать, что такое наука: вот ученый, вот наука, вот книги, вот библиотеки, вот произведения этой науки — техника. Но что такое наука — это фундаментальная тайна. На последнем Ватиканском соборе (есть у католиков при всех их претензиях изъяснять веру популярно, их склонности к вульгарной проповеди — а это очень раздражающее явление: всегда в католицизме есть вульгарная проповедь, — но при этом в глубине остается, если хотите, аристократический католицизм) сказано: проблема науки не решена, она ждет решения. Это очень правильно. В чем? Есть наука, а есть философия науки. Мы нуждаемся в философии науки. Что в этом факте скрыто, вы понимаете? Вот есть ученый, он знает свое дело. Кто за него сможет объяснить вещи, которые он должен знать как ученый? Никто. Если я не ученый, что мне говорить о науке? Науку знает сам ученый. Знает непосредственно. Но ученый, оказывается, не знает последнего смысла того, что он знает. Должен

быть философ, который начнет толковать поверх ученого об этой науке. Мы уже привыкли говорить: вот есть наука, а есть философия. Но такое противопоставление, оно же скандально. Науке, которая остается сама собой, которая является знанием, непосредственно достоверным, никто не может навязать мнения со стороны. Все права у ученого. А они отнимаются. Иметь знание и не иметь знания — вот вам парадокс. Привыкли мы говорить: наука и философия, наука и культура,— и вот эта дифференциация не только отдельных дисциплин, и то, что в один ряд попадают и философия, и даже религия,— это скандал. Философия не может стоять в ряду с наукой. Философия не может стоять в ряду с культурой. Мы говорим об истории философии, но никакой истории философии нет на свете. Она есть только для очень поверхностных людей. Есть философия истории. А истории философии — нет. И быть не может. История философии может иметь, скажем, такое же прикладное значение, как искусствоведение, собирающее сплетни о художниках, анекдоты, факты. Будь у нас история философии на этом уровне, нам бы сказали: «Вот Беркли, вот за ним числится общеизвестное то-то и то-то: "существовать — значит быть воспринимаемым..."». То есть то, к чему американцы понемногу приходят в последних словарях — набор рекламы, я бы сказал — сухие сведения, сообщаемые без умничанья. Мы не знаем, ни что такое наука, ни что такое искусство, ни что такое нравственность. О науке мы не знаем ее смысла, потому что, с одной стороны, весь этот смысл принадлежит самой науке, а с другой — должна быть философия, которая заново будет выяснять ее смысл. Мы не знаем смысла современного искусства по одной простой причине: потому что современное искусство совершенно по-новому (никогда этого не было) решительно отказывается от диктата реальности. Вся наша нравственность тоже стоит на простейшей проблеме: у нас нравственность потеряет качество, если она не будет иметь то, что называется бескорыстностью. А бескорыстность — это значит безосновность, свобода, неизъяснимость. Скажите вы эти вещи людям раньше... Возьмите, скажем, Августина и его точку зрения на нравственность, других,— это вовсе не похоже на то, что говорим мы. Просто этого мы не замечаем. Мы все это стилизуем. У нас все сливается. Никакой истории мы не знаем, помилуйте. Потому как для тех людей наши разговоры о бескорыстной нравственности были бы безумием: как так? Если ты умный человек, то ты должен найти оправдание своему нравственному чувству, ты должен иметь для него основание. Что такое свобода? Что такое вдохновение? Что такое бескорыстие? Категорический императив Канта, который, оказывается, принципиально требует, чтобы человек не знал о долге, его существовании, его основании, а если, рассуждает Кант, мы подведем основание под долг, то потеряем тогда долг ради долга, потеряем тогда смысл долга. Это что? Вся наша нравственность стоит на безосновности. А это еще что? Что такое современная нравственность как общественная нравственность? И это скандал. Ведь предшествующая этика христианства — была личная этика. А у нас этика расщепляется на два варианта: индивидуалистическая этика (она бессмысленна, потому что разрывает человека с человеком) и общественная этика, которую превозносим, но где личность терется, индивидуальность терется, человек терется. Наша этика либо вырождается в этикет, либо вообще отбрасывает все нормы и полагается на

интуицию и произвол. Вся наша культура связана с атеизмом. И попытки разорвать эту связь тщетны. Где наука — там и атеизм. Другое дело, что вы ни от ученого, ни от атеиста не добьетесь разъяснения этой связи. И поэтому легко построить поверхностную проповедь, спекулируя на том, что перед вами человек, который не оправдывается. Вы на него навесите упреки и спросите: «Почему ты, ученый, обязан говорить, что Бога нет?» И он язык проглотит, а вы будете над ним надменно стоять и говорить: «Вот видишь». А ведь это на вашей ответственности — проповедников — самим понять, почему там, где есть культура современная, там везде атеизм. Мы должны определить эту связь. Феноменально она есть. Я уже говорил: атеизм нуждается в том, чтобы мы раскрыли его смысл, смысл уверенности, что Бога нет. В чем она? Это должна сделать вера. Только мы, исходя из нашего религиозного, «фундаментального» представления о Боге, можем понять, что имеет в виду атеист, когда говорит, что Бога нет. И каким образом в нем «работает» Бог, представление о Боге? Почему, что за откровение дано ему? Ведь он задевает нас, атеист. Иначе бы вообще этой проблемы не было. Это — задет Бог. Как мы должны понять смысл атеизма для самого атеизма (а атеизм связан с культурой), так же мы должны понять смысл всей культуры за нее саму (она есть то, что она есть, она развивается и делает свое дело). Христианство назначено осознать этот плод из глубины своего древа, из корней; и этот плод, это детище признать своим. Дело за христианством. От атеистов нечего требовать. Ответственность за атеизм — целиком на христианстве.

ВНЛ. Можно ли так понять, что атеизм по сути дела является рецептором для осознания веры и Бога, что отношение к нему должно быть как к части Бога? То есть в вере есть атеизм, и атеизм есть часть веры? Более того, уничтожение атеизма было бы уничтожением веры?

К. И. Положим: да, но только это избыточное выражение веры. Нельзя забывать о временной оси. Вера уже явилась человечеству. В целом человечество пережило веру, расцвет веры. И если можно так сказать, благодать Божья свершила свое дело в человечестве. По каким-то причинам мы уже оторвались от веры и можем теперь смотреть на средневековую веру, как баран на новые ворота. Мы не понимаем исторического момента: человечество в обретении веры христианской дошло до кондиции, свершило свою задачу. Мы все связаны единой нитью, понимаете. Что-то решает одно поколение, что-то — другое; что-то — третье. И если что-то сзади нас решено, нам уже не дано к этому возвращаться. Наши предки это сделали. И вот наши предки (а это настоящее чувство традиции) в средневековье, они по-своему решили вопрос христианизации мира до предела. И поэтому сейчас представить себе задачу истории как попытку хоть как-то восстановить сейчас средневековую традицию или средневековую сосредоточенность человека на вере — это неисторический подход, это стилизация. Все это было. Всего этого человечество достигло. И после этого вера развивалась дальше. Вера поставила перед христианством и перед собой сверхзадачу: выйти за свои пределы. Ведь что такое атеизм? Это дерзкое представление о Боге силами самого человека и его сознания. Мы о Боге можем знать только от Бога. Никто не может знать Сына, иначе как Духом Святым. Никто не может сам познать Бога. Учение о Духе Святом, учение о Сыне,

о том, что к Богу мы должны идти через Сына и Духом Святым,— это учение определяет путь к Богу только от Бога. Но вспомните, как католицизм со странным упорством начинает проводить идею о естественном разуме. Человеку не только позволили, но с настойчивостью потребовали дать право самому знать о Боге. Открылось воображение. Путь нерелигиозного воображения о Боге. Это открыл католицизм. И когда это воображение дошло до кондиции, то вдруг себя определило именно тем, что Бога нет. Что это такое? Ведь речь идет о воображении, которое не имеет функционального права на Бога. Вы чувствуете? С одной стороны, Бога можно узнать только Богом — это христианский тезис. С другой — и это от христианской Церкви,— воображение говорит о себе что-то очень глубокое, очень искреннее, очень сильное, когда отменяет для себя возможность сказать, что Бог есть, а говорит: для меня Бога нет. Так говорит в человеке само воображение о Боге, и так говорит человек, оставшийся наедине со своим воображением. Вдумайтесь еще раз в это. Христианство утверждает, что Бога можно знать только от Бога, а потом, по каким-то странным причинам, через Церковь, провоцирует человеческое сознание на своевольное представление о Боге. И в конце концов дело доходит до следующего: человеческое сознание, как самоосознание, развернувшееся, открывшееся, дошедшее до кондиции, говорит: если мне позволено, даже вменено в обязанность знать о Боге, то знаю я только одно — то, что Бога нет. И само это сознание не может найти основ и концов своих.

ВНЛ. Вы уже говорили, что существует два типа атеизма: западный и восточный. В чем причина того, что эти атеизмы носят разный оттенок, в том, что у нас атеизм носит государственный характер, или самым важным является то, на какой почве он произрастает (то, что называется национальным характером, национальным духом)? Иначе говоря, чем определяется именно такой характер восточного атеизма: общественными предпосылками или национальными особенностями?

К. И. Я бы хотел говорить о том, чем определяется и общественная структура, и национальные особенности. Условно можно сказать так: развитием религиозной идеи. Откуда идет атеизм? Мы уже сказали: из Возрождения. В истоке лежит протестантизм. У нас есть свои религиозные процессы, которые также повлияли: скажем, тот же раскол. В нем есть тоже судорожные, мощные движения в глубине религиозной жизни: это развитие христианства. Одно из главных событий этого развития мы знаем — это разделение церквей: на Восточную и Западную. Наш атеизм — это православный атеизм, это атеизм на почве православия, в то время как западный атеизм — это атеизм на почве католицизма. Этими словами я пользуюсь, когда пишу. Вы теперь вправе потребовать: покажите связь между идеей католицизма и западным атеизмом, между идеей православия и восточным атеизмом. Об этом надо говорить. Скажем сейчас так: один из существенных признаков католицизма, входящий в католический характер,— это признание естественных прав самостоятельного человеческого разума. И вместе с тем какое-то расщепление в религиозном сознании мистического переживания, веры, мистического понимания и того, что называют естественным пониманием. Есть догматическая установка. С ней связан католический атеизм. У нас на Востоке этого нет, нет дифференциации. Западный атеизм — это интеллекту-

альный атеизм. Наш атеизм нельзя назвать интеллектуальным. Наш атеизм — это антиинтеллектуальный атеизм. Дальше. Западный атеизм это не просто интеллектуальный атеизм, нельзя забыть и про индивидуалистическую мысль, там атеизм сознателен в том смысле, что это сознательность отдельной личности, индивидуальности, которая противостоит человеческому как целому. У нас преимущество православной церковности — это церковность неискусшенная и не разьединенная индивидуализмом. Это ощущение соборности и единства. И наш атеизм — это, конечно, соборный атеизм. Но вот какой вопрос: почему в атеизме эти вещи оприходуются, обрабатываются, почему атеизм питается, находит себе выражение или в форме восточной, или в западной? Зачем атеистической идее понадобилось использовать восточную и западную форму? Это вопрос о существовании атеизма, и этот вопрос очень важен. Если западный атеизм порождается по линии идеи, сознания, западный атеизм остается сознательным атеизмом, то восточный — по линии таинства. По линии некоего целостного, невыразимого рационально-религиозного переживания. Вот представьте себе православное сознание, которое верит в Бога, одновременно настаивая, что «я не своим умом верю, а верю умом Церкви». А потом это сознание по каким-то причинам рассорится с этой Церковью, усомнится в Боге... не важно, по каким причинам. И вот этому сознанию, которое должно над собой признавать высший авторитет, приходится (скажу на языке атеизма) изъясняться перед собой, объяснять, почему оно этот авторитет признает. Вы понимаете? Православное сознание всегда остается сознанием, покорным авторитету, а влияние разума на нас таково, чтобы нам только бы сознательно понять свое отношение к авторитету. Вы, с одной стороны, над своим сознанием ставите авторитет, ему, действительно, покоряетесь, но, с другой стороны, в способе вашей покорности, в маневре вашего сознания есть осуществление свободы вашего сознания, есть самоутверждение. И это меняет характер авторитета. Вы берете и сами ставите над собой авторитет. Есть один исторический факт паразитической силы. А именно — коронация Наполеона. Папа заносит над ним корону, а он вырывает ее из его рук и сам надевает ее на голову. Папа коронует его императором, а он коронует себя сам. Сам делает себя императором и творит новую власть — столь же освященную, сколь и непокорную церкви. Вдумайтесь в это. Это и составляет, если хотите, простое выражение всей проблемы. Но не думайте, что мы выходим сухими из воды. Ничего подобного. Мы повязаны полностью, если хотите, природным грехом этого маневра. Самое наше сознание осмелилось с такой фамильярностью поставить над собой авторитет, и поставило! И заставило благословить себя прошлым авторитетом. Западное решение вопроса таково, что Запад не замечает своей фамильярности по отношению к авторитету. В то время как Восток и православие очень чутки на фамильярное отношение к авторитету. Даже если вы этот авторитет сознательно признаете, но тот факт, что вы надеетесь на ваше сознание, что вы посмели своими руками надеть на себя корону или религию принять, что вы сами осмелились говорить о Боге, — это непереносимо. И поэтому в проблеме, которую решает Восток, можно увидеть сильную, равночестную западной вариации на ту же тему, а именно: если я признаю над собой авторитет, но вынужден делать это с помощью своего сознания, то будь проклято мое сознание, и я сам

отказываюсь знать, что я делаю. И тогда я найду себе свой до конца человеческий авторитет — общечеловеческое, общественное сознание. Человеческое сознание решительно отказывается понимать смысл своего дела, когда отнимают от него власть или авторитет. Ведь и вся тайна марксизма заключается в том, что он упорно, мощно, с таинственным упорством отталкивает от себя всякое личное сознание. Если вдуматься во все это, это вас начинает поражать. Вы начинаете понимать, что здесь не все так просто. Что здесь душа человеческая выражает глубокую потребность в целомудрии. Надо понять, чему мы религиозно можем научиться на примере восточного православия: это умению владеть высшей Бессознательностью. Если Запад владеет Сознательностью, и на очень высоком уровне, то Восток владеет Бессознательностью в каком-то глубоком и недоступном для Запада смысле. Мы умеем не думать. Из благочестия. Решительно не думать. И для того, чтобы делать это совершенно, процесс обязательно приходится закамуфлировать. Если вы вдумаетесь, то вас поразит еще одна вещь. Приведу пример. Вы какому-то человеку оказываете благодеяние, и из скромности не хотите слышать благодарности. Однако ваша фигура умолчания может быть настолько выразительна, что вызовет такую благодарность, что вам станет ясно: вы не проявили свою скромность. Вы, оказывая какой-то дар, дальше должны то ли расшугить, то ли дурака свалить, то есть вы должны набросать листьев, навести тень на плетень. Вы понимаете меня? Так вот, если вы рассмотрите марксизм в его схоластическом развитии, то увидите, что он специально валяет дурака. Это юродивый. Там, на поверхности марксизма, особенно схоластического, набросано специально листьев, для того, чтобы человеческое сознание не разгадало таинственного дела своей благочестивой покорности неназванному авторитету, скрытому под названный. Возьмите Запад, католицизм, там святое, открытое, смелое дерзание Церкви овладеть миром и человеческим сознанием — изумительное вдохновение католической христианской веры выйти за свои пределы, овладеть и миром, и свободой, и культурой, всем... А на Востоке — дерзновение навыворот. Здесь такие фигуры смирения! Этокое византийское лукавство. Такой же высший пилотаж в другую сторону, как там в свою высоту, так здесь в свою глубину. И марксизм тому идеальное выражение. А для нас пережить отрицание веры, понять атеизм — это и есть на личном пути действительно утвердиться в вере. Иначе скрытый атеизм будет разъедать человека. Мы так устроены. И мы не должны забывать, что вера — это на самом деле живое прочтение современности. Такой характер нашего сознания, таков характер нашей искренности, что как ни рядись в веру, как таинство на нас ни действуй, как нашу плоть ни освящай, как со всех внешних сторон ни становись насыщенным верой, в ядре, внутренне, продолжает быть угрозой сомнения и противопоставления одной нашей части другой. Но когда выбор сделали, когда вы решаетесь, тогда вы обретаете свободу. И я вижу религиозный смысл в том, что свободно могу сказать: да, Бога нет. И понимаю религиозный смысл того, что я чувствую себя атеистом, и так — верующим. Вот тогда я свободно верю. И я понимаю, что только так мы все можем верить как следует. И что только так удаляются все эти шлаки, все лубки, мимикрия, вся эта поверхностность, стилизация, которая собой гордится. Все это выметается. Кстати, вы обращаете внимание, что у атеиста за душой (ярого, убежденного атеиста)

бывает какой-то очень трогательный образ веры, которому мы не соответствуем. Которого мы ниже. Вот интересно, вы не замечали этого? У некоторых атеистов есть такой высокий образ веры, что чувствуешь: вот по чему надо равняться. Как с детьми: они вообще представляют себе верующих, каких и на свете не бывает. Атеисты еще разроют к нам ход, ход к верующим. Вера сокрыта в атеизме как мощнейшая потенция. Атеисты когда-нибудь начнут... один за другим, как грибы после дождя, чувствовать... интересоваться христианством, верой. И конечно, в первый момент окажется, что все наши официальные представления никуда не годятся. И все наши верующие окажутся... призраками, мертвыми душами. И я так думаю, что атеисты будут нас трясти. Они очаруются, разочаруются. И тут должен быть какой-то мощный процесс, которым атеизм заставит Церковь прийти в себя. Он добьется от этой Церкви, он разбудит и скажет: что вы за люди... за вами стоит вера, а вы на кого похожи? Вы ни культуры не знаете, ни науки, ни искренности, ни голова не работает. И они начнут трясти нас. Не буду рисовать картину в подробностях. Конечно, человек традиционной веры должен здесь возмутиться. Но дело в том, что разговор идет об историческом измерении нашей веры. Мы уже давно именно этим отличаемся от католиков, что они фактически признают историю Церкви, а наше православное сознание склонно осознавать себя как хранительницу преданий. Правда, католики тоже не вполне признают историю Церкви, им приходится ставить тормоза на свою идею, потому что если вполне признавать историю Церкви, то туда попадет и история атеизма. Католики тут и захлебнулись бы на своей историчности Церкви. Потому что там нечто такое, что им уже не проглотить. А в православном сознании дело обстоит еще страннее. Мы оказываемся традиционалистами, только выдуманы наши традиции. Историческое знание показывает, что никакие мы не хранители. Это только для людей неосведомленных кажется, что мы традиционалисты. Ну а так, что такое традиция? Старчество наше, это, что ли, традиция? Наши катехизисы? Наши представления о догматах, это, что ли, традиция? Наша интерпретация догматов новой интеллигенцией — традиция? Да помилуйте! Взгляните на это настоящими глазами. Я не хочу об этом говорить ни плохо, ни хорошо, но все это в высшей степени странно. Флоренский — традиционалист?.. Гоголь?.. Флоренского считают традиционалистом, хотя это типичный интеллигент, новый интеллигент. Церковное сознание тут сохраняет подозрительность, но зато у церковного сознания вдруг... Гоголь — традиционалист? Его «Литургию» рекомендуют перепечатывать. Но ведь эта «Литургия» Гоголя — это маразм полный. Это полный развал религиозного сознания. Его символическое толкование литургий — это разрушительное понимание литургии. Ну, если желать у человека напрочь отбить какое-либо представление о таинстве, то дайте ему «Литургию» Гоголя. Если где-то есть карикатура на религиозное сознание, то это — сам Гоголь. Мы в историю влипали тем больше, чем больше ее бежали. Порицая католиков, упрекая их в атеизме, сами в этот атеизм влезли. Вот Достоевский говорил: католицизм — хуже атеизма. А сами и влезли туда же. Такого радикального общественного атеизма, как у нас, нигде нет, и не слыхивали, и в утопиях не привиделось. Потому-то у нас эпицентр.

В.Л. Правильно ли я понял: по сути дела истории как таковой нет, а есть история веры? И перипетии истории веры — это ее отражение,— и есть светская история?

К.И. Конечно,— вот посмотрите, Карсавин очень правильно говорит: история — это христианская история. Вообще должен быть поставлен вопрос, что вне христианства истории нет. Идея истории — это христианская идея. Светская история она и есть в глубине своей религиозная история. Вспомните, как дело было с наукой. Сначала должна была появиться на свет сама наука. Потом она скоро вырвалась из тисков богословия, потом метафизика ее долго за хвост держала, и сама ориентировалась на науку, желая быть научной. Но и отсюда ушла. Ото всех ушла наука. И наконец раскрылась и явила себя саму самостоятельно, автономно. Мы знаем, что такое наука феноменальная. В ней не напутано ни теологических элементов, ни метафизических. Современная наука чиста как наука в качестве феномена. И она же оказывается связана с атеизмом. И когда мы истолковываем науку, то это уже наше толкование науки, а не сама наука. Это проблема того, что наше истолкование отрицает самую суть того, что мы истолковываем, она, конечно, глубоко родственна проблеме атеизма. Тут вопрос утверждения реальности через отрицание. Так же и с историей. Когда мы откроем смысл светской науки, это и будет метафизический и христианский ее смысл. Когда мы откроем смысл светской истории, сама собой она окажется историей, имеющей христианский смысл.

СУРИКОВ. ПУТИ РОССИИ

Максимилиан Волошин. Суриков. Л., «Художник РСФСР», 1985.

Книга М.Волошина о художнике Василии Сурикове вышла в свет через 70 лет после написания. Можно посокрушаться на эту тему, но мир в целом устроен правильно: сейчас, после этих прожитых лет, мы можем увидеть ее совершенно иными глазами и извлечь из этого замечательного текста такое содержание, о котором трудно было бы и помыслить в те далекие десятые годы. Выбор автором персонажа поначалу может показаться странным, действительно, Волошин и Суриков — совершенно разные художественные традиции, монументальная историческая живопись и камерная тонкость «Мира искусства», что тут может быть общего? Однако, если вспомнить то напряжение, с которым М.А.Волошин всматривался в «пути России» и в пути мироздания, выбор автора уже не покажется случайным. В творчестве Сурикова Волошин ощутил глубочайшую сопричастность национальному духу и древнему голосу крови отечества, это он открыл и это он исследовал. «Невероятно и необычайно, но вырос он в подлинной обстановке русского XVII и XVIII веков, а душой и психологией восходил даже к XVI веку», — заключает свои разыскания в области детства и происхождения художника автор, и не согласиться с ним трудно.

Сила Сурикова обнаруживается не в придуманности, более или менее удачной, сюжетов его исторических картин, а именно в их неумышленности, при которой внутренний строй души легче и явственней выходит наружу. Волошин отмечает в творчестве Сурикова два ряда обстоятельств. Во-первых, внешнюю эволюцию творчества, обнаруживающую возвышение и спад в ходе создания его семи больших исторических картин. В первых трех картинах — «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Березове» (1883) и «Боярыня Морозова» (1886) — идет нарастание мастерства художника, затем после глубокого внутреннего кризиса, отмеченного написанной «для себя» картиной «Исцеление слепорожденного», начинается долгий художественный спад: «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через альпы» (1899), и заканчивает он полной неудачей: «Степаном Разиным» (1907—1910). После этого до самой смерти ничего, кроме странной маленькой картины «Посещение царевной женского монастыря» (1912). Таков внешний очерк творчества, суть которого, по мнению

Волошина, в том, что картины периода роста писались как иллюстрации к замысленному чисто живописному эффекту, а потому и выносили беспрепятственно на поверхность ценности из самых тайников души художника, соприродной душе России, а потому значимые и значительные. Картины же периода спада задумывались Суриковым уже в рамках «исторической живописи», а потому становились все более поверхностными и иллюстративными в выявлении основы русской истории: борьбы-сотрудничества центробежной и центростремительной сил, своеволия и деспотизма, вместе послуживших делу сплавления великого имперского конгломерата.

Второй ряд обстоятельств, прослеживаемый Волошиным, — женская тема. Эта тема усиливается в картинах периода роста, достигает апофеоза в «Морозовой», после кризиса же исчезает полностью, и картины периода спада наполнены одной лишь мужской стихией, вплоть до предсмертной «Царевны», где женская тема возникает вновь в странном безмужском варианте. Для понимания сцепления двух этих рядов обстоятельств важной оказывается личная ситуация художника — смерть жены, приведшая его к кризису. Волошин полагает, что в этот период в творчестве Сурикова исчерпывает себя тема жалости, которой он был уязвлен в связи с долгой болезнью жены, той жалости, рождающей боль, которой только и было под силу вскрыть в этой богатырской натуре подсознательные тайники души. «И как только уголь этой жалости, неустанно растравлявший его сердце всю первую половину творчества, угас... так здоровая, преисполненная стихийных сил натура мгновенно затянула все душевные раны, и последовал буйный взрыв жизнерадостности... В нем угас провидец и остался только художник. Лично как живописец он еще продолжает расти и крепнуть, но художественная ценность его картин идет на убыль» (с. 126, 131). Суриков пишет «Исцеление слепорожденного», картину, которую мы можем истолковать как отказ от тайновидения в пользу мира внешнего. «Та сильная и крайняя мужская стихия, что была воплощена в Сурикове, должна была быть постоянно оплодотворяема влажной и плодоносной женской стихией, чтобы выносить все, что в ней было заложено. Отвернувшись от нее, его творчество начало постепенно становиться бесплодным в тех глубинных и подсознательных областях, где совершаются последние иррациональные творческие сплавы. Потому что совершенно так же, как женская сущность в мире физическом оплодотворяется мужской, точно так же в области духовной мужская стихия должна быть оплодотворена женской, чтобы выявить себя в творчестве. Отсюда значение женщины-вдохновительницы в жизни каждого художника» (с. 191).

Конец жизни Сурикова знаменуется уходом в монастырь, в келью, где он «ищет успокоения, насыщенной женской атмосферы, в которую можно уйти, замкнуться, вернуться в чрево матери-смерти... Но искусство его в этом запоздалом возврате к женской стихии не находит ни обновления, ни возрождения... В предсмертной картине он как бы добровольно отказывается от внешнего мира, уходит обратно в слепоту, которая раскрывает ему сокровенные равенства девичества и материнства, смерти и рождения» (с. 199).

Таков анализ Волошина, и он убедителен, однако же мы, используя преимущества прожитого времени, можем попробовать взглянуть на карти-

ны Сурикова с тех же позиций и увидеть в них нечто большее. Для начала об умышленности. Не можем ли мы предположить, что для художника со столь мощным родовым голосом крови образы, созданные в состоянии нисхождения духа и упадка, тоже всё не случайны, а могут отражать некие фазисы духовной жизни народа, точно так же вовлеченного в состояние умышленного национального развития, хотя бы и соотносимого с «буйным взрывом жизнерадостности»? Стоит задаться вопросом: да так ли уж сознательна эта умышленность? Может быть, сам этот переход от творчества чисто бессознательного к псевдосознательной умышленности мы не должны связывать лишь с личными обстоятельствами художника, а можем увидеть в таком переходе отражение развертывания национального мифа и национальной судьбы (что, разумеется, нисколько не снимает значения личных обстоятельств). Рассмотрим же внимательно, к чему сводится образный строй и внутренний смысл картин периода «упадка», и попробуем соотнести их с ключевыми моментами развертывания последующего исторического процесса.

Сначала «освобождение от жалости» рождает «Взятие снежного городка» — явный возврат к неомраченным впечатлениям детства, регрессию, детское упоение нестесненной «здоровой, преисполненной стихийных сил природы», вырвавшейся на волю от всякой взрослой «центростремительности». И лихой молодец на черном коне легко берет штурмом эту эфемерную преграду — снежный зимний дворец. С этого начинается переход к «новой жизни», без взрослых, и не знакомо ли нам нечто подобное?

На второй картине этого периода Ермак мобилизует анархическую вольнолюбивую стихию на государеву службу, здесь мы видим эту азартную вольницу в «тупом, но целенаправленном» движении по собиранию разрозненного пространства. Здесь точно так же им «нет преград на море и на суше» до самого Тихого океана, где казаки в конце концов и «закончили поход». Противостояния «центробежности» и «центростремительности» больше нет. «Центробежная» стихия сама стала носительницей «центростремительности», коллизия, придававшая драматизм картинам первого периода, снята.

В «Суворове» собранное всеединство совершает бросок на Запад. Чудо-богатыри под водительством любимого и боготворимого генералиссимуса достигают крайних западных рубежей, штурмуют горные (горные?) высоты и, озаренные лучезарной улыбкой великого вождя, сомкнутыми рядами валятся в бездну, в пропасть, в провал. Здесь, разумеется, мы видим апофеоз чистой «центростремительности», и великий полководец — ее высшее воплощение.

Наконец, «Разин» — удивительный образ сытого национального героя. Он изображен также в высшем своем состоянии, в состоянии полной победы над «южными царствами» (отметим тему Персии), с обильной добычей, но в скуке и томлении духа. Он плывет вверх «по матушке, по Волге» к истоку, в никуда, к гибели. Разумеется, это апофеоз чистой «центробежности», разбойничьего, воровского, блатного начала.

Таким образом, обнаруживается, что в картинах этого периода напряженные борьбы-сотрудничества двух великих начал национальной истории снимаются, их противоречия, питающего трудный и драматический ход истории, уже нет, каждое пришло к своему прямолинейно-логическому завершению,

к «успеху», и в результате — к обреченности, к гибели и, по-видимому, к завершению некоторого исторического пути. Погружение в мир смерти-рождения «Царевны» тому свидетельство.

Исторические веки обозначены, но встает вопрос: нет ли для них внутренних глубинных соответствий? И тут, чтобы понять причину трагического развития национального мифа в сфере внешнего мужского делания, нам придется обратиться к неслучайной женской теме первого периода творчества, периода «предыстории» или «метаистории». Здесь мы также не будем сводить все к личным обстоятельствам художника, а положим, что сами эти обстоятельства лишь знаки некоего внутреннего пути, и обратимся к логике образного строя. Весь первый период женская тема нарастает. В «Стрельцах» женщины образуют лишь трагический фон действия, а начало действительное выражено образами мужскими. В «Меншикове» значимость женских персонажей возрастает, трагедия обреченной «царской невесты» не меньше трагедии самого Меншикова, душевная боль уравнивает бывшего всесильного временщика и молодую девушку. Высшее равенство, равенство внутренней жизни, здесь достигнуто и обозначено.

Но мы не остановились на этом. Далее следует «Морозова». Кризис здесь. Здесь женщина впервые сама становится носителем действия, более того, здесь она сама воплощает начало духовного буйства, начало «центробежное». Здесь героиня в роли духовного вождя и «делателя» выходит во внешний мир, неся с собой неизбежные последствия самовольства: разъединение и раскол. Гармонизирующая функция мировой души, начала единства и соединения здесь покинуты. Все заполняет пафос отщепенства, духовного самовольства, ненависти. Больше нет и речи об оплодотворении мужской стихии для духовных созиданий, придающих высший смысл потоку жизни и истории, а потому и внешний, физически воплощенный путь оказывается бесперспективным, и мы закономерно оказываемся в мире упадка. Борьба-сотрудничество жизненных начал распадается, напряжение противоречивых единств исчезает, и духовно скудеющий мужской мир обречен на изживание своих потенций: и своей центростремительности, и своей центробежности.

Можно задаться вопросом: имеет ли это волошинское видение дела прогностическую ценность? В своей предсмертной картине, в «Царевне», Суриков являет нам «царевну», молодую женщину с недобрый и самодовольным лицом, ставшую объектом культа и поклонения. Ей, стоящей посреди храма, а отнюдь не иконам, кланяются в пояс монахини. Она богиня некоего нового мира, открывшегося художнику в преддверии смерти, и это бесспорно выражение внутренней сути «нового мира», победившая Морозова, соответствующая победившему Разину. Но что же дальше?

Книга о Сурикове была опубликована в 1985 году, когда весь нисходящий ряд картин художника был нами, похоже, прожит. В июне того же, 1985 года злоумышленником в Ленинграде, в Эрмитаже была облита кислотой и уничтожена знаменитая «Даная» Рембрандта. Поступок ужасный и непростительный, но бессмысленный ли? Не находится ли он во внутренней связи с нашей темой? Вернемся назад, в ту предгрозовую эпоху. В 1913 году, в год кануна, в Москве, в Третьяковской галерее душевнобольным Балашовым была изрезана, по счастью, поправимо, картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Уже тогда, в 1913 году, М.Волошин обратил внимание

на то, что в самой израненной картине, в кровавой избыточности ее живописи содержались вызов и провокация насилия. Он же отметил и тот знаменательный факт, что кроме картины погубленной была и картина помилованная — все та же наша «Боярыня Морозова» Сурикова, перед которой долго стоял несчастный больной, прежде чем напасть на «Ивана».

Этот факт нам теперь представляется особенно значительным, если учесть, что и в 1985 году, кроме картины погибшей, также одна картина оказалась помилованной, на этот раз это было «Возвращение блудного сына» Рембрандта. И если принять это во внимание, а не принять нельзя, то события 1913 и 1985 года странным образом смыкаются в единый осмысленный рисунок.

Тема сыноубийства — сквозная тема национальной духовной культуры России. Она входит в национальный миф и актуализируется на всех драматических поворотах истории. Достаточно вспомнить, что к сыноубийству причастны такие экстремальные возбудители национального духа, как Илья Муромец, Иван Грозный, Петр I, Тарас Бульба, Иосиф Сталин — все носители идеи противостояния внешним врагам страны. Внутренние же кризисы в национальной традиции (впрочем, как и в мировой) часто воспринимаются как бунт сыновей против деспотизма отцов. Образы невинноубиенных младенцев и юношей знаменуют пафос бунта. При таком понимании и избыточная драматизация Репиным «Ивана», и нападение на него в 1913 году становятся понятными, все это предшествует и прообразует реальное большое восстание сыновей с пафосом отроческого разгула («Взятие снежного городка»). Разумеется, насилие не могло снять пафоса сыноубийства и исключить его из духовной жизни нации, и не сняло его. Произошло лишь неизбежное переворачивание, и как только дело дошло до внешних противостояний, оно выявилось вновь и в реальных судьбах вождей, и в культе «погибших сыновей». Снятие сыноубийства как актуальной темы, очевидно, может быть достигнуто на путях иных, чем насилие. И тут, похоже, что событие 1985 года замыкает некий цикл, вспомним, что оказалось помилованным «Возвращение блудного сына». Можно ли это воспринимать как предощущение окончания сыновнего бунта? Это не исключено, но источник примирения здесь никоим образом не обнаруживается, и все событие воспринимается как знак, таинственный иероглиф судьбы. Впрочем, на месте погибшей «Данаи» ныне помещено «Жертвоприношение Авраама», где рука ангела, а не сыновний бунт, окончательно останавливает руку отца. Примем это за благоприятный прогноз разрешения по крайней мере этой великой конфронтации, хотя и будем иметь в виду, что примирение поколений — это всего лишь один аспект мужской темы, второй же аспект — драматическое взаимодействие центробежности и центростремительности — разрешения здесь не находит.

Но при чем здесь царевна Даная, родившая своему отцу убийцу? Выходит так, что в 1913 году яростному напряжению противостояния отцов и детей отвечала вдохновенностью образом «Морозовой» с ее пафосом бунтарства, женской духовной самодостаточности, возвращению же блудного сына в 1985 году отвечает отвержение образа Данаи в ее уже плотском богоизбранничестве, с ее пафосом женской самодостаточности. Похоже, что пройденный женский путь развития от духовного бунта «Морозовой» до полноты независимости от мужского «Данаи» (и «Царевны») вполне соотносится

с путем от социального взрыва, связанного с разрывом поколений и распадом государственного организма, понимаемого в терминах патриархальной семьи, к обществу, аккумулирующему новый антагонизм, антагонизм мужского и женского как таковых, что и является наиболее пугающей стороной дела. Действительно, к 1985 году мы уже даже в уличном обращении не «граждане», не «товарищи» и не «сударь», а всего лишь «мужчины» и «женщины», т. е. существа не социальные, а лишь биологически разнородные. Взаимодействие между мужским и женским в обществе и культуре становится все более поверхностным. И происшествие в Эрмитаже открывает нам, что мы, по-видимому, на пороге мужского бунта, как в 1913 году мы были на пороге бунта сыновнего, или, по крайней мере, на пороге драматического антагонизма, провоцирующего новый круг насилия, и нас ждут годы конфронтаций и разделений, угрожающих самим основам жизни.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ (1940) — поэт, драматург, художник, скульптор. Член Союза художников СССР. Один из лидеров так называемой «концептуальной поэзии». Автор стихотворных, визуальных и манипулятивных текстов. До недавнего времени публиковался исключительно на Западе: в журнале «А — Я», «Ковчег», «Эхо» (Париж), «Шрайбнефт» в Германии, а также в альманахах «Культурпаласт» (Зап. Германия), «Каталог» (изд-во Ардис, США), «Беркли Фикшн Ревью» (США), «Новостройка» (Лондон).

В последние годы тексты Д. Пригова появились в журналах «Юность», «Даугава», «Родник», в альманахе «Зеркала» (М., 1989).

Живет в Москве.

БОРИС КУДРЯКОВ (1946) — прозаик и драматург. Автор многих рассказов и повестей, трех пьес («Эверест», «Впереди Земля», «Дверь»), романа «Встречи с Артемиллой». Лауреат премии имени Андрея Белого (1980). Публиковался в Антологии современной русской поэзии «Голубая лагуна» под ред. К. Кузьминского, Нью-Йорк, 1985 (и журнале «Литературное А — Я» (Париж), а также в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал», «Транспонанс».

Живет в Ленинграде.

ВИКТОР КРИВУЛИН (1944) — поэт, прозаик, литературный критик. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. В 1976—1981 вместе с Т. Горичевой, Л. Рудкевичем и Б. Гройсом выпускал самиздатский журнал «37», в 1980 (вместе с С. Дедюлиным) — журнал «Северная почта». С 1962 по 1985 в советской периодике напечатал в общей сложности пять стихотворений. На Западе публиковался в журналах «Континент», «Грани», «Синтаксис», «Вестник РХД», «Новый журнал», «22», «Эхо», «Ковчег», «Стрелец», «Гнозис», газетах «Русская мысль», «Панорама», «Наша страна» (Аргентина) и др. Выпустил также книгу стихов в издательстве «Ритм» (Париж, 1981) и «Стихи» в издательстве «Беседа» (тт. 1—2. Париж, 1987—1988).

В СССР подборки стихов опубликованы в сборнике «Круг» (Л. 1985), в журналах «Родник», «Радуга», «Нева», «Искусство Ленинграда».

Первый в Советском Союзе сборник стихов, подготовленный Ленинградским отделением издательства «Советский писатель», должен выйти в свет в 1989 году.

Живет в Ленинграде.

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ (1946) — прозаик, драматург. Член Союза писателей СССР. Первая публикация в 1962. В 1979 был исключен из СП за участие в альманахе «Метрополь» (Ардис, США, 1979), где был представлен как один из редакторов и как автор 13 коротких рассказов.

В 1980 вошел в неофициальный московский «Клуб беллетристов», выпустивший сборник «Каталог» (Ардис, 1982). В 1981 опубликовал книгу рассказов «Веселье Руси» (Ардис).

В настоящее время восстановлен в СП. Рассказы и повести опубликованы в журналах «Юность», «Новый мир», «Знамя», «Волга» и др.

Живет в Москве.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ (1952) — литературный критик и публицист. Автор монографии «Главы о поэтике Леонида Аронсона», статей «Концептуальные вариации на заданную тему (О романах М. Берга)», «История, эстетика и политика (опыт структурного и эстетического анализа политической истории России XX века)», «Вопросы феноменологии социальных процессов» и др. Публиковался в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал», «Митин журнал», «Демократия и мы».

Живет в Ленинграде.

ИОФЕ ВЕНИАМИН (1938) — публицист, критик. В 1965 был осужден ленинградским городским судом за участие в подпольном марксистском кружке по т. н. «технологическому делу». После освобождения занялся исследованием традиции философской и культурологической мысли XX века. Публиковался в историческом альманахе «Память» (Москва — Париж), в журналах «Синтаксис» (Париж) и «22» (Израиль). В настоящее время является сопредседателем Ленинградского общества «Мемориал» и координатором историко-архивной комиссии общества.

Живет в Ленинграде.

Редакция
«ВЕСТНИКА НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

рассчитывает опубликовать

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

В. Ив. Аксенова, А. Бартова, И. Беляева, С. Довлатова, Б. Дышленко, Вик. Ерофеева, Е. Звягина, Н. Климонтовича, П. Кожевникова, Б. Кудрякова, В. Лапенкова, Эд. Лимонова, Ю. Мамлеева, Наля Подольского, Евг. Попова, Саши Соколова, В. Сорокина, Беллы Улановской и др.

СТИХИ:

М. Айзенберга, Д. Бобышева, И. Бурихина, Т. Буковской, А. Волохонского, В. Гаврильчика, С. Гандлевского, А. Горнона, М. Еремина, Т. Кибирова, В. Кривулина, Льва Лосева, Б. Лихтенфельда, А. Мирнова, Вс. Некрасова, О. Охупкина, Д. Пригова, Е. Рейна, Льва Рубинштейна, Г. Сапгира, О. Седаковой, С. Стратановского, В. Уфлянда, В. Филиппова, А. Хвостенко, А. Шельваха, Е. Шварц, А. Цветкова, В. Эрля, О. Юрьева и др.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

Л. Аронзона, Элика Богданова, Б. Вахтина, А. Введенского, Л. Губанова, А. Егунова, Роальда Мандельштама, А. Морева, В. Розанова, П. Флоренского, Е. Харитонова.

ВОСПОМИНАНИЯ И ИНТЕРВЬЮ:

К. Иванова, И. Кабакова, Конст. Кузьминского, М. Шемякина.

В разделе КРИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ статьи:

К. Бутырина, В. Голлербаха, Т. Горичевой, Б. Гройса, Вл. Инова, В. Иофе, И. Кавелина, И. Северина, О. Седаковой, А. Степанова, А. Черкассова, М. Шейнкера и др.

Вестник новой литературы
N 1

Зав. редакцией Н. И. Байков
Редактор Г. А. Морев
Художник Ю. И. Дышленко
Технический редактор С. Балодэ
Корректор О. А. Назарова
Мл. редактор Л. Ю. Хритина

Ассоциация «Новая литература»

Почтовый адрес: Ленинград, 198005, АЯ 237
Технический секретарь К. Н. Кирюхин
Зам. председателя М. Я. Шейнкер
Представители Ассоциации за рубежом
в Европе: Т. Goritcheva (Татьяна Горичева),
23 Rue de la Roquette, 75011, Paris, France.
в США и Канаде: L. Merson (Леонид
Мерзон), 2976 Folsom St,
San-Francisco, CA, 94110, USA,
Tel. (415)—695—8729.

Сдано в набор 01.10.89. Подписано в печать 27.11.89.
Формат 60 × 84/16. Бумага писчая. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,5. Усл. кр.-отт. 16,5.
Уч.-изд. л. 21,78. Тираж 50 000. Цена 5 руб.

Издание подготовлено с использованием диалоговой
издательской системы ДИС, при участии ОВЦКП.
Программист В. Рудзитис.

Издательство «Прометей» МГПИ им. В. И. Ленина
119048, Москва, ул. Усачева, 64.

В альманахах входят «Записки по-па» — своеобразное явление мемуарного жанра, острая публицистика, экспериментальный роман, воспроизводящий атмосферу, которая царила в кругу обэриутов.

«Вестник новой литературы», полагаю, привлечет и заинтересует читателя.

Лидия Гинзбург

«Вестник новой литературы» оправдывает все три слова, входящие в его название. Это «Вестник», ибо он известит читателя о живом состоянии русской словесности; это «новое», так как представляет новые имена, которые нужно знать всякому любящему литературу читателю; и это настоящая «литература», особенно важная сейчас, когда само понятие литературы искажено публицистическим креном.

В «Вестнике» литературе возвращено ее подлинное значение.

Давид Гранин

Подполье в недавние наши годы стало для нас чуть ли не символом света. Выход из подполья — процесс, который мы переживаем уже четыре года, — не только радость, но и боль. Свобода, достигнутая в подполье, распадается на свету. Наступает и время освобождения не из подполья, а от подполья — обретение культуры. «Вестник новой литературы» — шаг именно в этом направлении.

Андрей Битов

«СОВЕТСКИЕ ЭКРАНЫ»

В последние годы в нашей стране наблюдается стремительный рост кинематографической культуры. Это связано с тем, что кино стало одним из самых популярных и доступных средств массовой информации. Оно не только развлекает, но и просвещает, формирует общественное мнение.

Важным элементом этой культуры является кинорежиссура. Современные режиссеры стремятся к созданию глубоких, философских картин, которые затрагивают самые важные проблемы человеческого бытия. Они используют новые технические возможности, чтобы сделать свое искусство еще более выразительным.

Кино также играет важную роль в образовании молодежи. Оно помогает им лучше понять историю, культуру и ценности своего народа. Многие современные фильмы поднимают острые социальные вопросы, побуждая зрителей к размышлениям и дискуссиям.

Вместе с тем нельзя забывать о том, что кино — это искусство, которое должно развиваться свободно и творчески. Государство должно создавать благоприятные условия для работы режиссеров, предоставляя им необходимые ресурсы и свободу творчества.

Только так можно обеспечить дальнейший рост и развитие кинематографической культуры в нашей стране. Это позволит нам не только наслаждаться прекрасными произведениями искусства, но и лучше понимать себя и свой мир.